

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 2 (1 3) / 2 0 1 7



ЮРИЙ
КУБЛАНОВСКИЙ
Москва

4



МАРИЯ
ВАТУТИНА
Москва

11



НАДЕЖДА
КНЯЗЕВА
Арзамас

15



ИРИНА
ЕВСА
Харьков

83



АЛЁНА
КАЛИНИНА
Кстово

94



ВЛАДИМИР
ГОФМАН
Нижний Новгород

97



НИНА
САДУР
Москва

106



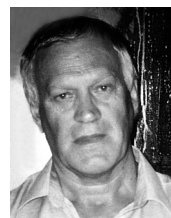
ПАВЕЛ
ТУЖИЛКИН
Саров

119



АЛЕКСАНДР
ЕВСЮКОВ
Щёкино

158



ПАВЕЛ
КЛИМЕШОВ
Нижний Новгород

176



АЛЕКСАНДР
ЛОМТЕВ
Саров

179



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

186



АНДРЕЙ
РУМЯНЦЕВ
Москва

212



АЛЕКСАНДР
ЦИРУЛЬНИКОВ
Нижний Новгород

234



ВЯЧЕСЛАВ
ФЕДОРОВ
Нижний Новгород

247

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ	
РОССИЯ, ТЫ МОЯ!	4
Мария ВАТУТИНА	
ЗВУК ИЗВЛЕКИ И ПОСМОТРИ НА СВЕТ....	11
Надежда КНЯЗЕВА	
ПРОСНЕШЬСЯ, ПРЕДПОЛОЖИМ – НЕ СОБОЮ	15
Соня АЛЕКСАНДРОВА	
ЗИМА ОПЯТЬ ПРИШЛА К ОГНЮ – БОСАЯ...	18
Андрей КОРОВИН	
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ДЕРЕВУ...	21

Проза

Сергей ТЕЛЕВНОЙ	
Я – НЕ ЗАМОРЫШ!	25

Поэзия

Ирина ЕВСА	
КОВЧЕГ БЕЗ ТРАПА	83
Андрей ДМИТРИЕВ	
ВОЛОСЫ У АГАФЬИ – СЛОВНО МОЛОЧНЫЕ ТРАВЫ....	87
Наталья СТРУЧКОВА	
Я ВИЖУ: НАША НОЧЬ ДРОЖИТ НА СКВОЗНЯКЕ.....	91
Алёна КАЛИНИНА	
ЕСТЬ ЕЩЁ ДЕРЕВНИ НА РУСИ...	94

Проза

Владимир ГОФМАН	
ПОСЛЕДНИЙ ЛЁД	97
Юрий НЕМЦОВ	
БУХАНКА.	102
Нина САДУР	
ВЕДЬМИНЫ СЛЕЗКИ	106
СТУЛ.	110
Евгений ОБУХОВ	
«СТАЛИНСКАЯ» КВАРТИРА.	113
СЕРЖАНТУ НИКТО НЕ ПИШЕТ.	117
Наталья РОМАНОВА-СЕГЕНЬ	
ФАРФОРОВЫЕ КУПОЛА	119
Павел ТУЖИЛКИН	
БАБА ГРУНЯ	126
Галина ТАЛАНОВА	
В ОЧЕРЕДИ	132
В ЗАМЁРЗШЕМ АВТОБУСЕ	135

Владимир СОФИЕНКО	
НЕБЕСНАЯ КОБРА.	138
Емельян МАРКОВ	
ЧУДОВИЩЕ.	150
Александр ЕВСЮКОВ	
ПОВОРОТ (Пять историй).	158
Владимир ШПАКОВ	
НА КАРНИЗЕ.	163
КАРТИНА.	168

Стихи по кругу

Михаил МУЛЛИН	173
Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ	174
Ярослав КАУРОВ	175
Павел КЛИМЕШОВ	176
Елена СОМОВА	177
Петр РОДИН	178

Из будущих книг

Александр ЛОМТЕВ	
САРОВСКИЕ ХРОНИКИ	179

Публицистика

Олег РЯБОВ	
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – ЭТО НЕ ДВОРЯНСТВО	186

Литпроцесс

Роман СЕНЧИН	
У ВСЕХ ЕСТЬ ЖИЗНЬ	190
Константин ВАСИЛЬЕВ	
ПРО ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ И ВОЛЕЙБОЛ	198

Вехи памяти

Андрей РУМЯНЦЕВ	
ИДЁТ СПОР РАЗНЫХ ЛИТЕРАТУР...	
К 80-летию со дня рождения Валентина Распутина	212
Юрий ИЗУМРУДОВ	
СУДЬБА ИВАНА ЕРМОЛАЕВА.	218
Александр ЦИРУЛЬНИКОВ	
ИВАН ЕРМОЛАЕВ: ЭТО БЫЛ НЕ МЯТЕЖ,	
А ПРОТЕСТ ОБИЖЕННОГО НАРОДА	234
Иван ЕРМОЛАЕВ	
ПРОШЛИ ГОДА, УТИХЛИ БУРИ...	242
Вячеслав ФЕДОРОВ	
ВОЛЖСКИЙ НАБАТ	247

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

В поэзию его напутствовал нобелевский лауреат по литературе Борис Пастернак, о нем комплиментарно писали нобелевские лауреаты Иосиф Бродский и Александр Солженицын. Он был одним из организаторов легендарной поэтической группы СМОГ. Работал экскурсоводом на Соловках, в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовском музеях. Лишенный возможности трудиться по профессии, искусствоведом, после публикации на Западе открытого письма «Ко всем нам», приуроченного к двухлетию высылки Солженицына, — работал сторожем, истопником и дворником в московских и подмосковных церквях и храмах. В 1982 году он уехал, выданный в эмиграцию, а в 1990-м вернулся, когда многие, наоборот, бежали из страны. Заведовал отделом публицистики и поэзии в журнале «Новый мир». Получил премию Александра Солженицына за «правдивую точность поэтического слова, за богатство и метафоричность языка», и за недвусмысленную гражданскую позицию, что абсолютно его характеризует. Он блистательно владеет словом, или слово владеет им, что суть одно и то же. Он — поэт первого ряда, ему исполняется семьдесят лет, и мы искренне поздравляем его с юбилеем и желаем долгих лет жизни и бесконечного вдохновения!

Редакция журнала «Нижний Новгород»

РОССИЯ, ТЫ МОЯ!

Стихи разных лет

* * *

Отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон. Жизнь замерла. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий.

Из последнего письма отца Павла Флоренского с Соловков (4.VI.1937)

Волны падают — стена за стеной
под полярной раскаленной луной.

За вскипающею зыбью вдали
близок край не ставшей отчей земли:

соловецкий островной карантин,
где Флоренский добывал желатин
в сальном ватнике на рыбьем меху
в продуваемом ветрами цеху.
Там на визг срываться чайкам легко,
ибо, каркая, берут высоко
из-за пайки по-над массой морской,
искушающие крестной тоской.
Все ничтожество усилий и дел
человеческих, включая расстрел
и отчаянные холод и мрак,
пронизавшие завод и барак,
хоть окрест, кажись, зон и иной,
остаются посегодня со мной.
Грех роптать, когда вдвойне повезло:
ни застенка, ни войны. Только зло,
причиненное в избытке отцу,
больно хлещет и теперь по лицу.
Преклонение, смятение, боль
продолжая перемалывать в соль,
в неуступчивой груди колотьба
гонит в рай на дармовые хлеба.
Распахну окно, за рамы держась,
крикну: «Отче!» – и замру, торопясь
сосчитать, как много минет в ответ
световых непродолжительных лет.

* * *

Россия, ты моя!
И дождь сродни потопу,
и ветер, в октябре сжигающий листья...
В завшивленный барак, в распутную Европу
мы унесём мечту о том, какая ты.
Чужим не понята. Оболгана своими
в чреде глухих годин.
Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме
бурьяна и руин,
вот-вот погаснешь ты.
И кто тогда поверит
слезам твоих кликуш?
Слепые, как кроты, на ощупь выйдут в двери
останки наших душ.

...Россия, это ты
на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в Кресты.
В края, куда звезда лучом не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты.

1978

* * *

В пору богомерзкую, ближе к умиранию,
впрочем, с обретением отеческих пенат,
поминаю вешнюю, тёплую Британию,
всю в вишнёвой кипени много лет назад:
как чему-то встречные клерки веселились
в том раю потерянном делу вопреки
и галёрку в опере, куда не доносились
Командора гулкие, видимо, шаги.
Времена далёкие – аж до сотворения
космоса – открытого для души,
то бишь, самостийницы вплоть до отделения
и переселения в иные шалаши.
Говорят, «влияние английских метафизиков»,
«в духе их наследия» – не знаю, не читал;
но твоё присутствие той же ночью близкое
незаметно вынесло спящего в астрал.
С той минуты многое кануло и минуло.
Стал в своём отечестве я лохом и ловцом
человеков... Ты меня давно из сердца вынула,
сходного с подёрнутым рябью озерцом.
В целом, тишина окрест прямо погребальная,
в общем, идеальная пожива для молвы.
Только где-то слышится перестрелка дальняя
кем-то потревоженной солнцевской братвы.

1997

Пленник

За падавшим в реку мячиком,
а может, и не за ним,
я прыгнул с обрыва мальчиком
и выплыл совсем другим.
Да вот же он, неукраденный,
не шедший в распыл, в навар,
не ради забавы даденый,
уловленный цепко дар.

С тех пор из угла медвежьего,
неведомого дотоль –
на карте отыщешь где ж его –
ко мне поступала боль.

Кончающиеся в бедности
намоленные края –
здесь тоже черта оседлости
невидимая своя...

Вскипали барашки снежные,
и мы, отощав с тоски,
как после войны – мятежные
садились за колоски
убогого слова вольного.
Потом, перебив хребет
души, из райка подпольного
нас вытянули на свет.

Ползите, пока ходячие,
в зазывный чужой капкан.
Глядите, покуда зрячие,
на лобную казнь Балкан.
Просторней весной сиреновой
заброшенные поля.
Но коже подстать шагреневой
сжимается мать-земля.

Догадки о русском Логосе
отходят к преданьям – в синь,
оставив звезду не в фокусе
и приторную полынь
во рту у стихослагателя,
глотающего слюну,
как будто у неприятеля,
прижившегося в плену.

1999

Под Вязьмой

Есть место им в полях России...

Пушкин

На весах Вязьмы минувшим летом
гостил, — где некогда в аккурат
под старой липой с подсохшим цветом
спал на походной кошме Мюрат.

Есть безответная, вероятно,
загадка, кто б ни давал приказ,
в немотивированных затратных
бросках в Россию армейских масс.

Живой, как пишется в сводках, силы
без счёту тут полегло, и вот
теперь поля её суть могилы
своей и многих чужих пехот.

И только певчие невидимки
их тут и чествуют в заревой
слоящейся по бурьянам дымке
ещё при звездах над головой.

2014

* * *

Как работают на полюсе,
где замерзает ртуть,
ветер сгибает в поясе
и не пускает в путь.
Всё интенсивней тёмное
светлого визави.
Много осталось тёплого
в старой моей крови,
тёплого и мятежного.
Но в гулевой груди
ласкового и нежного
зверя не разбуди.

Стать бы тобою чаемым,
вновь заплутав в пути,
малоимущим фраером
лет двадцати пяти
с траченным примой голосом.
Чтоб у замёрзших рек
сыпался нам на волосы
и парусинил снег.
Чтобы вдвоём с усилиями
шли мы рука в руке,
шли...
И вожатых с крыльями
видели вдалеке.

2012

* * *

Признаёшь ли, Отечество, сына
после всех годовщин?
Затянула лицо паутина,
задубев на морозе, морщин.
И Блаженный сквозь снежную осыпь
в персиянских тюбанах своих
на откосе,
словно славное воинство, тих.

Человеки
те и те, и поди разреши:
где иовы-калеки,
где ослабленные алкаши,

вновь родных подворотен
отстоявшие каждую пядь.
Нам со дна преисподней
с четверенек неловко вставать.

...Расставаясь с Украиной,
пошатнулся рукастый репей,
сей дозорный безкрайних
отложившихся волн и степей.
Родовую землю
у каких пепелищных огней,
аки хищную птицу,
нам отпаивать кровью своей?

1992

СНЫ

Зимою – впадиной каждой, полостью
пренебрегавшие до сих пор
льды заполняют едва ль не полностью
речные русла, объем озер.
Лишь луч, нащупавший прорубь черную
там, где излуки в снегах изгиб,
работу видит локомоторную
мускулатуры придонных рыб.

Россия! Прежде военнопленную
тебя считал я, и как умел,
всю убеленную, прикровенную
до горловых тебя спазм жалел.
И ныне тоже, как листья палые
иль щука снулая блеск блесны,
я вижу изредка запоздалые
неразличимые те же сны.

2004

Кишмиш

За соснами в алых лианах
осенняя волглая тишь.
Туда с пустотою в карманах
приедешь, верней, прилетишь.

В присутствии бунинской тени
его героине опять
начнешь, задыхаясь, колени
сквозь толстую ткань целовать.

И шепчешь, попреков не слыша,
одними губами: «Прости,
подвяленной кистью кишимиша
потом в темноте угости.

Пусть таинство нашего брака
с моей неизбывной виной
счастливцу поможет, однако,
в окопах войны мировой.

И в смуту, когда изменили
нам хляби родимой земли,
прости, что в поту отступили,
живыми за море ушли.

В сивашском предательском иле,
в степи под сожженной травой
и в сент-жневьевской могиле
я больше, чем кажется, — твой».

1999

* * *

Осень выдалась тогда золотая —
ни дождей, ни хмури.
Под Изборском ясновидящая слепая,
как вошёл к ней в горницу, сразу признала:
— Юрий.

Вся светилась кротостью голубиной,
словно принимала меня за брата.
А в промытых окнах над котловиной
раскалялся меркнувший спектр заката.

Несравненна эта на койке узкой
красота молитвенной жизни русской.

С той поры слизнула судьба полвека.
Прогулял я жизнь, забывал поститься,
одичал в норе своего сусека,
походя всё меньше на человека,
думающего, что ему простится.

Сам теперь я часто лежу, боля.
По другую сторону листопада,
если повидаемся, Пелагея,
вновь меня признаешь ли там за брата?

Мария ВАТУТИНА

Родилась в Москве. Окончила Московский юридический институт и Литинститут им. А.М. Горького (семинар Игоря Волгина). Работала юристом, адвокатом, журналистом, главным редактором юридического журнала.

Публиковалась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов» и других. Автор ряда стихотворных сборников, лауреат премии «Московский счет» (2009), поэтической премии «Нового мира» «Anthologia» (2010) и Международной Волошинской премии (2011).

Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде. Живет в Москве.

ЗВУК ИЗВЛЕКИ И ПОСМОТРИ НА СВЕТ...

* * *

Проживу монашкой, умру витией,
Только, даже если и не грешна,
Не бери меня, Господи, во святые,
Потому что смерть у святых страшна.

У заставы райской устав железный:
Повышают ратников в званье ведь
Не за то, что в жизни тягался с бездной,
А за то, что принял за это смерть –

С расчлененьем, кровью, посмертной дрожью,
Чтобы помнил ты до конца времен:
Человек способен на дело божье,
И на жертву божью способен он.

* * *

Люблю тебя – слетело с губ ночных,
Но вся моя Земля была безлюдна:
Река под снегом в щетках травяных,
Село вдали, пропавшее с полудня
(так на радарх тают корабли),
Кровать пустая, чем ни застели.

Кому сказала? Думала о ком?
Зачем сложились губы в оба слова,
Сомкнувшись дважды? Трижды языком
Зачем коснулась нёба ледяного,
Чтоб гласные нарушили меж тем
Спокойствие космических систем?

Услышать, а не то что отвечать,
Тут некому: следы в лесу несвежи,
На небесах сургучная печать,
Нет никого, и лишь порядки те же:
Оттуда, из-за туч, сочится луч,
Но скрыт подтекст, и не сорвать сургуч.

Вот прорезь рта: хранят его края
Весь опыт мой. Явление возврата
К первоначальной форме бытия,
Эффект тактильной памяти, токката
Органная, ямбических слогов
Пульсация среди ночных снегов –

Вот импульсы «люблю» произнести.
Стремятся губы, как металл в горенье,
К первоначальной форме. Поскрести –
Весь мир вернется к первым дням творенья.
Звук извлеки и посмотри на свет:
Он – вещь в себе, он сам себе ответ.

Так зверь приучен вытянуть к луне
Безропотную морду. Одичанье –
Как степень одиночества – вполне
Достаточное средство для звучанья
Животворящей формулы земной,
Произносимой то и дело мной.

* * *

Когда мой сын готовился прийти
Для жизни, что светла и благолепна,
Я просыпалась где-то к девяти
И долго от сиянья солнца слеpla.

По стенам расползались кружева,
Листва зеленый цвет в окно бросала.
Я шелестела нежные слова
Под шелковую сферу одеяла.

Я гладила живот, в котором жил
Младенец мой, готовый нынче сбыться.
И был сентябрь. И в воздухе кружил
Предвестник материнства – голубица.

Я пульт взяла. Зарокотал экран,
Как будто сам Арес всходил на пашне.
В прямом эфире «Боинг» (крупный план)
Как раз таранил стену Южной башни.

Я глаз своих не стала закрывать.
Я и моргать-то перестала толком.
И голубица села на кровать
И крылья распахнула в крике тонком.

И вся Земля почувствовала вдруг,
И заучила я не по макетам,
Как сына моего сковал испуг,
Когда высотный рушился Манхеттен.

– Не бойся, – я шепнула в пустоту,
Но мысленно добавила: – И даже
Не думай к нам рождаться! Крик во рту
Держа рукой, смотрела репортажи.

Тридцатого под вечер сыпал снег,
В родильне не играли светотени,
Пока рождался добрый человек
С летящей голубицею в тотеме.

Я вволю оторалась. Этот ор
Был слышен над Ист-Риверским проливом.
Родился сын мой в праздник трех сестер
И непугливым вырос. Непугливым.

* * *

Я день скоротала и свет погасила,
И спать улеглась, отвернувшись к стене.
Какая-то потусторонняя сила,
Паркетом скрипя, приближалась ко мне.

И тюль надувался, и таяли стены,
И капала капля, когда на крыльцо
Все предки мои от границ Ойкумены
Вступили и молча забрали в кольцо.

Общинные старосты, конюхи, бабы,
Царёвы крестьяне, стрельцы, звонари –
Стопились покойнички поодаль, абы
Чего не случилось со мной до зари.

О, что я затронула нынче при свете,
Какие открыла гробницы во сне,
Что хлынули древние волости эти,
Как будто врата есть какие во мне?

книга моих совпадений с пространством
и временем, ты ли разверзлась на миг,
и кровная связь с переполненным царством
небесным была установлена встык

на клеточном уровне, что ли. Ну, что вы
Молчите, славяне мои, издаля?
Мне страшно, но я не свободна от Слова,
Которое Бог и родная земля.

Я всех вас несу на хребте позвоночном
Века, но с того и загривок силен.
А гости молчат в соответствии точном
С молчаньем ещё праславянских племен.

О, что вы оставили мне на прожиток
Разбитых корыт и колен окромя,
Хотя бы какой-нибудь слиток ли, свиток
О том, через что Бог помилует мя,

Хотя бы какой-нибудь в горсточку полбы,
Какой-нибудь сказки в грядущие сны!
О, кто вы, какие вы, темные толпы,
Мои Балалыкины и Зимины?

Пустите, Иваны, Ивановы дети,
Небесные силы, Господня родня! –
Шептала я им, а они на рассвете
Один за одним уходили в меня:

Курчане, тверчане, черкизовцы, ниже-
городцы, воронежцы, тульцы, а там
Древляне, поляне, кривчане и иже
Михаель, Ирад, Енох, Каин, Адам.

* * *

Смерть вчера гуляла ночью
В доме после двух.
Всей своей костлявой мощью
Мой вбирала дух.

Я сказала ей: – Ошибка!
Ты ведь не за мной.
Видно, видишь ты не шибко
В темноте ночной.

Смерть улыбкой отвечала.
И к другой плыла,
К той, что с самого начала
Здесь ее ждала.

Надежда КНЯЗЕВА

Родилась в 1986 году в городе Лукоянове Нижегородской области.
Окончила Арзамасский государственный педагогический институт. Работает учителем английского языка в сельской школе. Автор двух стихотворных сборников.
Живет в Арзамасе.

ПРОСНЕШЬСЯ, ПРЕДПОЛОЖИМ – НЕ СОБОЮ

* * *

Слышишь – мир мурчит, трется о песок
Мягкой пеной слов,
Но есть люди, что словом сбивают с ног –
И отхлынут вновь.

Слёзы счастья – прозрачная органза,
Звонких звезд лучи –
И так много хочется им сказать,
Только ты молчи:

Твои речи для них – пение кита
В лесополосе.
Эти люди верны лишь своим котам,
Да и то не все.

Ты не вступишь в замкнутость их миров,
Словно буква «ять».
Если больно глотать ком из теплых слов –
Научись мурчать.

* * *

Как поширишь рукой вокруг – целлофан да пластик:
Не всегда есть, во что оправить души кристалл,
И хотя человек – сам кузнец своего счастья,
Ему нужно, чтобы Господь подавал металл.

Похожий

Если ты хочешь понять того, с кем похожи,
Нужно стать сеткою вен под его кожей,
Впитаться в него
тонкой иглой инъекции,
Влиться в него
острой волной инфекции,

Молью, молекулой мучиться в микромиру,
витья по веткам вен,
волоча, как груз,
собственного оставленного себя.
Кокон от бабочки.
От Колизея круг.

Нем и ничтожен,
ты – импульс,
ты – нерв,
ты – боль.
Это был логин.
Сейчас подберем пароль.

Руки так слепы,
ранимых роняем в пыль –
хрупкие слепки
из склеенной скорлупы.
Слово ли может
подобием стать копья?
Ты же такой же,
такой же,
такой,
как я?..

Пальцы изрежет реальности ржавый край:
Все поразительно разные.
Выбирай:

По полушариям шарить ли файлы слов,
В сонном сплетении сны ли сплести узлом,
Воспоминаний ли разворошить хламьё –
Вряд ли ты там обнаружишь что-то своё.

Просто пора слушать стук у себя в груди.
По крайней мере, ты пробовал.
Выходи.

Нет никого

...Проснешься, предположим – не собою,
А кем-то, вдруг переступившим тлен,
И видишь сквозь пробоины обоев
Изнанку желтых обнаженных стен,

И видишь под пологим пледом пыли
Запавших клавиш шамкающий рот,
Рояля переломанные крылья,
Обвисшие, забывшие полет.

В облупленной портретной позолоте
Под паутиной не узнать лица,
И жизнь его – не более чем оттиск
На теле Соломонова кольца,

И зная, что увидишь на портрете,
Но медля с занесенною рукой,
Ты понимаешь, что на целом свете
Нет никого, кто помнит голос твой.

Ростками рук

Ростками рук, примерно по прямой,
Тянусь к тебе, не сознавая силы, –
Так ветви устремляются к светилу,
Не уследив за собственной длиной.

Но пересечь касания черту –
Немыслимо. Садовник срежет крону.
Мне кажется, что если я дотронусь,
То я в тебе навывлет прорасту.

* * *

Ближе к вокзалу скрутит: зачем живу?
Скомкан билет, как комкала в пальцах пальцы.
Солнце уже распяло на жестких пальцах
Незагорелой кожи твоей канву.

Тычет лучами вышивку по тебе –
Будущий шрам. Отсутствие абсолюта.
Видно по швам, что ты не найдешь приюта
Ни в пункте А, ни в будущем пункте Б.

Жить – ждать состав на самой пустой из станций.
Жажды пожарище. Рельсы в глазах дрожат.
Мне никогда ещё так не хотелось сбежать.
Мне никогда ещё так не хотелось остаться.

Соня АЛЕКСАНДРОВА

Родилась в 1997 году в Воркуте. С 2004 года живет в Нижнем Новгороде. Публиковалась в журнале «Светлояр русской словесности», журнале филологического факультета Нижегородского госуниверситета, альманахах «Слово», «Полдень», в других региональных изданиях. Дипломант III Слёта молодых литераторов России в Большом Болдине (2016).

ЗИМА ОПЯТЬ ПРИШЛА К ОГНЮ – БОСАЯ...

* * *

По снегу лес рассыпался картечью.
Река молчит. Дорога замерла.
Такой мороз, что только рядом с печью
Я чувствую подобие тепла.
Целуется с дорогами позёмка.
Деревня кособока и седа.
Но почему – отчаянно и громко –
Гудят в мороз над нами провода?
Теперь со мной заговорили ели,
Бросая тени синие на снег.
Они скрипят. Они зазеленели.
Их никогда не срубят человек.
Растаял снег. Лишь редкие поляны
Мелькнут то белым боком, то хвостом.
Дожди ночные, первые туманы
На тротуаре пишут ни о чём.
Весна спешит зазеленеть, раскрыться,
Согреть, обнять... Но отцветает сад.
И лепестки, как маленькие птицы,
Из почек-гнезд однажды улетят.
Дрожит земля, потрескавшись от плача,
И в пыль дорог роняют липы цвет.
Я радуюсь, когда в песке горячем
Собачья лапа оставляет след.
Речной туман появится с рассветом.
Пойдём со мной – до солнца. Докрасна
Нагреты яблоки (они сорвутся с веток;
В мой дом опять вернётся тишина).

Струится-шелестит трава-плачя –
Осенний ливень на поляны лёг.
Ты удивишься, если пожелтеет
В твоей руке хотя бы колосок.
Опустошённость в воздухе повисла.
Бумажен небосклон. Душа чиста.
Река – черна; но капельками смысла
Шиповник красен в глубине куста.
В траве высокой, в сердце колких линий
Стрекочет грустно птица-козодой.
Ты будешь спать; а самый первый иней
Украсит листья ледяной каймой.
Зима опять пришла к огню – босая.
Опять – не преклоняя головы.
Пылают ветки – звёзды погасают.
И тает снег до преющей листвы.

* * *

Потерялся в толпе долговязый подросток.
Он любил городки и футбол во дворе.
Он пошёл в магазин за пломбиром «По ГОСТу»,
А застрял где-то там, будто жук в янтаре.
Сняв улыбки с лица, на работу спешили
Обладатели туфель, ботинок, сапог.
А подросток хотел непременно навылет
Пробивая толпу, убежать. Но не мог.
Вспоминая соседскую девочку Нину,
Летний лагерь «Артек», паруса кораблей,
Не заметил подросток, как между ботинок
Мимо движется время. Пришлось повзрослеть.
В пиджаке, с толстой папкой «Доходы в апреле»
Молодой гражданин вызывает такси.
Ему хочется стукнуть коллегу портфелем,
За косичку подёргать, в кино пригласить.
На рубашке пятно от морковного сока,
И рогатку, как прежде, сжимает рука.
С самоката упав, он разбил себе локоть,
Но скрывает сей факт рукавом пиджака.
На работе твердят: «Этот вид неприличен!»,
Говорят, что направят начальству отчёт!..
Он в портфеле хранит коробок из-под спичек
(В коробке шебаршит настоящий сверчок).

* * *

Едва не порвали мою кожуру
Железные рёбра.
И мне показалось: ломаюсь. Умру.
Я – рыба.
Я – кобра.

Когда будет лопаться кожа на мне –
Об этом прошепчет.
Не выскользнут рёбра – вонзятся сильнее
И крепче.
Вопьются – пускай. Не распорот металл
Резиновой кожи.
Я рада тому, что хозяин достал
Весло – из мешка, как из ножен.
Завинчены ржавые гайки; и вот –
Весло приготовилось к бою.
И встретился мой обнажённый живот
С весенней водою.
Коряги царапали брюхо моё,
каждый камень.
И редкие ветки, как злое зверьё,
Бока раздирали когтями.
Лишь старая мне улыбалась ветла
И тело моё целовала.
И только поэтому я не пошла
Ко дну заржавевшим металлом.

* * *

Громко щёлкнул замок, раздались голоса,
Вкусный запах продуктов донёсся.
Все смеялись: «Смотри! У него полоса
От ушей и до самого носа!»
Я бежал им навстречу, виляя хвостом,
И кругами скакал по прихожей.
Я обнюхал ботинки седого в пальто
И сапог из искусственной кожи.
Кто-то в кухне готовить пирог помогал,
Кто-то звал проходящих с балкона.
Я увидел батон, но чужая нога
Отпихнула меня от батона.
Гости сели, разлив по бокалам вино,
Перестав суетиться и бегать.
Я скулил у двери, я вертелся у ног,
Я скучал по собакам и снегу.
Кто-то вывел меня на пятнадцать минут.
Было скользко. Погода такая.
Я в сугробы нырял, но в снегу не тонул,
Я носился, свой хвост догоняя.
Не успел нагуляться. В прихожей тепло.
Торт успели разрезать на части.
Угощают меня. Я сижу под столом,
Улыбаясь собачьему счастью.

Андрей КОРОВИН

Родился в Тульской области (1971). Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького.

Автор восьми поэтических книг. Стихи публикуются в поэтических антологиях, журналах «Арион», «Дружба народов», «Новый мир», «Октябрь» и других изданиях, переведены на десять языков мира.

Руководитель Международного культурного проекта «Волошинский сентябрь», литературного салона в Музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва). Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде. Живёт в Подмосковье.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ДЕРЕВУ...

* * *

а потом во сне
ко мне приходили кошки
вытягивали длинные шеи
говорили тонкими голосами
жизнь это только прыжок
от любви до смерти
прочее литература
грех тебе жаловаться
столько было у тебя любви
не у каждого столько было
мурrrrrr мяу
делись теперь
этой своей любовью
с целым светом
любовь мертва
если ей не делиться
и я гладил проклятых кошек
и гладил
пока не проснулся

* * *

ржавый кленовый лист
болтается на ветру
ударяется о ствол дерева
бывшего его семьей

иногда ветер прекращается
и он висит
одиноким
никому не нужный
надо бы
упасть вниз
предназначение
исполнено
но он ещё держится
ни за что
сколько осталось
ему держаться

весьмир

все дороги ведут к дереву

направо пойдёшь
выйдешь к дереву
налево пойдёшь
попетляешь
выйдешь к дереву
прямо пойдёшь
увидишь

вот
стоит оно
дерево
а под ним

пассажиры ожидающие оххх
такси предлагающее вжжж
кошки которые ззздесь
цикады которые тутт
церковь которая боммм
облака которые надд
история которая подд
старушки которые омм
дети которые ахх
море которое тамм

весь мир
и одно дерево

дерево
и весьмир

яблочный спас

по ночам в Ярославле
собирают яблоки
выходят на улицы
обязательно по двое
парень трясёт
придорожную яблоню
а девушка собирает
сочные сонные
скользкие яблоки

от красных
рождаются мальчики
от белых
ангелы

конец Дуры

с утра по двору бегала курица
без головы
Потапыч отрубил ей голову
но она ему не поверила
Потапыч считала она
мужик добрый и покладистый
не мог он так с ней поступить
в конце концов
она же его любила
подходила к нему вся такая
кококо кококо
а Потапыч знай
подсыпал ей корму
говорил
чѐ дура
нагуливай нагуливай жир
Дура это он имя такое ей дал
думала курица
хорошее имя
короткое и запоминающееся
а про нагуливай думала
что замуж её возьмёт
он же вон какой
большой и сильный
и жена ему нужна
такая же
не всё же с грубым петухом Васькой
яйца рожать
а потом пришла какая-то тётка
ткнула в Дуру
и сказала Потапычу
её

а что её и куда
она не успела понять
ну что поделаешь дура
кричал Потапыч
гоняясь за безголовой курицей
по двору

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ

люди посвятившие себя искусству
с годами сами становятся произведениями искусства
люди посвятившие себя борьбе с криминальными элементами
с годами сами становятся криминальными элементами
люди посвятившие себя политике
становятся её арт-объектами пирамидами мавзолеями
сброшенными памятниками

люди посвятившие себя народу
в конце концов сами становятся народом
чем сильнее любовь к профессии
тем мощнее вживание в образ
психиатры становятся сумасшедшими
врачи пациентами
шахтёры землёй
журналисты строкой в новостях
дрессировщики едой для зверей
юные модели старыми страшилищами
всемогущие миллиардеры беспомощными овощами

Проза

Сергей ТЕЛЕВНОЙ

Родился в 1959 году на хуторе Графском Ставропольского края. Окончил Российскую академию народного хозяйства и гражданской службы при Президенте РФ и Северо-Осетинский государственный университет. С 1993 года – в журналистике. В настоящее время директор – главный редактор газеты «Моздокский вестник» и еженедельника «Время, события, документы».

Публиковался в российских и зарубежных журналах. Член Союза писателей России. Живет в Моздоке.

Я – НЕ ЗАМОРЫШ!

Повесть

Окончание. Начало в № 1, 2017

ГЛАВА IV

1. Ехать к отцу мы решили вместе: мама и я

Вот и мама вышла из церкви. Она была какая-то странная.

– Мам, ты чего такая? Помянула дедушку Кирилла?

– Да, помянула, – задумчиво сказала мама. – И о болящем муже помолилась. Значит, о твоей папке непутёвом. Вот так, Константинович... Отца-то твоего выписали из реанимации, уход нужен...

– Да, мам, я знаю. Завмаг говорил. Конечно, нужен уход. Я собираюсь к нему ехать – автостопом.

– Каким ещё автостопом? Ты что!..

– Очень просто, бесплатно. Тормозишь попутную машину и вперёд!

– Сын, это ты сам тормозишь! Соображаешь, что говоришь? Кто тебя отпустит?!

– Весь мир так путешествует! Мам, ты от жизни отстала!..

– Детский лепет какой-то.

– Это не лепет. Я на первый случай и денег заработал у зоотехника.

– У какого зоотехника? Михаила, что ли?

– Ну да... Вывозил у него навоз из его «авгиевых конюшен».

– Откуда?

– Ну, из сарая, где овцы его и козы.

– Так, значит... Помощник, кормилец, – мама улыбнулась. – Это хорошо, что ты готов ехать к отцу и даже деньги смог заработать. Но батюшка сказал, чтобы ехала я. Первая жена – от Бога... Так и сказал: «Ну что ж, что в разводе. Он же отец же твоего сына».

Я, честно говоря, обалдел от решения мамы. Она, конечно, была недовольна, что отец не платит алименты. Хотя я никогда не слышал от матери, что он негодяй. Просто неудачник. Бывает. Это тётя Галя возмущалась: «Родили вдвоём дитя, вдвоём и содержать надо. По справедливости!» И вот сейчас мама вдруг решила к нему, к моему больному отцу, который не платит алименты, ехать сама. Ничего себе!

– Мам, это ты точно про поездку говоришь? – осторожно спросил я. – Ты же и меня берёшь?

– Тебе надо школу хоть как-нибудь закончить.

– А деньги на дорогу?

– Я же увольняюсь, получу компенсацию за неиспользованный отпуск, зарплату, задержанную за 2 месяца. А на билет церковный староста дед Геннадий выделяет деньги. Батюшка распорядился.

– Ну прикольно! Странные они, – кивнул я в сторону церкви. – Дед Геннадий бесплатно кирпичи кладет, деньги вот на билет дают... Может, они так заманивают людей в свои сети?

– Дурачок ты ещё, Кирилка. Какие сети? Тебе этого пока не понять.

– Так ты мне объясни.

– Я и сама, по правде, не всё понимаю... Но батюшка сказал: бери деньги и поезжай к болящему.

«Словечко какое – “болящий”... Он вообще покалеченный после аварии», – размышлял я. Мы подошли к автобусной остановке. Там оказалась и моя классная руководительница. Сейчас она была без платка, похожа на себя – вся такая из себя.

– Ну и какое сокровище ты прячешь? – спросила она, бесцеремонно сняла мои черные очки и внимательно, снизу вверх, разглядела меня, даже потрогала синяк как бы на упругость. – Роскошный!..

Я ощутил себя под укоризненным учительским взглядом полным заморышем. А она продолжала, уже обращаясь к маме:

– Ирина, вы не волнуйтесь. Батюшка сказал, значит, надо ехать. Да вы и сами это понимаете. А с этим лоботрясом что-нибудь придумаем.

Короче, со мной решили вот что: оставлять меня одного на три недели до конца последней четверти смысла нет – всё равно в школу нормально ходить не буду. Лучше нам с мамой в Пермь к отцу вместе ехать. Классная пообещала организовать в дорогу какую-то справку, заверенную подписью директора и печатью. Пока мы собирались в путь, она сама принесла эту бумагу к нам домой. Для чего – не знаю.

Мне показалось, что Наталья Анатольевна с какой-то радостью делает это. Может, не потому что я должен повидаться с тяжелобольным отцом, а чтоб избавиться от меня? Или не так? Не знаю...

– Я думаю, что в Перми найдется, например, вечерняя школа, и Кирилл закончит там четвертую четверть, – сказала она и сняла с себя ответственность. Может, и вправду хочет, чтобы я с папой повидался.

– Да, конечно, – с готовностью согласилась мама. – Как приедем, так сразу в школу устроимся.

Мне показалось, что о моей учёбе мама сейчас думала меньше всего. Я, честно говоря, тоже.

О тяжелом состоянии отца не говорили ничего. Я так понял, что мать и классная предполагали худшее. Но отца-то выписали из реанимации. И я верил, что он выкарабкается, батя хоть худой, но жилистый. Радость от того, что мы едем к отцу, распирала меня. Я вдруг показался себе таким крутышом, который решил сложный вопрос. Хотя всё утряслось без меня.

Только классная ушла от нас, в дверь постучались. Это был дядька Мишка-зоотехник.

– Ирина, вот, возьми. Это Косте передача. При сотрясении мозга – мёд и грецкие орехи лучшее лекарство.

– Да ну, зачем!.. – запротестовала мама.

– Возьми. Проведай да возвращайся... Думаю, пора обговорить наши личные дела. – Зоотехник переминался на пороге. – У меня дом, хозяйство. Нужна хозяйка, а ты без работы. Да и твоему оболтусу дело найдется. Он вроде хваткий. – Зоотехник торопливо выложил свои аргументы, не давая маме вставить слово.

– Нашёл время... Ты, вообще, о чём, Михаил? – раздражённо сказала мама.

Тут из-за её спины возник я, мать совсем стушеввалась:

– Ну ладно, ладно... Всё, мы торопимся. А за орехи спасибо. Пригодятся мужу... – Мать подчеркнуто сказала «мужу» и аккуратно закрыла перед дядькой Мишкой дверь.

– Он что, пристаёт к тебе? – со злостью спросил я.

– Не болтай глупости! – возмутилась мать.

– Козёл старый! – Мне вдвойне стало обидно за батю. Он только из реанимации, а этот скотовод со своими орехами к мамке свататься пришёл. – Коз-зёл...

– Давай, пакуй свои вещи... Книги возьми хоть для вида.

Собрались. Адрес больницы узнали по Интернету. Мама звонила в Пермь, но телефон молчал, там же по времени с нами два часа разница.

– Доберёмся! – сказала мама с решительностью, которой я от неё не ждал. – Язык до Киева доведет, как говорил твой дед Кирилл. А до Перми – тем более.

На поезде до Перми надо было добираться с пересадками – трое суток. Поезд с вокзала в райцентре отправлялся рано утром – маршрутки в это время не ходят, такси – дорого, пешком – часа полтора. А с двумя огромными сумками вообще не вариант. Я попробовал поднять обе сразу, но убедился, что я всё-таки заморыш. Хотя, конечно, эти два дня я так пахал, да и с Амбалом была махаловка... Потому всё тело болело.

Мама прозвонила по знакомым – неудачно: у кого-то машина сломалась, кто-то был выпивший, кто – без страховки. Было несколько звонков и матери, в том числе от Завмага. Я не знаю, что говорил ей этот самый Артём Артёмович, мамино лицо не выдавало никаких эмоций. Она сказала мне:

– С транспортом решили...

От Маришки пришла эсэмэска: «Кир, счастливого пути! Возвращайся, я жду». И все...

2. На вокзале опять – полиция: я не террорист, но на гастарбайтера похож

Ночью перед поездкой мне снилась всякая всячина – в стиле фэнтези: когтистая судьба-злодейка, чахлая моя воля в виде бомжа-бурлака, безденежье в форме болотистой лужи. Но папа почему-то не приснился. А я ждал. Ну ладно, скоро и так увижу.

Рано утром за нами заехал сам Завмаг! Я удивился, если честно. Хотя он к бате моему относился хорошо – одноклассник и всё такое, но Артёмович все-таки капиталист...

Сели в его «мерс», как белые люди. Я, чтобы как-то оправдать пользование «Мерседесом», спросил Завмага:

– Этот «мерс» отец ремонтировал?

Завмаг засмеялся:

– Этот, этот...

– Артём Артёмович только недавно купил новую машину, – сказала мама с некоторым укором в мой адрес.

Я вжался в сиденье и молчал, потому что вспомнил, как поселковые пацаны бегали смотреть крутой «мерс» возле «гипермаркета». Ну да... Конечно, папа другого «мерина» ремонтировал. Но ведь ремонтировал же! Все не смогли, а он сообразил – без диагностики!

На вокзале к нам сразу подошли полицейские. Я ж в очках темных.

– Сними очки, солнце ещё не взошло, – сказал один со звёздочками, другой рассмеялся.

– И не шурься так, говорят же тебе, солнце ещё не взошло, – подначивал полицейский, намекая на мой заплывший глаз.

Сравнили мою разрисованную физиономию с паспортом. Он у меня был новенький, только что получил. В торжественной обстановке. Я, честно сказать, волновался сильно, когда мне его вручали. Тогда у меня было такое ощущение, что раз получил паспорт, так сразу и повзрослел. Но после получения паспорта я резко не повзрослел, не перестал ощущать себя заморышем. Жаль...

И тут, на вокзале, я сильно волновался. Что я, позорник, полицейских боюсь? Я же ростом метр восемьдесят уже, выше сержантика и наравне с его начальником.

Так! Где моя воля, смелость? Как победить страх? И почему, блин, страх мужского рода?

Пока я разбирался со смелостью и волей, мама с некоторым волнением объяснила происхождение моего синяка. Сказала, что мы едем к отцу, который в реанимации, начала доставать справку с печатью из школы.

– Гражданка, не надо нам рассказывать всю биографию вашей семьи, – успокоил её старший, со звёздочками на погонах. – Вижу, что не террористы...

– Но на гастарбайтеров похожи, – неуместно хохотнул другой полицейский.

Наряд удалился дальше проверять отъезжающих и провожающих.

– А причём тут гастарбайтеры? – спросил я маму.

– Ну так по разрезу глаз определили. По одному твоему глазу, – мама мягко улыбнулась, наверное, чтоб не обидеть меня. – Хотя, может, и придётся нам на этом Урале стать гастарбайтерами...

Я с мамой не согласился, потому что представлял, какие они из себя, эти гастарбайтеры. По телеку показывали – метут Москву, строчат в каких-то подвалах шмотки, на стройках пашут Равшанами.

Ладно, мне не до них. У меня – другое. Честно говоря, ехал на поезде впервые. Наш плацкартный вагон сначала был почти пустой. Я, конечно, забрался на верхнюю полку. Думал, сразу засну. Но стук колес мешал.

Мама тоже не спала – даже не прилегла. Все смотрела в окно. Что там виделось, описывать не стану. Простые мелькающие картинки. Но мама, кажется, плакала. Ну почему она всё время плачет? Вот вчера, когда отшила дядьку Мишку зоотехника, была решительная. Я вспомнил наставления Завмага: решил – действуй! Мне понравилось. А сейчас чего плачет? Судьбу свою оплакивает или потому что папа – в тяжелом состоянии?

От этих мыслей отвлекла эсэмэска, писал Рыжий: «Кир, привет! Ты что, уехал к отцу? Почему не сказал? Мне Мышка сообщила. Ленка спрашивала про тебя. Пока».

Ха-а-а... Ленка спрашивает. А ей какое дело? Пусть с Амбалом тусуется. Хотя, конечно, мне было приятно, что Ленка обо мне думает. А что, у папы-Завмага слабо спросить?

А сам Артёмович, вообще-то, молодец. Лично приехал в такую рань, отвёз нас на вокзал. И о бате говорит хорошо: «Мастер – золотые руки». Зоотехник, конечно, тоже нормальный мужик – и мне копейку дал заработать (ну что ж, что в навозе пришлось копать, – это не так и позорно), и мёд с орехами отцу передал, и о дедушке моем Кирилле говорил: «Великий пахарь». Но... оба они, и Завмаг, и зоотехник, мне не нравились тем, что уделяют маме какое-то подозрительное внимание. Дядька Мишка так прямо и говорит: «Личную судьбу надо устраивать». Вот козёл!..

А мама, между тем, спохватилась:

– Как же я забыла Гале сказать. Орехи-то на подоконнике начали, кажется, проклёвываться. Засохнут ведь...

– Так ты эсэмэску скинь ей.

– Точно! – и мама написала: «Галя, присмотри за квартирой. Ключ под ковриком. Поливай орехи на окне в ящике».

Мама успокоилась по поводу прорастающих орехов, а я – потому что увожу её от потенциальных женихов, к отцу моему. Ну и сам сматываюсь от Амбала подальше. С этими мыслями я заснул, точнее, просто отрубился. Спал, как потом мама говорила, часов двенадцать. Она попробовала разбудить меня, не получилось. Даже проводницу позвала, а та пришла почему-то с полицейским, а не с медсестрой. Медики, оказывается, на поезде не положены. Все прислушивались к моему дыханию.

– Просто спит, – сказал авторитетно полицейский. – Видно, у пацана трудный день был.

Он был прав: последний день у меня был трудный и предпоследний тоже. Главное, и сон у меня был какой-то трудный. Я во сне упорно пытался управлять как бы другим сном: хотел увидеть папу. Не получилось. Я злился на себя – и здесь, как заморыш, не могу справиться даже со сном. Так и не увидел отца. А снились мне, блин, гастарбайтеры из телевизора, как их полицейские вытаскивают из подвалов и – в автобус. Ну и на фиг они мне нужны были, эти мигранты?..

3. Маленькая Эротика, мамина песня

и я – неадекват

К вечеру мой сон прервал шум – на очередной станции ввалилась весёлая компашка. Как потом выяснилось, молодежная фолк-группа. В основном девчонки. Красивые! Они разместились рядом с нами. Я свесился головой в проход и наблюдал. Ни одна из девушек не была похожа на Ленку. И на Маришку – тоже. Ха, что это я Маришку часто вспоминаю?

Мне стало совестно: отец мой – только что из реанимации, а я думаю о девчонках. Он, конечно, выкарабкается, он – худой, но жилистый. Но девчата сейчас не в тему. Но тут само собой в голове завертелось:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики....

– Девушка, присоединяйтесь, – сказал кудлатый парень из компании, обращаясь к моей маме. Я сначала и не понял, что «девушка» – это к ней. – Прошу, к нашему шалашу. На столике появилась целая упаковка пива.

– По пивасику, красивая... – обратился он к маме запросто. Ну, козёл безбородый, туда же. Злился я, а сам смотрел сверху на девчонок – кое у кого виднелась, так скажем, эротика.

– Спасибо, но я пива не хочу, – грустно, однако достойно ответила мама.

– Понимаем. У вас, наверное, серьезные проблемы, – сказала одна из девушек, с маленькой эротикой в вырезе кофточки. – Но если вы сейчас не можете разрешить эту проблему, оставьте её. Решение созреет и придёт само.

– Да, конечно, – согласилась мама.

– Проблема с вашим парнем? – кивнула эта Маленькая Эротика в мою сторону и каким-то неуловимым движением рук дала понять, что речь идёт о моей физиономии с роскошным синяком.

– Нет, это не проблема, это синяк, – сказала мама девушке, которая, собственно, уже её не слушала, но мы встретились глазами. У меня заколотилось сердце. «Ё-моё!...» Я пялился на неё, если можно сказать так про мой заплывший глаз. Она беззаботно улыбалась и укрдкой поглядывала на меня. Из спортивного интереса, наверное.

Тем временем к маме подсел кудлатый балагур с гитарой. Начал перебирать струны.

– Вы, наверное, сельские?

– Ну, в известной степени... – неопределенно сказала мама, а я хотел было уточнить, что мы из поселка городского типа, но сдержался.

– На селе поют ещё вот такие песни. Музыка народная, слова народные.

Он начал напевать: «Ты, река ли моя, чиста реченька...»

Фантастика, но эту песню пела моя мама. Она сначала удивилась, потом запела вместе с парнем – негромко, но выразительно, рельефно, что ли... Каждое слово было понятно.

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься...

Они пели и почти влюбленно смотрели друг на друга. Такого поворота я не ожидал. С одной стороны, я понял, какая у меня мама молодая и красивая, с другой – это «измена родине»! Отец только что из реанимации, а тут песни, влюбленный взгляд! Я про себя возмущался, но боялся что-то предпринять. Блин, я же офицером хочу когда-то стать, а офицеру нельзя быть трусом!

Меня как ветром сорвало с верхней полки, и я очутился перед кудлатым:

– А ну, отвали от неё! – В руках у меня оказалась пустая пивная бутылка.

– Ты что, Кирилл... – всполошилась мама.

– А ничто! Отвали!..

– Да я и не подваливал, – попытался сострить певец. – Неадекват какой-то...

– Ребята, пошлите отсюда! – это Маленькая Эротика предложила. – Все какие-то проблемные...

Компания быстро переключалась на другие места полупустого вагона.

– Кирилл, ты что творишь? – закричала мама. – Ты что меня позоришь?

– А что он пристает к тебе?

– Тебе постоянно мерещатся какие-то приставания! – горячилась мать и в то же время переходила на шепот. – Это нормальные человеческие отношения... А ты как дикарь! Что, только что с дерева слез?

Я молчал. Если по-честному, я ревновал мать как бы от имени отца. Батя только что из реанимации, а она... А что она? Ну, дядька Мишка-зоотехник орехов передал, ну, подвёз нас Завмаг на «Мерседесе», ну, спела мамка песню с этим балалаечником. И всё? Кстати, откуда он знает эту песню? А, ну да – это ж фолк-группа, народные песни собирают.

– Мам, ладно, – примиряюще сказал я. – Ну погорячился. Отец же болеет, а мы...

– А что – мы? Я еду именно к твоему отцу, Кирилл, а не к своему мужу... Он мне не муж уже 10 лет. А я лезу со своей помощью!

– Ну ладно, мам... Тебе даже поп сказал, надо ехать.

– Не поп, а священник! А сказал он так, потому что я спросила, потому что сама хотела.

У меня не было желания пререкаться с матерью, а она продолжала:

– Приеду со своей помощью к батю твоему, а там его жена. И что?

– Мам, ну Завмаг же говорил, что за ним некому присматривать.

– Это пока отец твой больной – некому, а как выздоровеет, так найдутся.

– Мам, ну хватит...

Нас прервала Маленькая Эротика. Она нырнула к столику, выцепила оставшуюся там бутылку с пивом и удалилась без слов. Даже не глянула в мою сторону. Обидно. Мне вспомнилось:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики....

За перегородкой снова зазвучала гитара, снова – песня: «Ты, река ли моя, чиста реченька». Как будто мне назло. А может, это для мамы?

Мы молчали. Я вдруг обнаружил, что до сих пор в руках держу пустую пивную бутылку. М-да... Опять чуть не получил боевик – второй за два дня. Хотя какой боевик? Я сам себе признался, что бутылкой

бы не ударил этого народного артиста. Убить же можно! Он же не Амбал, ничего такого мне не сделал. И вообще этот парень мог бы меня легко завалить. Я посмотрел на свои тощие руки-макаронины, ощутил себя заморышем с йододефицитом.

Подальше от этой малоприятной мысли я забрался на свою верхнюю полку и попытался заснуть. За перегородкой слышался шум компании. Перед глазами всё маячила Маленькая Эротика.

Тут пришла эсэмэска. «Наверное, от Маришки», – с тоской подумал я, явственно представляя за вагонной перегородкой Маленькую Эротику. Даже телефон не достал из-под подушки. Ну что она пристала ко мне, эта Мышка? Так я назвал Маришку впервые за последнее время. Ладно, посмотрю: что там пишет...

Упс! Это была... Ленка: «Кир, привет! Как ты? Мы тут все переживаем за тебя». И смайлик в виде сердечка. Я аж разволновался. Надо же, смайлик-сердечко? Может, прикалывается? Я вспомнил «макаронины», «заморыша»... Наверное, хочет похохмить. Что ей ответить? Напишу «нормально», безо всяких бабских сердечек.

Оба-на... Батарейка на телефоне полностью разрядилась. Не ответишь Ленке.

4. Волга есть Волга – без вариантов

От досады, что не удалось ответить Ленке, я заснул. И снилось мне, будто переплываю какую-то лужу, похожую на лужу безденежья из моего детства. Но запутался в пуповине или в водорослях? Хотя какие водоросли в луже? И напрягаю я волю, наподобие бурлака-бомжа. Барахтаюсь изо всех сил – я ж гиперактивный! А судьба – суровая тетка в сером балахоне, руки скрестила, губы поджала и смотрит сверху. И как бы в стороне – Маленькая Эротика, что за перегородкой в соседнем отсеке вагона. И кудлатый балалаечник, то есть гитарист, в роли рыцаря. Короче, какой-то бестолковый фильм фэнтези.

А за окнами крутился реалистический «фильм»: проплывали деревеньки, посёлки, городки и города. Но я этого не видел – дрыхнул.

Уже весь вагон проснулся. Пассажиры сновали туда-сюда. Звон стаканов с чаем, хлопанье туалетными дверьми, лязг, врывающийся из тамбуров. Я неохотно выползал из сна.

Вдруг по вагону пронеслась какая-то необъяснимая волна. Грохот поезда стал гулким и объёмным, что ли. Состав вынесло на железнодорожный мост.

– Волга, Волга, смотрите... – многие пассажиры прильнули к окнам, я тоже вострепнулся и прилип к стеклу.

Ну, по моим меркам, это была не река, а просто настоящее море! Правда, и море я видел только по телевизору. Но всё равно сравнить есть с чем.

– Константинович, смотри! Волга! – Это мама моя с нижней полки и с восторгом. Если она назвала меня Константиновичем, значит, простила, не дуется на меня.

– Да... вижу! Ну, нехило! Целое море! – не скрывал я эмоций. – Смотри, мам, и корабли настоящие.

– Теплоходы, – уточнила она, – катера...

За перегородкой снова слышалось «Ты, река ли моя, чиста реченька»... Мама глянула на меня и, улыбаясь, начала тихонько подпевать.

Реально через Волгу переезжаю. Ну, на уроке географии мне будет о чём сказать, если что. Неожиданно для себя я вспомнил школу. Недавно проходили тему про реки – «внутренние воды», кажется.

Мама сходила к проводникам, за отдельную плату у них можно было зарядить телефон. Взяла и мой. Сразу посыпались мне эсмэски.

Ха-а-а! Опять Ленка: «Что молчишь, Кир? Все нормально?» И смайлик – сердечко. От Маришки: «Привет, Кир! Сообщи, как дела». Здесь без смайликов-сердечек. Хотя я помню, как она с цветком сирени прибежала ко мне. Зато рыжий Денис наслал всяких эмэмэсок – черепа да машинки и просто «Привет». Ну Дэн, несерьезно. Я ему так и написал: «Пора взрослеть ☺ ☺ ☺» Денису уже тоже 14 лет, и паспорт имеет, а все в машинки играет. Хотя, машинки, конечно, прикольные...

Надо Маришке ответить: «Дела нормально. Проехали через Волгу. Сила! Всем привет».

«Не Волга, а Кама. При слиянии Кама больше Волги, значит, Кама» – тут же последовал ответ от Маришки.

Ну Мышка, удивила! Туфту гонит. Я засомневался, спросил у мамы, всё-таки институт окончила.

– Я тоже это где-то когда-то слышала, что Волга впадает в Каму, а не наоборот, – сказала мама. – В месте слияния Кама полноводнее и шире. Значит, географически правильно, что это Кама, а не Волга. А по сути – антисоветчина.

– Чего-чего? Анти... чего? Антисоветчина?

– Ну это я образно, – засмеялась мама. – Волга – это Волга, без вариантов!

Короче, я совсем запутался. Эта Маришка мозги мне вывихнула.

Кстати, надо и Ленке ответить. Написать этой Звёздной Звезде для хохмы, что она не самая красивая? Есть ещё красивее? Например, Маленькая Эротика из соседнего отсека. Нет, не буду, может, она и самая красивая. Я написал ей просто: «У меня все отлично!» И всё, хватит. Я помню про свои конечности-макаронины, ну и про многое другое.

Ладно, хватить об этих бабах, в смысле, о девчонках. Отец тут тяжело больной, а они лезут в голову. Хотя у меня была уверенность, что батя выкарабкается. Он хоть худой, но жилистый.

– Ну вот, Константинович, Галя скинула мне эсмэску. Артём Артёмович дозвонился до Перми. Косте, папке твоему, лучше. Но весь в гипсе, нужен уход. Написала, что Артёмович снова Сергея в грузчики взял, тот пить бросил.

– Ну, все последние новости посёлка Лесостепного и города Перми, – посмеялся я, довольный, что отец идёт на поправку. Хотя ещё перед выездом на Урал мы знали, что отца перевели из реанимации. Хорошо также, что Завмаг снова принял на работу дядьку Сергея. А то грузчик ведь, можно сказать, из-за меня пострадал.

– Ты бы хоть учебник какой-нибудь достал, – испортила настроение мать. – И так школу прогуливаешь. Двое суток балду гоняешь.

Я вытащил учебники и стал лениво их листать, не зная, на чём сосредоточиться. Мысли были о другом. Как я встречу с отцом? Как он отреагирует на наше с мамой появление? Может, и вправду его жена уже там сидит, а мы, здрастье, нарисовались?

«Но это мой отец, мой! Я еду к нему», – так сам себе я доказывал своё право. Напряг свою волю в форме бомжа-бурлака, набычился. А она, воля, подстегнула фантазию. И пошло-поехало: из нашего посёлка, который «ни к селу ни к городу», прямо над строящейся цер-

ковью, где мы с рыжим Денисом работали, попёрла воля-мечта меня через Волгу (или через Каму?). Доставила прямо к больнице, где лежал загипсованный отец. Но это – в фантазиях, а в реале поезд нёс меня на Урал, конечно, не со скоростью мысли, но всё-таки быстро. Ветер врывался в приоткрытое окно и теребил раскрытый учебник географии. Наверное, призывал убедиться, что Волга – это Волга, а не Кама. А я и не стал листать книжку – мама сказала же: Волга – без вариантов.

5. Увидеть Пермь и обалдеть: фонтаны, театры, небоскрёбы!

Короче, мечта-фантазия моя покружила над Волгой, далее – над Камой и угомонила. Поезду пыхтеть еще, наверное, сутки. Никаких особых приключений за это время не случилось. Компания с Маленькой Эротикой тоже притихла, песен не пела, пивасик, видно, закончился. Учебники тихо лежали под подушкой нераскрытыми. Попутчики с соседних полок поменялись – даже не запомнились. Эсэмэски мне перестали приходить – батарейка телефона совсем разрядилась.

Поезд прибыл на станцию Пермь-II.

– А почему на Пермь вторую, а не на первую? – спросил я у мамы. – Мы что, второй сорт? – У меня возникла дурацкая мысль, что сюда привозят не самых, так сказать, знатных пассажиров. Типа мигрантов-гастарбайтеров и жителей поселков, которые «ни к селу ни к городу». То, что мысль дурацкая, подтвердила мама.

– Дурачок, какой же второй сорт? Здесь целый Транссиб проходит!

Я что-то об этом слышал, из телека, что ли? Спросил у мамы:

– А что такое Транссиб?

– Великий сибирский путь! Самая длинная железная дорога в мире! – как-то с пафосом сказала мама и добавила: – Через всю Европу, через Урал и Сибирь, аж до Тихого океана.

– Самая длинная в мире? Ничего себе! – Я слегка загордился. Конечно, из пассажиров второго сорта – прямо к мировым масштабам. – Это что, мы великие путешественники?

– Ну прям уж, великие... Давай, продвигайся к выходу.

Мы вышли последними, потому что нас никто не встречал. Меня покачивало от трехсуточной езды на поезде.

Я вспомнил слова тёти Гали: это, мол, край эков и ментов. Ни тех, ни других я не видел, кроме дежурных полицейских, степенно прохаживавшихся по вокзалу. Меня мама оставила в зале ожидания с сумками, а сама куда-то побежала. Мой отцветающий зеленоватый фингал, всё ещё выплывающий из-за черных очков, полицейских не привлек. Хотя, если честно, когда они проходили мимо, я почувствовал себя заморышем, съезился и потянулся в карман за паспортом. Он, мне казалось, прикрывал мою грудь, как бронезилет.

Потом я видел, как к полицейским подошла мать, что-то спрашивала, записывала, они старательно объясняли.

Честно говоря, мне нравилось, что мать у меня такая смелая – подошла прямо к полицейским, не побоялась. Мне вспомнилось недавнее – как мы с ней в ментовке у нашего участкового были. Может, информация про нас, про семью хулиганов, уже сюда пришла? У них это

быстро. Хотя участковый нашему делу обещал не давать хода. Говорил при Завмаге, при всех. А там – кто его знает... Подошла мама:

– Ты что такой озабоченный?

– Мам, ну ты такая деловая, – не стал я рассказывать ей о причине своей озабоченности. – Тебе не страшно в таком большом городе? Народу тьма...

– Нам нельзя народа бояться, мы сюда приехали не за этим, – улыбалась и в то же время волновалась мама. – В мегаполисе другой ритм жизни.

– Мегаполис! – с придыханием произнес я. Конечно, мне приходилось слышать это слово, и его значение было в принципе понятно. Но вот так, чтобы ты сам в мегаполисе – это супер! Я опять загордился собой: Транссиб, мегаполис! Мне также нравилась мамина уверенность, которая передалась мне.

– Пошли, сначала нам надо на трамвай, – скомандовала она.

Ехал на трамвае я первый раз в жизни – ощущение, как на маленьком поезде ☺ За окном медленно плыли картины города. Ну, это по сравнению с нашим поселком Лесостепным, который «ни к селу ни к городу» – просто космос! Потом своим расскажу. Например, Дениске рыжему или Маришке, может, Ленке. Хотя нет, ей не буду.

...Плыл я в трамвае, покачиваясь, и понимал: ту лужу безденежья, которая ещё с раннего моего детства чавкает у нас в поселке под ногами и рисовалась в стиле фэнтези, надо... замостить тротуарной плиткой, как в Перми. Вот и всё – очень просто!

Трамвай постукивал на стыках, за окнами возникали фантастические картины мегаполиса: театр, фонтаны, памятники, зеркальные небоскрёбы. Для меня всё, что выше третьего этажа – уже небоскрёб. Супер! Короче, меня этот город покори́л – Пермь Великая!

Я взглянул на маму, пытаюсь найти понимание. Она была поглощена чем-то своим и прислушивалась к названиям остановок. Ну да, конечно, она же не просто катается на трамвае, а едет к тяжелобольному моему отцу. И меня мысли вернули к отцу.

Да... Его этот огромный город не баловал. Скорее наоборот – постоянные проблемы с работой, с жильем, со здоровьем. Я почему-то подумал: вот если бы у меня родился младший брат, если б родители не разошлись, мы бы вчетвером жили в Перми. И аварии с отцом, скорее всего, не случилось бы. Вообще у нас была бы судьба другая – не когистая злая тетка. А так имеем, что имеем. Каждый – по отдельности...

Я не то чтобы обиделся на мегаполис за отца, но удивился: почему всё так несправедливо? Кто-то в роскошных иномарках и в небоскрёбах, а кто-то совсем безлошадный и в общагах да съёмных каморках? И тут мне стало как-то обидно за мой маленький несуразный посёлок Лесостепной. Там и леса-то нет, кроме выгоревшей лесополосы, и степь сильно уж суховейная, и всего несколько трёхэтажек... Какое-то несправедливое распределение. Это что же, я его, мой посёлок, выходит, предаю? Что, измена родине? Хотя Пермь, конечно, супер!

– Константинович, выходи, – толкнула меня мама. – Сейчас надо пересесть на автобус.

Мы попали в час пик – все ехали с работы. Народу тьма. Много очень красивых девчонок. В голове закрутилось дурацкое:

Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики...

Пока ждали автобус, я пытался их, девчонок, сравнивать с Ленкой, Маленькой Эротикой (из нашего вагона) и Маришкой. Мысленно становился рядом с каждой. А что, при моих ста восьмидесяти см вполне... Ну, синяк, который еще не сошел, не в счёт. Я быстро запутался с этими девчонками, потому что они, заразы, все разные и каждая мне нравилась. Наверное, я гиперозабоченный. Я же и по рождению – гиперактивный кесаренок.

Толпа занесла нас с несуразными баулами в автобус. Езда быстро утрясла пассажиров, прижав меня к окну. Я чуть не потерял черные очки, пришлось снять. Переезжали через Каму, которая впадает... в Каспийское море. Я улыбнулся своим тайным знаниям. А за окном взметнулся нереальный лес – сосновый бор, как я понял из разговоров местных. Тут вспомнились мне посаженные в ящике на нашем подоконнике грецкие орехи. Интересно, будет с них толк? Про «рощу Кирилла», глядя на сосновый бор, мне даже смешно было думать. Смешно и обидно почему-то...

6. Ещё препятствие перед встречей с отцом

Приехали в больницу, которая почему-то называется медсанчасть, уже к вечеру. Охранник на проходной, весь в черном, как какой-то супергерой, строго объяснил, что доступ посетителям закрыт, начальство ушло. Есть только дежурные врачи.

– Но мы три тысячи километров добирались сюда! Нам надо увидеть больного!

– Завтра всё решите, – сказал охранник, отвернулся и начал есть из какой-то мисочки лапшу быстрого приготовления. По-нашему – бичпакеты. Как-то он со своей лапшой перестал казаться мне супергероем.

– А как же нам быть? – не отставала мама. – Как связаться с дежурным врачом?

– Это не ко мне... Я же не служба спасения.

Я злился на охранника и думал: как прорваться через проходную? Просто перепрыгнуть через турникет и рвануть к больничному корпусу? Может, плеснуть ему лапшой в физиономию? Дурацкие, конечно, мысли. Или попробовать что-то поддипломатичнее?

– Дяденька, – обратился я к охраннику, – у вас отец есть?

– Ну допустим... – перестал жевать охранник и настороженно посмотрел на меня.

– А если б он лежал тяжелобольным, то вы бы как поступили?

Я сам не ожидал от себя такой наглости, но вопрос был уже задан. Охранник встал, повернулся всем корпусом ко мне, очень внимательно изучил мою физиономию и сказал:

– С таким фингалом к отцу я бы не пошёл, – и пояснил: – потому что ещё бы получил от него.

– За что? – удивился я.

– Мой отец так рассуждал: если не можешь постоять за себя, значит, ходи с вечными синяками...

Мне стало обидно за себя, и я выпалил:

– Мы с Амбалом махались! Он такой бык!! – Но на Бичпакет, как я окрестил охранника, это не произвело впечатления. Он продолжил хлебать лапшу.

Мама присела на стул и прислонилась головой к стенке. Устала.

– Что нам делать-то?

– А вы, когда ехали сюда на ночь глядя, что думали? – оторвался от еды охранник.

– Так мы ж с поезда...

– С поезда, с поезда... Что вы все едете и едете в город. Кто вас тут ждёт?

– Вы же понимаете, мы вынужденно сюда приехали. Отец его весь в гипсе...

– Здесь все в гипсе или на костылях. Кто сильно к родственникам хочет попасть, тот находит способ.

Мама поняла это по-своему. Взяла 100 рублей, вложила в паспорт и протянула охраннику.

– Слушай, подруга, – это он к маме обратился, – я же не это имел в виду. Вы, я вижу, и так народ небогатый. Так что заberi.

Мама воспользовалась добротой супергероя:

– Телефон на зарядку можно поставить?

– Ну давай, – позволил охранник и обратился ко мне: – С такими длинными ногами перемахнуть через забор – раз плюнуть.

– Что, правда? Можно через забор?

– Как хочешь, так и понимай. Моё дело – тебя потом изловить, – ба-совито засмеялся супергерой в черной форме, уже не казавшийся мне Бичпакетом.

Я вышел из проходной и пошёл вдоль забора, примеряясь к нему. Оказалось высоко. Сначала надо было забраться на дерево, что я и сделал.

Перепрыгнул с ветки на забор и перевалился через него, как мешок с... Ну понятно, с чем. Рухнул в кустарник, разорвал физиономию и подвернул ногу: «Ё-пэ-рэ-сэ-тэ!..»

Неожиданно для меня самого из глаз хлестнули слезы. Стоп! Что расквасился? ☹ Мужчине должен терпеть боль! Я сидел в кустах, вытирал разодранную щеку и слёзы. Короче, развёл целую лужу. Нет, я не плакал, слёзы сами, блин, текли. Было не так больно, как обидно.

Отец так близко, а я с синяком, разодранной щекой и весь в соплях, сижу здесь в кустах. Это какой-то трындец! Решил отсидеться в кустах, подождать, пока слезы позорные не высохнут.

Надо мной неожиданно возник охранник в черном. Оказывается, он видел в камеру видеонаблюдения, как я бестолково свалился с забора в кусты и поспешил ко мне.

– Что с тобой? Все нормально? Тогда что расселся? – оценил он мою исцарапанную физиономию. – Не плачь, все пройдет!

– Я не плачу, – огрызнулся и просто возненавидел себя: блин, какой я лох, вечный неудачник и заморыш! Постоянно у меня всё не так, как у людей...

– Вставай, пошли, – беззлобно и как-то устало сказал охранник.

– Вы меня что, задержали? – вспомнил я его недавние слова про то, что он должен меня изловить. – Это что, была подстава? – возмутился я и стал думать о нём, как о Бичпакете.

– Дурачок ты ещё, – сказал охранник. – Насмотрелся мультиков да боевиков и всё в войнушку играешь.

– Я мультики не смотрю, – пробовал я возразить. – Мы куда идём?

– Сначала умыться надо, а потом будет видно, – охранник довёл меня до пропускного пункта и легонько подпихнул в подсобку, а сам

занял свой пост у амбразуры окна. Через приоткрытую дверь подсобки я видел маму в углу на стульчике – такую сникшую, усталую. Она меня не заметила. Умылся, слёзы исчезли, только физиономия опухшая и разодранная. Ладно, до свадьбы заживет, как говорила мама. В связи со свадьбой вспомнилась Звёздная Звезда Ленка, Маленькая Эротика из вагона и Маришка. Все сразу! Или я такой озабоченный, или у меня сильно мягкое сердце – не могу вычеркнуть двух и любить одну. Что это я про любовь, тут отец к постели прикован. М-да... Видели бы девчонки меня сейчас!

Думая о них, я вдруг понял, что оттягиваю встречу с отцом. И хочется видеть его, и как-то тревожно, даже боязно.

– Ну что, всё? – заглянул в подсобку охранник.

– Вроде, да, – неуверенно сказал я, рассматривая себя в зеркале над умывальником.

– Не мохай! Мужчину шрамы украшают! – это я уже неоднократно слышал.

– А кто там у вас? – всполошилась мама на своём стульчике в углу. – Кирилл, ты, что ли? – она заглянула в амбразуру.

Скрываться было нечего:

– Ну я...

– Что тобой? – вскрикнула мать, когда я появился из подсобки.

– Нечаянно упал с забора.

– Господи, горе ты моё! – и расплакалась. – Ничего хоть не сломал?

– Так, подруга! Ты меня начинаешь доставать! – зарычал охранник на мою мать и обратился ко мне: – А ты или выметайся отсюда и держись за мамкину юбку, или дуй быстрее в палату к отцу.

– А там пустят? – засомневался я, ощущая себя заморышем.

– Да что ты как размазня, – сказал охранник с интонацией дядьки Мишки-зоотехника. – Пустят!

И какого фига мне именно сейчас вспомнился этот скотовод из Лесостепного? А вдруг он станет моим отчимом?

7. Как я столкнулся с... мертвецом и судном

Я, ковыляя на подвернутой ноге, добрался до корпуса. В больничном коридоре было пустынно. Я с опаской продвигался, всматриваясь в номера палат. В конце коридора копошилась санитарка.

– Стой, ты куда! – санитарка, опершись на швабру, внимательно осмотрела меня. – Ты откуда такой чумазый? И подранный весь...

– К отцу я... Мы только что с поезда. Приехали из Лесостепного.

– Откуда?... снова оценила взглядом меня санитарка. – Хорошо хоть не из Мухосранска, – расплылась она в улыбке, довольная своей шуткой, и продолжила в том же духе: – Кишлак что ли какой-то?

– Вообще-то поселок городского типа, – с некоторой обидой сказал я. – У нас там нет кишлаков, только хутора, села, поселки... И города, – добавил я веско.

– Ну надо же! – с деланным восхищением произнесла санитарка.

– Мне бы в травматологию... В триста восьмую палату. Вы не подскажете? – заискивающе спросил я, ненавидя себя за робость.

– Так время посещения больных закончилось. Как ты туда пойдешь? Всё закрыто. Тебе ж на третий этаж надо. Это только на служебном лифте. Да и бахилы надо купить и халат накинуть...

– А где их купить?

– Перед медсанчастью аптека. Но она закрыта...

– А что ж мне делать?

– Ну, есть у меня для таких, как ты, – с укоризной сказала санитарка и безапелляционно добавила: – Давай 50 рэ.

У меня оставались карманные деньги, которые я у дядьки Мишки-зоотехника на его «авгиевых конюшнях» заработал.

Без слов отдал ей полтинник, она также молча протянула мне халат и бахилы. Указала, где лифт. Немного постоял, подождал, обдумывая, как встречу с отцом. Лифт опустился, с шумом распахнулась дверь и оттуда мне навстречу выкатились санитарные колесные носилки, на которых под простыней лежал... мертвец!

Блин!.. Я аж отшатнулся. Санитар, который опустился вместе с мертвецом, не удостоив меня взглядом, деловито развернул колесные носилки и увлек их в узкий кафельный коридор. Наверное, в морг.

Я, конечно, в фильмах видел всякие страшилки, трупы и всё такое... Тогда мне не боязно было, а скорее прикольно. Но тут – в реале на тебя едет мертвец на коляске! Лифт оставался открытым. Если честно, мне страшно было туда входить. Нет, я не такой уж трус. Вон против Амбала пошёл один на один! А тут... ☹ Где мой бойцовский характер?

– Ты что остолбенел? – крикнула из глубины коридора санитарка. – Мертвецов, что ли, боишься?

– Да не боюсь я ничего, – проямлил ей в ответ. Про себя подумал: мне, между прочим, только 14 лет, я ещё практически ребёнок. Как будто все дети балдеют от встречи с мертвецами. Так я мысленно оправдывался перед санитаркой.

Она подошла, устало посмотрела на меня и легонько подтолкнула в лифт:

– Надо живых людей бояться, а не мёртвых. – И добавила: – Две минуты, и ты на третьем этаже. Я отсюда нажму кнопку. Не бойся.

За моей спиной двери угрожающе закрылись. Я оказался один внутри лифта. Только что здесь был мертвец. Ужас! А вдруг это был отец? Не успел я развить страшные мысли, как лифт остановился и распахнулся. Я вылетел из его утробы – даже забыл про боль в ноге, которую недавно подвернул.

– Фу... Слава Богу! – произнес я вслух, осторожно и неумело перекрестившись. Этого за мной раньше не замечалось. Тут я почему-то вспомнил по Троицкую церковь, которая в нашем посёлке строится, про то, что денег нам на дорогу выделил батюшка.

М-да... Ещё четыре дня назад я и не представлял, что буду за три тысячи километров от нашего Лесостепного, который «ни к селу ни к городу». Всё так сложилось: вроде и люди вокруг нас в посёлке какие-то очень уж простые и не особо добрые – не сказочные герои и не телевизионные благодетели. А ведь помогали нам с мамой добраться сюда: и Завмаг, и дядька Мишка-зоотехник, и классная моя, и участковый, и тётя Галя. И Дениски рыжего мать – она за меня вступилась перед классной. А Маришка – реально моя спасительница! Нет, она точно в меня влюбилась ☺ А вот Звёздная Звезда Ленка всё посмеивалась надо мной. Я для неё – ореховую аллею, а она с Амбалом...

Вот мама моя, конечно, декабристка! Взяла и сорвалась со мной за тысячи километров. Может, она и правда бату моего ещё любит? Все эти скомканые мысли молниеносно пронеслись в моей черепушке.

И вот я здесь и сейчас увижу отца.

Он буквально рядом, на этом этаже, в палате № 308. Я в себе ощутил странное чувство: с одной стороны, очень хотел увидеть отца, с другой – боялся встречи с ним. Как он там? Может, он и не захочет меня видеть. Я, например, если бы лежал трупом, весь в гипсе, точно не захотел бы, чтоб кто-то меня такого видел. Например, Ленка.

– Давай, Кирилл, смело пошёл, – сказал я в приказном тоне сам себе вслух в пустом коридоре.

Прихрамывая, двинулся вдоль стены, как бы украдкой. Так, это – чётная сторона: триста вторая палата, триста четвертая, триста шестая... Я что-то откуда-то помню про палату № 6. Там вроде шизики обитали. Но мне не сюда, тем более – это палата № 306, а не № 6.

Вот палата № 308! У меня бешено заколотилось сердце. Стал в нерешительности.

Вдруг дверь распахнулась, на пороге появилась и чуть не столкнулась со мной санитарка с судном в руках. Судно, понятно, не то, которое плавает по Каме или Волге. М-да... Я что-то и не задумывался, что больные, как бы это литературно сказать, ходят по-маленькому и по-большому. Такая вот встреча... Я отвел от судна глаза и нос.

– Это что за чудо в перьях? – спросила меня санитарка настолько удивлённо, что я невольно обернулся в поисках этого самого чуда. – Ты кто такой и откуда?

– Я Кирилл из Лесостепного. Из поселка городского типа, – уточнил я, чтобы и эта санитарка не подумала, что из какого-то там кишлака. Они, санитарки из мегаполисов, как я понял, городами считают только миллионники. Для них всё, что меньше, – кишлак.

– Мне фиолетово, какого типа.

– Я к отцу. Константин его зовут, – уточнил я. – Травматология, после аварии, палата № 308.

– Ну есть такой... Нуждается в круглосуточном уходе.

– Вот мы и приехали, чтоб ухаживать. Я и моя мама.

– Что-то вы не спешили, родственнички, – пробурчала санитарка. – Выноси тут дерьмо за вашими... – Она удалилась с колышущимся судном.

8. Ну вот мы и встретились с отцом!

Я остался перед открытой дверью. Ну!.. Помню, когда был маленьким, бежал навстречу отцу, возвращавшемуся с работы, и бесстрашно бросался ему на руки. Он головокружительно подбрасывал меня вверх – аж дух перехватывало! Вот и сейчас было такое состояние.

Я нерешительно переступил через порог. И – не увидел отца.

Четыре кровати со странными конструкциями в виде тросиков, колёсиков и штанг стояли в два ряда. Все были заняты. А где отец?

– Пап, ты где? – тихо окликнул я. На всех четырёх кроватях отметились шевеление.

– А к кому пришёл? – проскрипел стариковский голос с первой кровати. Это явно не папа.

– Кирилка, это ты? Откуда? – Кровать отца оказалась в дальнем от меня углу, возле окна. Над одеялом торчала загипсованная нога. Батя, подтягиваясь на руках, с трудом оторвал голову от подушки. Его голос был слабым, но узнаваемым. В нём слышалось скорее удивление, чем радость. Глаза и щёки провалились, волосы спутались. Но это – отец!

Я в нерешительности подошёл. Не знал, как себя вести, – это в детстве я бросался ему на шею! А сейчас? Я подал руку для рукопожатия:

– Привет, па! Как ты?

В ответ батя притянул меня и обнял плетью руки. У меня брызнули позорные слезы. «Тьфу, блин!.. Сопли распустил», – разозлился я на себя.

– Сынок, как ты здесь оказался? – у отца повлажнели впавшие глаза.

– Мы с мамой приехали.

– Как? И она с тобой? – мне послышалась в его голосе тревога.

– Мы сюда прямо с поезда. Она внизу, на проходной, – торопливо рассказывал я. – Мать, как узнала, что ты попал в аварию, так всё бросила, и вот мы приехали.

Я не стал вдаваться в подробности. Отец как-то заволновался, засуетился. Пытался поправить свои включенные волосы, тёр небритые щёки.

– Так она здесь? Надо же... Что ж она не идёт? А, ну да... Надо дежурному врачу сказать. – И вдруг ко мне: – А как ты-то сам сюда проник? Сейчас же приёма посетителей нет, да и вообще здесь строго...

– Да так и проник... Потом расскажу.

– Ну конечно, у нас времени навалом, – уверенно сказал отец. – А у тебя вообще как со школой?

– Да нормально, пап, все путём, – отмахнулся я от неудобной темы. – Давай лучше с мамой решим. Что надо сделать, чтоб её пустили?

– Сейчас позову санитарку, – отец нажал звонок. Через некоторое время она появилась:

– Это ты, дед, опять звонишь? – обратилась санитарка к лежавшему у двери старичку, который со скрипучим голосом.

– Звонил я, – обозначился отец. – Дежурный врач нужен.

– Зачем он тебе?

– Мы с мамой к отцу приехали, – ответил я, уловив, что отец чуть замешкался с ответом: наверное, решал, моя мама жена ему или не жена.

– Да знаю я про тебя, из городского типа, – хмыкнула она.

– Из поселка городского типа, – уточнил я.

– Да мне фиолетово, из какого типа, – и пошла за врачом, как потом выяснилось.

Я видел, что отец волновался. Повисла какая-то нехорошая пауза. Я так много хотел сказать отцу: про жизнь мою пацанскую, про Завмага, про «Мерседес», который он ремонтировал. Может, про Дениску рыжего, друга моего рассказать, про Маришку, которая не мышканорушка и, может, в меня влюбилась. Но что-то мои домашние заготовки все улетучились. У меня такое ощущение было, будто классная вызвала меня к доске, а я всё забыл. Только про Амбала помнил, потому что отец, как мне показалось, изучал мой синяк.

Я отреагировал на опережение, небрежно проведя рукой по отцветающему фингалу, как бы смахивая его:

– А... Это чепуха, мы с Амбалом махались.

– А Амбал, он что, действительно амбал? – участливо спросил отец.

– А то! Шкаф целый, на два года старше, – я хотел уточнить, что Амбал мог бы быть его приемным сыном, но понял, что это будет полнейшая глупость с моей стороны.

Вошёл дежурный врач:

– В чём проблема, больной?

– Ну, вы говорили, что нужен постоянный уход, – начал отец.

– ...Вот мы с мамой приехали, – тут же обозначился я.

– Да, действительно, за вами нужен круглосуточный уход. Но это делается не так, не по-партизански. Пусть родственники обратятся завтра к главному врачу, решат все формальности, – он глянул на меня и спросил: – А собственно вы, молодой человек, как сюда проникли? Кто вас в неурочное время пустил на территорию лечебного учреждения, да ещё в палату к тяжелобольным?

Повисла пауза, я не знал, что сказать. Папа виновато раскинул плечи своих рук:

– Ну, доктор... Сын за три тысячи километров приехал.

– С матерью, – подсказал я.

– Доктор, да надо радоваться, что ещё есть такая молодёжь, – вступился за меня скрипучий старик. – Вот ко мне никто не ходит, ни сын, ни внуки. Хоть бы кто сигарету прикурил. А так со мной проблема только для санитарки.

Я не к месту захотел покурить, но понимал, что здесь это нереально, а доктор продолжал:

– Есть режим лечебного заведения, есть время для посещения... Возможно, другим больным вы, молодой человек, мешаете своим присутствием, – обратился ко мне врач, детально изучая мою поцарапанную физиономию с фингалом.

– Да ничего он нам не мешает, – отозвались с других кроватей мужики, на которых я как-то особо не обращал внимания.

– Так что, доктор, можно жена моя сюда зайдет? – спросил отец, а у меня аж сердце от радости запрыгало: батя назвал её, мою мамку, женой!

– И жена за три тысячи километров?

– Бывает, доктор, бывает.

– Ну, пусть только проведает, не более пятнадцати минут.

– Спасибо, доктор!

– Пап, я сейчас за мамой! Я знаю, как теперь сюда попасть, – и рванул из палаты, не обращая внимания на ноющую боль в подвернутой ноге.

9. А потом мы мыли... «мешок с костями»

На проходной мама уже была наготове, оказывается, дежурный врач позвонил охраннику, чтоб тот её пропустил.

– Мам, давай за мной!

– Сумки ваши пусть здесь стоят, сохранность гарантирую, – как-то весело отпартовал супергерой-охранник, бывший Бичпакет.

Мы повторили с мамой мой недавний путь до палаты № 308. Санитарка с первого этажа, которая думала, что я из кишлака, бахилы дала матери бесплатно. Лифт оказался без покойника. Санитарка с третьего этажа встретила, извиняюсь, без судна в руках.

Вот и палата № 308.

– Мам, да ты не волнуйся, – успокоил я её.

– Я и не волнуюсь, – судорожно поправляла она волосы, зачем-то внимательно изучила свои руки, посмотрела на меня как-то даже беспомощно и... шагнула в палату.

Я не знаю, что они, мои родители, чувствовали, но сдержанно сказали друг другу: «Привет».

– Как ты?..

– Да вот...

Мама села возле кровати.

– Мы сейчас без гостинцев... Там, на проходной, все наши сумки.

– Да ладно, здесь нормально кормят.

– Привет тебе от поселковых.

– Спасибо...

Беседа что-то не клеилась, да и отцу, видимо, было трудно говорить. Потом родители молча взялись за руки. У мамы текли слезы, у отца тоже повлажнели глаза.

Я вспомнил картинку из детства, когда они, молодые, стояли, обнявшись, посреди улицы. Папа вытирал маме слезы её зеленым сарафаном. А я, малыш, – рядом и тоже ревел. Потом эта картинка много раз возникала в моих снах.

У меня к горлу подкатил комок. Нет! Только не слезы, приказал я сам себе. Нельзя показывать слабость – мужчины не должны плакать. Но противная влага как-то всё-таки просочилась. Отец силился улыбаться. Ну, мама – женщина, тут понятно. Слезы ручьём.

Старичок со скрипучим голосом сказал, глядя на нас:

– Слезы радости!..

Вошла санитарка с тазом, полотенцем и какой-то резиновой штукой.

– Вот сейчас и помоём этот мешок с костями, – сказала она буднично. – А как вы хотели?

– Уже не мешок, – пытался шутить отец.

– А таблетки почему не пьешь? – строго спросила санитарка, увидев в тумбочке лекарство. – Вот доктор не видит!..

– Я по схеме, – ответил отец. – Уже наглотался, как наркоман стал...

Мне вдруг вспомнилось про таблетки «лирики», которые глотали некоторые детдомовцы и Амбал. Участковый говорил, что они станут «наркоманами», и я испугался за отца.

Мысли про «лирику» перебила санитарка, с шумом задёрнула шторку, отделявшую батину кровать. Я хотел выйти, а она мне:

– Оставайся здесь и смотри... Теперь будешь матери помогать.

Мне было не по себе, но я остался. Санитарка, надев резиновые перчатки, ловко и как-то бесцеремонно приподняла верхнюю часть туловища отца – насколько позволяла торчащая в гипсе его нога. Мама тоже присоединилась к ней. Отец пытался как-то помочь общему делу.

Начали обтирать его тело. Да, это был окончательный скелет, аж страшно. Как будто поняв мои чувства, санитарка сказала:

– Смотри и учись. Тут нет ничего страшного и никакого стыда, – она орудовала мокрым полотенцем, обтирая тело отца. Мама повторяла то же самое, зайдя с другого боку кровати.

Отец молчал, хотя ему явно было больно от манипуляций с его телом.

– Главное, чтоб пролежней не было, – грубовато поясняла санитарка.

– Да я знаю, я понимаю, – соглашалась мама – Особенно в области седалищной кости, крестца и копчика.

– Грамотная... – вроде с недовольством сказала санитарка.

– А то!.. – натянуто улыбнулась мама.

Я хотел вставить неуместное, что мама институт закончила, но санитарка мне буркнула:

– Ты не стой без дела, поменяй воду.

Я это сделал – раковина с горячей водой была здесь же, в палате.

– Ну вот, сейчас голову твоему предку помоем, и всё. Будет жених женихом!

– Да мне хватит уже жениться, – подал голос батя.

– Все вы такие, когда лежите трупом, а как оклемаетесь, так...

Санитарка подложила отцу под голову какую-то штуку типа резиновой подушки. Я поливал воду из ковша, мама мылила волосы, санитарка давала указания.

Мне доверили брить батину недельную щетину. Отец пытался помогать, но обессилено опускал руки. Я, хотя и сам еще никогда не брился, с задачей справился.

– Вот, теперь как юбилейный трояк сияет! – сказала санитарка.

– Как червонец, – слабо улыбнулся отец, несогласный с такой низкой оценкой. Вроде и мама стала веселее. Правда, после бритья щеки отца казались совсем прозрачными.

Я почему-то подумал, что мне и самому надо побриться. А то пушок какой-то несерьезный развёлся под носом. Вот царапины сегодняшние заживут, и побреюсь, решил я по-мужски.

Повисла неловкая пауза.

– Ну, так вроде на человека стал похож, а не на мешок с костями, – одобрительно сказала санитарка. – Выкарабкается, бедолага...

– Конечно, папа худой, но жилистый, – сказал я, убеждая всех.

Санитарка не ответила, забрала таз с ковшом и полотенцами, удалилась.

– Спасибо вам!.. – сказала мама вслед ей.

Когда санитарка скрылась за дверями, голос подал скрипучий старичок:

– Спасибо в карман не положишь... Я вот всегда ей мятую сую в карман.

– Да?... – растерялась мать. – А я думала, что у вас здесь не принято.

– Принято, принято. Дашь хоть полтинник, так примут...

Речь о деньгах озадачила маму. Нет, конечно, она знала, что на лекарства там, на усиленное питание... На первое время деньги имелись.

Кое-какие финансы были и у меня, остались от тех, что дядька Мишка-зоотехник заплатил за навоз. Я, естественно, готов был пожертвовать. Мама ж не зря меня называла кормильцем.

Подал слабый голос отец:

– У меня на карточке немного есть. Но где она, эта карточка, не знаю, – сокрушался отец, явно чувствовавший себя неловко.

Думаю, он, как и мы с мамой, помнил, что не особо помогал мне финансово. Честное слово, в мою голову приходили и раньше мысли об этом – об алиментах, о посылках. И сейчас стало обидно за отца. Не за себя и не за маму, а именно за батю.

Как ему сейчас скверно, не только физически, но и совесть, наверное, грызет. Сыну, то есть мне, вот 14 лет, а вырос без помощи отца. Впрочем, это я за батю так думал, а что у него в мыслях, я не знал. Отец прикрыл глаза, за сберкарту не говорил, про аварию свою не рассказывал.

Мы переглянулись с мамой:

– Пошли, сын?

– Да, мам, пошли...

На меня навалилась усталость – за этот день столько всего произошло! И главное, встреча с отцом! Я, конечно, рад! Но ожидалось чего-то другого... Хотя что, собственно, должно было случиться?

- Костя, ну мы пошли, – сказала мама отцу.
- Ну, ладно, спасибо... – Потом отец вдруг спохватился: – А вы где остановились?
- Где? Пока – на проходной, – сказала мама. – Сейчас определимся, не волнуясь.
- Пап, ну, до завтра!
- Момент неловкости прошёл, я просто радовался, что у меня есть родители, не то что у детдомовских.

ГЛАВА V

1. Ночью к нам ломились – я пустил в ход битые бутылки

Мы вышли из больницы. Во всем моём теле ощущалась убойная усталость, я чувствовал себя заморышем. Сразу замёрз – на дворе май, а тут такая холодрыга! Морось, ветер...

- Мам, где будем ночевать?
- Охранник вот дал записку, в соседнем общежитии договоримся.

Мы долго преодолевали двести метров от корпуса больницы до проходной. Во мне была опустошённость. Ну вот, встретил я отца. Поздоровались, обнялись. Даже не поговорили толком. С досадой я вспомнил свою влагу на глазах и снова возненавидел себя.

– Рад, что встретил отца-то? – как бы подслушав мои мысли, спросила мама.

- Конечно, – ответил я без энтузиазма. – Но какой-то папка потухший.
- Наоборот, он взбодрился, когда тебя увидел.
- А может, тебя...

Мы как бы успокаивали друг друга, не очень уверенные, что отец нам был сильно рад. На проходной восстал, как памятник, охранник:

- Проведали отца?
- Проведали...
- Всё нормально?
- Нормально.

– Вот видишь, пацан! Если захочешь цели достичь, преград нет, кроме кустов, – засмеялся он и дурацким жестом показал на моё исцарапанное лицо. Мне, конечно, это не понравилось. И то, что именно он маме дал записку в общежитие на ночлег, тоже меня злило. А мать ему сказала:

- Ну, спасибо, что помогли...
 - Да ладно... Я сутки через двое дежурю. Если что, обращайтесь.
- Мы взяли наши баулы и потащились в сторону общежития.

Холод и промокшие ноги заставляли нас двигаться быстрее, преодолевая собачью усталость. Я вспомнил, что родился гиперактивным.

Вот и общага. Это, конечно, не небоскрёб, какие я видел в центре Перми, но всё же пять этажей. А в нашей общаге в Лесостепном – лишь три.

Нас впустили в фойе, мама по записке, которую дал охранник из медсанчасти, нашла какую-то тётку, комендантшу. Она неуловимо на-

поминала мать Амбала. Мне это не очень понравилось. Особенно – воспоминание про Амбала. И так ещё синяк от него не сошёл. В связи с этим у меня перед глазами пролетели картинки из недавней моей поселковой жизни: Маришка, которую я вспомнил первой, Ленка, которая сама бесцеремонно явилась в моё воображение, Дениска рыжий (туго ему сейчас с Амбалом). Ну и другие вспомнились: Завмаг Артёмович, дядька Мишка-зоотехник, участковый...

Комендантша провела нас по мрачному коридору, где тяжело воровались запахи сырости. Поднялись на второй этаж.

– Вот здесь две кровати... Душ, туалет в коридоре. Деньги вперед. Кавалеров не водить.

– Да вы что, – поперхнулась мама. – Какие кавалеры?!

– Ну-ну... – Тётка равнодушно обвела взглядом маму, получила плату за двое суток вперед и, уходя, посоветовала:

– Закрывайтесь изнутри на засов. Тут народ всякий обитает, – и показательно лязгнула тяжелой металлической дверью.

– Ну вот, слава богу, теперь отдохнем!.. Сходи в душ, а я пока что-нибудь приготовлю перекусить.

– Ты первая иди, – сказал я, прилёг на неразобранную кровать и отрубился.

Сквозь сон я едва услышал, как вернулась мама. Она попыталась меня растормошить:

– Вставай, Кирилка, в душ сходи... Или хоть перекуси...

Бесполезно. Не знаю, сколько прошло времени, но сквозь сон слышался страшный грохот: «Ты-джах! Ты-джах!»

– Открой! Открой, я сказал! Это моя комната...

Я вскочил, ошарашенный. Мама в накинутах на ночнушку халате прильнула к дверному глазку:

– Вы кто? Мы с комендантшей договорились...

– Открой, бляха-муха! Ты что сюда припёрлась? – нетрезво орал за дверью мужик.

– Нас комендантша сюда вселила!

– Какая на фиг, комендантша!? Выметайся!..

– Куда мы ночью?

– Мне по фигу, куда! Ты в чужую комнату припёрлась, ещё что-то там вякаешь.

Я окончательно проснулся, меня, если честно, колотило от страха. При тусклой лампочке я видел, как по маминым щекам текут слезы:

– Господи, ну приехали в эту Пермь, а тут... Ну кто тут нас ждёт?.. – мама уже рыдала. – Кому мы нужны...

– Давай, коза драная, открывай! – гудел утробный голос за дверью. – Будем договариваться... Ха-ха-ха! – Мама отшатнулась от двери и прижалась спиной к стене.

Меня переключило! Я забыл о страхе и схватил со стола бутылку с минералкой:

– Ах ты, шакал! Я тебя сейчас взорву! А-а-а!! – и, что было мочи, запустил бутылку в металлическую дверь! Грохот был страшным, фонтан стекла и брызг обдал всю комнату. За дверями – тишина!

– Заходи, дрянь! – орал я. – Заходи! – В руках у меня оказалась вторая бутылка. Ринулся к двери, под ногами звенели осколки стекла – я был в одних носках. В бешенстве откинул засов на двери, распахнул её ударом ноги. В метрах трех стоял мужичонка непонятного возраста и весь такой удивленный.

Я жажнул бутылку о дверной косяк, в руке осталось горлышко – «розочка». Мужик шуганулся от меня:

– Ты что, звезданутый, что ли? – он метнулся на лестничную клетку. Уже оттуда: – Сейчас тебя менты повяжут... Жди, сопля маринованная!

– Мразь! – крикнул я в ответ на маринованную соплю. – Убью!..

– Кирюша, сынок, успокойся! – это мама меня взяла за локоть. – Вот тапочки надень.

Обувка плюхнулась передо мной на крошево стекла и воды. Мама осторожно вынула из моей руки горлышко разбитой бутылки.

– Мам, все нормально, – успокоил я её, хотя со мной было что-то ненормальное – меня всего колотило.

– Пойдём, сынок, не волнуйся...

Мама закрыла дверь, замела осколки, протёрла полы.

Я почувствовал дикую усталость и... голод. А ещё – обиду: почему Пермь, такой красивый город с пафосным званием мегаполис, принимает нас так некрасиво, непафосно? Почему? Мне хотелось заплакать. Но нет, только не слезы-сопли! Нет!

Я яростно накинулся на еду – смёл все, что было на столе. Думал: если в ментовку заберут, когда ещё там накормят? Было около двенадцати ночи. За окном не очень и темно.

– Почему так светло? – спросил у мамы.

– Скоро наступят белые ночи...

– Что, и в Перми есть белые ночи?

– Все знают только о белых ночах в Питере, но и в Перми они тоже наступают, – пояснила мама. – Эти же города почти на одной широте находятся...

– Ясно, – сказал я, хотя про широту и долготу из географии ничего не помнил. Но сам факт белых ночей меня радовал. Хоть что-то светлое...

Полицейские за мной что-то не приезжали. Маленькие ранки на ступнях противно саднили – я всё-таки порезался о стекло разбитой бутылки.

– А может, лучше бы к Денискиному деду на квартиру попроситься? – предложил я матери. – Ну, который ёлочки в Троицкой церкви посадил.

– Ты что, сын! Он живет в Соликамске, это километров двести, а может, и триста от Перми. И потом, кто мы такие?

– Земляки!

– Этого мало...

– Земляки – это много! – не соглашался я. – Это почти что родня.

– У тебя здесь есть родня ближе некуда. Отец родной.

– Это да. Вот если бы мы вместе жили...

– Кирилл, прекрати! Сходи лучше в душ, с поезда не мылся.

– Пойду...

2. Я принял душ, затем... круто отколотил всех негодяев

Я стоял под душем. Теплые струи смывали с меня шелуху прежней, допермской, доотцовской жизни. Я верил: с завтрашнего дня всё будет нормально. Пермь примет нас. Под тёплым душем я ощутил себя защищённым.

С отцом тоже всё будет хорошо. Это я так прямо с рекламной интонацией и сказал. Надо завтра отнести бате гостинцы: мёд, орехи, которые передал дядька Мишка-зоотехник.

Интересно, как там орехи, которые мы с мамой посадили в ящике на кухне? Может, и правда вырастет целая роща, ну или аллея. Аллея Кирилла – ха-ха!.. И по этой аллее я буду гулять со Звёздной Звездой. Хотя, пожалуй, нет, не с ней. Ленка постоянно надо мной смеялась. Вспомнилось её обидное: «...а он своими макаронинами машет, машет – баранов разгоняет!».

Хотя она, Ленка, права. Я протёр запотевшее зеркало, висевшее на двери душевой. М-да... Конечно, она права: на меня уныло смотрел тощий, длинный заморыш (глистом я не стал себя называть). Действительно, макаронины, а не руки – даже признаков бицепсов нет, как я ни пыжился. И физиономия поцарапанная, и фингал не сошёл. Не хотел бы я, чтоб меня та же Ленка сейчас видела. Да и Маришка, и Маленькая Эротика из нашего вагона... Что это я про девочек думаю среди ночи, как озабоченный? На фиг они мне. В голове снова возникло:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики...

Я ещё раз осмотрел в зеркало как бы чужую физиономию. Попробовал себя успокоить: синяки мужчине украшают, то есть шрамы. Да, жаль, я Амбала в тот раз скалкой слабо долбанул. Если бы его отрубил сразу, не было б у меня синяка.

Я одевался и думал: скалка – это всё-таки не по-мужски. Да и бутылка – тоже. С ней я и в вагоне набросился на кудлатого певца, и сегодня – на этого мужичка. А если он и правда ментов вызовет? Хотя я этого не боялся, как мне казалось. Во-первых, наверное, я стал смелее – смелость, мне показалось, прямо распирала мне грудную клетку. Во-вторых, пьяный мужик вряд ли пойдёт жаловаться в полицию на пацана (хотя какой я пацан – метр восемьдесят ростом!). В-третьих, полицейские здесь, как мне хотелось думать, справедливые – вон на вокзале нас не тронули, всё рассказали, показали. Даже паспорт не спросили. На мыслях об этом документе, которым я втайне гордился, послышался осторожный стук в дверь душа:

– Сынок, всё нормально?

– Да, мам...

– Уже второй час ночи.

Я вышел из душа, одеваясь на ходу. Мама стояла в коридоре, ждала меня. Я огляделся – полицейских нет.

– Мам, что ты стоишь на холоде.

– Ты так долго был в душе, я начала беспокоиться.

– Что я, ребёнок?

– Да взрослый, взрослый. Иди уж, – она легонько подтолкнула меня в комнату.

Мама попыталась незаметно вынуть из кармана халата... пустую бутылку.

– Это что?

– Для самообороны, – пояснила она. – Это у нас семейное оружие.

Мы оба рассмеялись.

– Как там твои ласты, йог?

– Почему йог? – не понял я.

– Ну, по стеклу ходишь...

– А... Нормально, – сказал я, не слишком обращая внимания на саднящие ранки.

Мама, однако, обработала мелкие порезы йодом, заклеила пластырем.

– До свадьбы заживет, – оптимистично сказала она.

– Мам, завтра мы что делаем? – я как бы не услышал про свадьбу, но мне, озабоченному и гиперактивному, вспомнились девчонки – сразу все вместе: Маринка, Ленка и Маленькая Эротика.

– Отоспимся, потом надо к начальству больничному сходить.

– Сначала к папе.

– Сначала ты возьмешься за учебники, потом – к отцу.

– Мам, ты среди ночи про учёбу говоришь – это извращение.

– Не выражаться при матери! – нарочито сердито сказала она. – Ты вообще запустил школу.

– Не надо о грустном. Давай спать.

Во сне, который был не в стиле фэнтези, а очень реальный, я дрался! Крутыш, накачанный, ловкий, гиперактивный. И, конечно, справедливый. Дрался я за маму, потому что её несправедливо уволили с работы. Кажется, с директором их производственно-технической конторы. Не мог же я драться с тёткой, трескавшей лопушистые пирожки.

Потом я дрался за отца – с бандюками, которые покалечили папу, разбили его «уазик» и отжимают дачный домик с землей. С этими было очень трудно, но я справился.

Даже за деда Кирилла, которого я при жизни не знал, пришлось махаться. На этот раз – с заведующим МТФ Трофимовичем, который довёл моего деда до разрыва сердца, а колхоз – до банкротства. Этот завфермой был настоящий боров! Огромный, толстый. Кулак как моя голова! Но я классно уходил от молота завМТФ. А он мне раз за разом подставлял свою челюсть. Короче, я его завалил.

Главное, вся эта махаловка происходила прямо на автобусной остановке в Перми, напротив верховного здания, где заседали депутаты и министры. Они, я знал, смотрели с высоты своих положений на этот захватывающий киноевент. Среди них был министр спорта. Он, скорее всего, распорядился, чтобы со мной начал работать самый лучший в Перми тренер по рукопашному бою – скоро надо будет защищать честь całego края. А тут такой самородок возник из поселка Лесостепного.

В толпе, которая смотрела, как я круто расправляюсь с негодяями, был и Амбал! Он больше всех радовался моим победам и кричал: «Давай, Кир, мочи их! Покажи, какие мы – лесостепновские!» Амбал, наверное, понимал, кто будет следующий и всячески показывал мне, что он мой лучший друг, а не только земляк.

– Тише ты, не ори! – цыкнул на него наш участковый товарищ майор. – Что раздухарился? Это тебе не Лесостепной. Здесь надо соблюдать порядок.

Я краем глаза заметил, что нашему участковому помогают соблюдать порядок молоденькие полицейские с пермского вокзала. Они сдерживали толпу болеющих за меня. Я не видел, но точно знал, что здесь и Маришка, и мой верный друг рыжий Дениска, и Звёздная Звезда Ленка. Теперь она убедилась, что у меня руки не макаронины, а настоящие рычаги.

– Константинович, хватит! – послышался голос мамы. Она меня по отчеству называла в особых случаях. Мама тоже была здесь – с отцом. Тот опирался на костыли, но готов был броситься на мою защиту. Хотя это было лишним.

– Пап, все нормально... Я сам! – крикнул я ему и тут же пропустил удар. Хотя не удар, а пощечину.

– Давай, вставай, Константинович! – легонько хлопала меня по щекам мама. – Целый день спишь. Уже скоро к отцу в больницу надо!

– Мам, ну что ты пристала... Не дала такой сон досмотреть. – Я нехотя возвращался в реальность. О, каким я крутышом был, как я всех раскидал! Жаль, это было во сне.

– Умывайся, одевайся, – скомандовала мама. – Сейчас идём к отцу в больницу.

3. Вот пришли к отцу: я и... две его жены

На проходной в медсанчасти был уже другой охранник. Он не обращал на нас ни малейшего внимания. А мне хотелось, чтобы он спросил:

– К кому?

– К отцу! – с гордостью ответил бы я и показал бы ему свой паспорт. Но напарник вчерашнего супергероя не взглянул на мою поцарапанную физиономию с фингалом.

Отец нас встретил с улыбкой. Мы принесли лесостепновские гостинцы: грецкие орехи, мёд. Ещё мама сварила фасоль. Оказывается, всё это вместе полезно при переломах.

Я, конечно, не стал уточнять, что орехи и мёд от дядьки Мишки. «С чего это вдруг от него подарки?» – задался бы вопросом отец. А я-то знаю: потому что зоотехник к маме равнодушен. Мне это конкретно не нравилось, и батя не понравилось бы. Может, он и не стал бы есть мёд с орехами от дядьки Мишки. А ему сейчас нужны всякие витамины, микроэлементы, что там ещё?

К поеданию этой полезнятины присоединился и старичок с соседней койки. Он нахваливал маму и заодно – меня.

– Молодцы, что приехали поддержать отца, – и тут же добавлял с уверенностью: – Мои тоже должны в выходные приехать.

Я помнил, что к деду никто не ходит, он сам говорил.

– Должны, конечно, и сын, и внук, – подбадривал батя. – Вот мои за три тысячи километров примчались.

Отец с теплотой посмотрел на нас с мамой. Мне показалось, что глаза у него повлажнели – я испугался за батин авторитет.

– Где остановились? – спросил отец у мамы.

– В общежитии.

– Хорошо отдохнули?

– Нормально! – поспешил я ответить вместо мамы. Хотя меня так и распирало рассказать отцу, как я зашугал пьяньегого мужичка. Конечно, можно было бы и про крутой сон рассказать, где я всех негодяев нашей жизни отметил. Ну ладно.

– Опачки! Картина маслом! – в проеме дверей появилась круглолицая девица. – Встреча блудной семейки!

– Жанна, ты? – отец несколько опешил. – Ты что здесь делаешь?

– Я-то мужа пришла проведать! – подбоченилась она и скривила в ухмылке жирно накрашенные губы. – А вот что эти здесь делают?

– Жанна, прекрати...

– Мы не «эти», – мама излучала спокойствие. – Законный сын-первенец приехал проведать отца. А я на твоего мужа не претендую, успокойся.

– Жанна, давай не сейчас, – отец пытался как-то разругать ситуацию.

– Нет, сейчас... Что, наследство прибежали делить? – вытаращилась на меня набитая дура Жанка.

– Я приехал к отцу! И не собираюсь ничего делить. Он живой! – заорал я и тоже зло вытаращив глаза (насколько позволял синяк), попёр буром на Жанку.

– Ты что, неадекват? – опешила она и поспешила зайти за спинку кровати. – Уйми его, Константин... Этого бешеного глиста.

– Кирилка, ну давай по-нормальному, – голос отца, кажется, дрогнул.

– Хорошо, пап. Не волнуйся! – взял я себя в руки. – Но я не глист, понятно! Не глист и... – у меня чуть не вырвалось «и не заморыш». Но понял, что это лишнее – тут меня заморышем никто не называл.

– Сынок, пошли... – Мама взяла меня за руки и повела из палаты. – У них тут семейное.

– Да вы приходите, – вставил свои пять копеек дедок с соседней кровати. – Милые бранятся – только тешатся.

– Кирилл, я тебя жду завтра, – подтвердил отец. – Всё будет нормально!

Мне не понравилось, что отец обращался только ко мне.

– Хорошо, пап! Мы завтра с мамой придём! За тобой же уход нужен.

– Давай, давай! – выметающим жестом показала Жанка на дверь.

– Папка, ну почему ты мамку на такую дуру променял? – сорвалось у меня на выходе из палаты.

– Кирилл! Прекрати! – это мама на меня прикрикнула и вытолкнула в коридор.

– Давай, давай, – повторяла Жанка своё.

– Жанна, зачем же ты так? – примиряюще сказал отец своей дуре. Это я слышал из коридора.

Навстречу нам шёл вчерашний врач, но без халата. Потому мы его с трудом узнали.

– Здравствуйте, – не очень уверенно сказала мама.

– Добрый день... Вот хорошо, что я вас встретил, – доктор остановился. – Меня зовут Виктор Ильич, я лечащий врач Константина.

– Очень приятно. Я – Ирина Кирилловна, – достойно так ответила мама.

– Пройдемте в ординаторскую, там поговорим... Понимаю, встреча жен, бывшей и настоящей, малоприятная ситуация.

– А вы откуда знаете?

– Сейчас поясню! – Мы вошли в ординаторскую. – Честно скажу вам, вчера был озадачен, когда вы появились. Да ещё из такого неоднозначного региона прибыли. Навёл справки о семье больного. Медсестра позвонила на телефон официальной жены, чтобы прояснить ситуацию.

– Понятно, – вздохнула мама.

– Вот, прояснили... Слышал ваш крик, понял, что надо вмешаться.

– Это не наш крик, – с достоинством подчеркнула мама.

– Ну как же... – доктор хитро взглянул на меня. – Но сейчас не об этом. Константину придётся ещё долго лечиться. За ним нужен уход.

– Мы за этим сюда и приехали...

– Да, конечно. Но тут эта женщина. Судя по всему, барышня употребляет. С такими иметь дело, знаете ли... – и резко перевел разговор: – Как вы обустроились? Надолго ли в Пермь?

– Обустроились нормально. Надолго ли? Время покажет.

– Вы не рассматриваете вариант поработать у нас санитаркой? – Врач поспешил объяснить: – За Константином, я ж говорил, надо постоянно

ухаживать... А санитарок у нас хроническая нехватка. Завотделением будет только «за».

– Я не готова ответить.

– Мама инженер, у нее высшее образование, – уточнил я.

– Понимаю... Но это временно, до выздоровления. А там, если в Перми задержитесь, подыщите работу по специальности. У нас много предприятий, хотя сейчас и кризис.

– А эта психичка что, тоже будет сюда приходить? – со злобой спросил я про папкину нынешнюю жёнку.

– Ну... Мы не можем запретить официальной жене, – развёл руками врач. – А ты, кстати, со школой определился?

– Все нормально, – с некоторым вызовом сказал я, помня, что наша классная да и директриса Лесостепновской школы сделают «всё как надо».

– У меня жена работает в вечерней школе, – обратился он уже к маме. – Вам бы устроить парнишку туда.

– Пожалуй, это вариант, – согласилась мать.

– Запишите адрес и телефон. Людмила Васильевна жену зовут, русский и литературу преподает, – уточнил Виктор Ильич. – А насчет санитарки подумайте.

– Хорошо. Ну, мы пошли?..

– Да, конечно. Вам лучше на служебном лифте. Я вас провожу

Лифт распахнулся. Я сразу вспомнил, что вчера здесь столкнулся с мертвецом. Перед глазами пронеслась эта же картинка, но в стиле фэнтези. Мне даже интересно стало, а вчера я реально испугался, что это мог быть отец. А он вот – живой и со своей... как это помягче сказать.

Лифт нас с мамой поглотил и отправил на первый этаж.

4. Через Каму – к Параскеве и в вечерку

Мы вышли из больницы молча. Я был злой и растерянный.

– Мам, куда мы сейчас?

– Не знаю, – сказала она отрешённо, потом устало добавила: – Ты ведёшь себя безобразно. Бросаешься на людей, орёшь...

– Мам, а чего она припёрлась? Чего обзывает глистом? – ответил я ей, хотя сам понимал, что меня заносит на поворотах. Или моя гиперактивность так проявляется?

– Ты рассуждаешь, как ребёнок, – сердилась мать. – У отца своя семья.

– Мы к нему через полстраны мчались!

– Да, но мы – бывшая семья... Отцу сейчас непросто. Не забывай, он прикован к постели.

– Это мой отец, а я его сын. А он – с этой проשמандовкой...

– Кирилл, что за слова!? Ты вообще потерял берега. Так, – решительно сказала она, – сейчас едем в вечернюю школу.

– Зачем спешить?..

– Сам-то за учебники разве возьмёшься?

Мы пошли на остановку, я всё переваривал ситуацию. Врач вызвал папкину непонятную жёнку. Зачем, спрашивается? Мать ведёт себя как-то не так. А как она должна была поступить? Наброситься на Жанку? Ещё эта школа, на фиг она сдалась...

К вечерке, как нам объяснили, надо было добираться через КамГЭС. Желаящих ехать по этому маршруту оказалось много. Автобус подошёл уже набитым. Толпа нас буквально внесла внутрь.

– Мам, ты здесь? – с тревогой почти прокричал я.

– Да, здесь, Кирилл, едем!.. – Я слышал мамин голос, но её саму не видел. Масса пассажиров на очередном повороте надавила на меня так, что я почувствовал себя окончательным заморышем – едва дышал. Мне пришлось поработать локтями и пробиться к окну. Здесь вздохнул полной грудью. Как раз проезжали по мосту через плотину КамГЭС. Я офигел! Бушующая масса воды, шипучая пена, дикие водовороты! Это было круто и страшно – вдруг автобус туда сорвется?! Вот она Кама, которая впадает в Волгу! Или прямо в Каспийское море?

– Мам, ты как там? – окликнул я, оторвав взгляд от завораживающего водопада.

– Нормально, Кирилл, – ответила она. – Нам бы остановку не прозевать, – и обратилась к пассажирам: – Не подскажите, как лучше до вечерней школы добраться?

– Ещё далеко.

Я, если честно, хотел, чтобы мы не доехали до этой школы или проехали... В общем, чтобы её не нашли.

Но мы доехали до нужной остановки. Шли через березовую рощу. Мама вдруг стала тихонько напевать:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься.

– Это на тебя Кама повлияла? – спросил я с улыбкой.

– А ты не подслушивай, – улыбнулась мама. – Вон, смотри, красота какая! Аж дух захватывает и кружится голова.

– Может, это от йододефицита?

– Нет, от красоты...

Я вспомнил о своей будущей ореховой аллее, которая не только для красоты, но и от йододефицита... Конечно, если сравнивать березовую рощу и мою будущую ореховую аллею, то сравнение не в мою пользу. В связи с аллеей возник образ Маришки. Правда, тут же появилась самозванка – Звёздная Звезда, а потом – Маленькая Эротика. Ну блин, какой-то я озабоченный. Мне стало стыдно – отец лежит прикованный к постели, а мне девчата мерещатся. На этом фоне я как бы простил батю за его придурковатую Жанку и предпринял последнюю попытку не пойти в школу.

– Мам, а какой смысл в вечерку идти? Три недели до конца учебного года. В Лесостепновской школе в 9-й класс меня и так переведут.

– Думаю, мы в Перми задержимся. Так что ты не восьмой класс здесь будешь заканчивать, а готовиться в девятый. Ты же мечтал в военный институт поступить, стать офицером.

– Ну мечтал, – признался я, уже готовый отказаться от мысли стать военным, лишь бы сейчас не идти в школу. Мне и учиться не хотелось, и в новый коллектив, если честно, я побаивался идти. В вечерке всяких хватает – типа нашего Амбала.

– Надо, чтоб отец поднялся на ноги, – продолжала мать. – Исполним свой долг, а там будет видно.

Я знал, как мать будет исполнять долг. Это – не допустить на ба-
тином костлявом теле пролежней, выносить судно из-под него и всё
такое. Я мамкой в душе гордился, не каждая бывшая жена – вот так.

Мы минули рощу, и перед нами возникла... церквушка. Небольшая,
ладная такая, из желтого кирпича.

Мама неумело, но как-то утверждающе-размашисто перекрестилась.

– Церковь Па-рас-кевы великомученицы, – с трудом прочитал я. –
Кто такая эта Па-рас-кева?

– Не знаю... Но понятно, что великомученица.

– Наш поп из Троицкой церкви, наверное, знает, – предположил я.

– Не поп, а батюшка...

– Ну да... Вообще он крутой мужик, говорят, в горячих точках бы-
вал. – Я вспомнил, как мы с рыжим Дениской работали на Троицкой
церкви. – Наша-то церковь намного больше!

– Не в размерах дело, – сказала мама. – Хотя тут под Пермью, я слы-
шала, есть огромный храм – Белогорский монастырь. Не сравнить с
Троицкой церковью

– А, да!... Дедушка рыжего Дениски оттуда елочки привозил в нашу
Троицкую церковь.

– Ну вот, видишь... Может, когда-нибудь туда съездим. Всё
утрясётся...

– Интересно посмотреть.

Мы нашли школу. В коридоре нас встретила миловидная женщина:

– Здравствуйте! Я Людмила Васильевна. Муж звонил по вашему
поводу.

– Мы только узнать, как и что...

– Пусть вас не смущает, что школа вечерняя. У нас даются достаточ-
но глубокие знания.

– Да мы, честно говоря, звёзд не хватаем, – выложила мама обо мне
правду.

– Ничего страшного. Здесь контингент, конечно, отличается от обыч-
ной школы. Люди разные. Но многие к учебе относятся серьёзно.

– Нам бы восьмой класс окончить.

– Конечно, окончите! И восьмой, и девятый, и одиннадцатый, – с
энтузиазмом пообещала учительница. – Кстати, буквально сегодня
утром мы с мужем поехали на мебельную фабрику, диван присмо-
треть. А там начальник цеха наш выпускник. Владимир Сергеевич,
фамилия такая замысловатая. Он, кстати, из вашего неоднозначного
региона.

– Наш регион однозначный, – с улыбкой уточнила мама.

– Да, конечно. Я вот о чём. Паренёк этот работал простым грузчиком
на заводе «Камкабель». Помнится, пришёл с ночной смены и сразу – на
экзамены! Писал и засыпал! Но ведь сдал ЕГЭ! Потом поступил в сель-
хозакадемию. Вот теперь начальник цеха...

– А что, в сельхозакадемии учат диваны выпускать? – съязвил я и тут
же угас. Людмила Васильевна ласково так посмотрела на мою исцара-
панную физиономию с фингалом и сказала:

– Это приличный государственный вуз, где даются базовые знания.
А уж как там сложится жизнь...

– Кирилл, не умничай, – одёрнула меня мать. – Когда ему в школу?

– Завтра пусть и приходит, не надо откладывать. Я классный руко-
водитель в восьмом классе. А вы параллельно собирайте документы:
заявление, копию паспорта, медсправку...

Мы вышли из здания школы, я лично – расстроенный: заканчивается моя свобода.

– Ну, сын, теперь в общежитие.

– А ты помнишь ночного гостя?

– Ещё бы... Только он не гость, а хозяин. Нужно разобраться с ночлегом. Да и с жильём на лето, по крайней мере.

Так, значит, мама согласилась поработать в медсанчасти санитаркой, сделал я вывод. Ночной визит пьяненького хозяина, разбитые бутылки и придурковатая папкина жёнка Жанка остаются за кадром. Пошли они на фиг!

5. Мы нашли ночлег, до этого неожиданно стали...

землевладельцами

Возвращались из вечерки поздно. Автобус был полупустым. Плоти-на КамГЭС, залитая огнями, была похожа на морской лайнер.

– Как «Титаник», – сравнил я.

– Почему «Титаник»?

– Мощно и красиво! Как будто сейчас развернется и поплывет по Каме.

– Фантазёр! «Титаник» плохо кончил...

По фильму я помнил, что лайнер затонул, но другие названия кораблей на ум мне не приходили.

– А ты знаешь, что Ди Каприо по происхождению пермяк? – спросила мама.

– Это который в «Титанике» снимался?

– Ну да. Бабушка у него пермячка.

– Вот... Все корабли плывут из Перми, – сумничал я. – Лично мне этот Ди Каприо не нравится. Мелкий какой-то и сам как фантик. – Я невольно распрямил плечи и с высоты своих ста восьмидесяти сантиметров посмотрел на воображаемого Ди Каприо. На его фоне я казался вовсе не заморышем! Представил себя накачанным, гиперактивным суперменом из голливудского боевика. Тут у мамы зазвонил телефон.

– Галя, ты, что ли? Привет! Быстро говори, я в роуминге. Электронку, говоришь, проверить? Хорошо. Всё, пока!

– Мам, это тётъ Галя?

– Да, какое-то важное письмо прислала. Как бы электронную почту посмотреть?

– Зайдём в интернет-кафе? – Автобус как раз остановился недалеко от него.

– Ну да! Ещё мы с тобой по значным местам не ходили.

– Там можно и перекусить, – я, как всегда, хотел есть.

Кофе и соки в интернет-кафе оказались безобразно дорогими, а посетители, в основном мои сверстники, какими-то зомбированными. Все рублились в стратегии и «танчики». Мы взяли просто воду. У меня аппетит только разыгрался – с утра не ели, считай.

Мама быстро зашла в свою электронную почту, начала читать письмо от тёти Гали.

«Ирина, привет! Как обустроились, как Константин? У нас новость. Помнишь, Мишка-зоотехник и ещё там бывшие колхозники судились с Трофимовичем? Он же обанкротил колхоз и землю присвоил. А новый

губернатор сказал: земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Так вот, суд эти ребята у Трофимовича выиграли. Теперь все, кто в колхозе работал, получают свои пай. В зависимости от стажа. Я видела список. Ты там есть. За отца своего – дядю Кирилла – получаешь надел земли, даже Косте что-то положено. Он же работал раньше трактористом в колхозе. Нам, медикам из амбулатории и учителям из школы, тоже выделяют пай. Теперь вы землевладельцы ☺ Вчера было собрание пайщиков. Мишку избрали председателем сельхозкооператива. Вот такие новости. Маришка передаёт привет Кирилке. Он что-то не отвечает на эсэмэски. Пока!»

– Ну, ты понял, сын? – обратилась ко мне мать.

– Не совсем...

– Читай еще.

Я перечитал:

– Ну как бы да, понял. Дядька Мишка-скотовод становится председателем вместо Трофимовича.

– Дядя Миша – зоотехник, – поправила она. – Да, но это не главное. Нам пай земли выделили. Это твой дедушка о нас заботится. Уже нет в живых его столько лет, а заботится. – Мама заплакала.

– Мам, ну перестань...

Мы вышли из интернет-кафе, в магазине купили хлеб и майонез.

– Давай, сын, здесь перекусим. Непонятно, будем ли мы в общаге сегодня ночевать или нет. Да, – вздохнула мать, – надо было всё-таки сначала с ночлегом уладить, а потом в твою вечерку.

– Конечно! В школу мы успели бы, – с удовлетворением согласился я. – Это ты, мам, придумала: типа целую неделю учебники в руки не берал...

– Ну да, если б неделю. Ты их месяцами не раскрывал.

– Ма, опять начинаешь. Давай лучше похаваем.

– Кирилл, следи за речью!

Мы расположились прямо в скверике перед общежитием на сырой скамейке. К ней подступала лужа, похожая на лужу безденежья из моего детства. Поели. Мама стеснялась, смотрела по сторонам и явно не ощущала себя землевладелицей. А я трескал с аппетитом и не шугался – нас никто здесь не знает.

Пошли в общагу. Комендантша высунулась из амбразуры своей берлоги:

– А я вас жду...

– Здравствуйте, – сказала настороженно мама, я промолчал.

– Ну что, ночь бурная была? – угрюмо хихикнула комендантша. – Кто ж знал, что этот придурок из своей деревни так рано вернется. Запой у него по неделе длятся, а тут...

– А я завязал с этим делом. Теперь только пиво! – неожиданно возник возле нас ночной визитер. – Посмотрим ещё, кто придурок!

– О!.. Ты, Васька? Явился не запылится, – недовольно сказала комендантша.

Васька, мужичок лет под сорок, был трезвым. Мы встретились взглядами, я понял, что даже при моём росте, если что, с ним не справлюсь. А под рукой у меня ничего увесистого не было. Я напряг свою волю, которая все также виделась мне наподобие бомжа. Волнение не проходило, я прямо ощутил себя спутанным пуповиной по рукам и ногам – это был страх. Я ненавидел себя за это ☹

– Давайте решим вопрос спокойно, – предложила мама.

– Я как раз хотел ещё ночью его спокойно решить, – сказал Васька. – Это же вы в мою комнату пришли, а не я к вам.

– Васька, ты права не качай... Не такая она уж и твоя, эта комната, – уточнила комендантша. – Лучше порешаем, где женщине с ребёнком переночевать.

– Я с дамами всегда вопросы решаю взаимовыгодно, – расплылся в противной улыбке Васька.

– Ой, решала несчастный, – пренебрежительно махнула рукой комендантша. – Ты видишь, у неё сын какой! Знаю уже про ночные приключения. Тоже мне, решала...

– Ну, ты не особо... Срубила бабки с людей, а теперь выкручиваешься.

– Ладно, давайте определимся, – спокойно сказала мама. – Если ночуем здесь, мы пошли, а вы разбирайтесь сами. Если нет – мы собираем вещи и до свидания. Только деньги верните.

– Там тех денег... Только и разговора. Вася, ну будь мужчиной. Пусть люди переночуют. Потом с тобой разберёмся.

– Я всегда готов решить вопрос. Найду, где ночь перекантоваться.

– Вот, Вася, и правильно. Как раз помириться со своей лахудрой. Иди к ней.

– Это не твоего ума дело, – огрызнулся Вася и пошёл в другое крыло общежития.

«О, лахудра. Именно так я буду звать Жанку, батину жёнку, – решил я. – Пусть отец хоть обижается, хоть нет».

Мы с мамой отправились по гнусному коридору к своему ночлегу. Через окно на лестничной клетке я увидел залитую огнями КамГЭС, уже не похожую на «Титаник».

6. Васька пришёл... с полицейским:

мы из неоднозначного региона

Отомкнули Васькину комнату. Мне показалось, что здесь уже хозяйничали:

– Наверное, Васька, – предположил я

– Это ж его комната, ключ-то есть.

– Ничего не пропало?

– А чему у нас пропадать?

– Ну да, мы как бомжи, украсть нечего.

– Вот завтра надо и решать что-то с временной регистрацией, с работой, с твоей школой...

– Вечерка ещё не моя, – парировал я и мысленно унёсся именно в свою школу – Лесостепновскую. Её я, честно говоря, не любил. Но интересно, как там сейчас? Что говорят? Может, всё ещё про то, как мы с Амбалом схлестнулись? Я осторожно ощупал синяк под глазом.

– Скоро сойдет, не волнуйся! – успокоила мама.

– А я не волнуюсь... Мне по фиг, – сказал я нарочитым басом. Хотя, конечно, с синяком, даже отцветающим, было не по кайфу. – Мам, завтра мне симку купим? А то я как лох последний... Сто лет телефон не работает.

– Купим. Вон Галина написала, что Маришка тебе эсэмэски шлёт.

– Причём тут Маришка? Я с пацанами не могу переписываться. Как там Дениска? Может, Амбал на него наезжает?

– А чем ты можешь помочь? Тут, думаю, надо будет с местными Амбалами разбираться.

Как раз в этот момент вежливо, но настойчиво постучали. Мы с мамой притихли. Ещё стук.

– Откройте! Это я – Василий.

Мы молчим. Василий попытался засунуть в замочную скважину ключ. Но мама предусмотрительно оставила в дверях свой ключ изнутри.

– Откройте, я же знаю, вы здесь! – Василий стал стучать в дверь настойчивее.

– Что вам надо? Мы уже легли спать.

– Это делу не помешает.

– Идите с богом, Василий.

Мать подошла к двери, механически обследовала пальцами вмятину от бутылки, которую я запустил прошедшей ночью, отпугивая незваного гостя. Сейчас я понимал, что возможности повторить свой ночной подвиг нет. Бутылки под рукой не было, к тому же, оказывается, мы поселились в комнате Василия. Да и у меня что-то запал исчез, вот опять заморышем себя почувствовал, воля моя сдулась, смелость скукожилась. Вдруг подумалось: был бы у меня брат, пусть на год младше, мы с Васькой влекую бы справились.

Мама глянула на меня, наверное, я имел очень жалкий вид, потому что она заплакала:

– Господи, ну что за напасть такая? Когда же это всё закончится?

– Да не реви, дура! – мирно сказал Василий. – Я за простынями чистыми пришел. Там, в шкафу лежат. Дай, и я пойду.

– Точно?

– Да точно, точно...

– Василий, давайте я вам их в окно выброшу. В пакете.

– Ну что за бред!

– Ладно, сейчас, – согласилась мама.

Я взялся за спинку стула так, чтобы при необходимости применить его как орудие самообороны. Воля моя встрепенулась, сердце – вроде как стальным стало. Или это нервы стальные? Мама глянула на меня с надеждой и повернула ключ. В проёме двери возник... полицейский! За ним был Василий. Мы с мамой отшатнулись!

Полицейский как-то представился. Я не расслышал, меня колотил мандраж, но стальное сердце противилось этими вибрациям.

– Ваши документы! – Пока мама искала свой паспорт, Василий покопался в шкафу и действительно извлек оттуда белье.

– Я же говорил, мне простынь чистая нужна. Видишь, я из-за вас по чужим углам скитаюсь. А там принимают со своим харчем и со своим бельём.

– Так, а твои документы? – обратился ко мне полицейский. Я вынул спасительный, как мне казалось, паспорт. Участковый изучил его, потом мой фейс. – Что с лицом?

– Пчела укусила...

– А я думал, дрова рубил.

Мама дала свой паспорт:

– Вот, пожалуйста... А с сыном так случилось, товарищ лейтенант, – потерянным голосом сказала мама.

– Ну, я пошёл, – сказал Василий и удалился с бельём.

– Понимаете, сейчас отовсюду мигранты едут, – объяснял полицейский. – Мы обязаны отслеживать процесс, паспортный режим. Вы вот из неоднозначного региона...

– Да из однозначного региона мы, товарищ лейтенант. Я уже сегодня третий раз слышу – неоднозначный регион. У нас там все нормально.

– А цель приезда?

– Отец его в больнице лежит. Не встает пока, в аварию попал. Приехали проведать и поухаживать.

– Отец его? – полицейский показал взглядом на меня. – А вы – мать? Как это?

– Просто... Его отец – мой бывший муж.

– А, понятно. И вы, бывшая жена, приехали за ним ухаживать?

– Ну да. Мы разошлись давно, но всё равно он близкий человек. Отец моего сына.

– Бывает же, – удивился лейтенант. – Бывшая жена и вот так... – Потом, спохватившись, добавил строго: – Вам в ближайшее же время надо временно зарегистрироваться. Есть у кого?

– Да, есть. – поспешил я. – Начальник мебельного цеха наш земляк. Он нас у себя пропишет.

Мама вопросительно на меня смотрела.

– А как зовут его? – спросил лейтенант.

– Владимир Сергеевич.

– Проконтролируем... Вы же понимаете, что вас в чужую комнату заселили?

– Да, конечно, мы завтра же съедем отсюда, – заверила мама, ещё не знавшая, куда нам утром податься.

– Проконтролируем, а то ведь нарушение паспортного режима! – Полицейский ушёл.

– Всё, спать! – скомандовала мама. – Завтра сложный день.

Не знаю, на нервной ли почве или по устоявшейся привычке, но я страшно захотел жрать.

– Мам, там у нас перекусить ничего не осталось?

– Кирилка, на ночь глядя...

– Растущему организму надо.

– Вот немного орехов осталось, которые отцу передавали.

– Это дядь-Мишкины, – как-то неуверенно сказал я.

– И что с того?

– Теперь он председатель колхоза, – произнес я со скрытой завистью.

– Ну, точнее, кооператива... Ты это к чему?

– Он же замуж тебя звал.

– Время нашёл о моем замужестве говорить, – нахмурилась мать.

Я расколол орех, жевал и думал: «Вот мама выйдет замуж за председателя, а отец может так и остаться инвалидом. Несправедливо. С другой стороны, у бати же есть жёнка, эта лахудра Жанка».

– Мам, мы же не уедем, пока отец не поднимется?

– Я же тебе уже сказала, пока на ноги не станет... А там – по обстоятельствам. Видишь, тебя вот обвиняют, что наследство делить приехал. Может, ещё родственники у папки твоего объявятся. Раньше их было много...

Я затравил голод, вспомнил о проросших орехах у нас на подоконнике. Маринка их высадила в палисадник. Представил ореховую «аллею Кирилла» и понял: туфта всё это. Чтoб она выросла, лет десять надо.

С такими мыслями и заснул. Я знал, что мне в очередной раз приснится отец с мамой и со мною – трёхгодовалым. Буду взбираться по лестнице, у которой нет перил, а на балконе (или постаменте) будет стоять Звёздная Звезда Ленка, а может, Маришка или, допустим, Маленькая Эротика. Но... мне этот сон не приснился.

7. Ксения – это не Маленькая Эротика, я обознался

Наконец-то выпались нормально. В дверь никто не ломился, полиция не приходила. Сны мне тревожные или дурацкие не снились. Но утро было дождливым и полуголодным. Я смотрел в слезящееся окно и злился на себя, что снова хочу есть. Хлеб с майонезом плюс чай как-то не сильно заглушили голод. Маме, конечно, я ничего не сказал, она и так комплексует, что деньги неожиданно быстро заканчиваются и что мне нечего дать поесть. У нас оставались ещё фасоль и орехи от дядьки Мишки-зоотехника.

– Сынок, ну это отцу, сам понимаешь...

– Конечно, мам! – обрадовался я её решению. Потому что после вчерашней стычки с Жанкой, батиной жёнкой, мама имела моральное право о бывшем своём муже вообще и не заботиться. Она как будто слышала мои мысли.

– Кирилл, пока он болеет, пока на ноги не встанет, мы будем за ним ухаживать. Что бы то ни было...

– Мы сейчас в медсанчасть, к отцу?

– Ты к отцу, а я всё-таки попробую найти этого парня – нашего земляка, начальника мебельного цеха.

– Владимира Сергеевича, – уточнил я.

– Да, только с утра симку надо купить. Позвонить твоей новой клас-ной Людмиле Васильевне, узнать, где этот мебельный цех.

На том и решили. Мама сварила полезную для батиных переломов фасоль, я наколот орехов. Между косяком и дверью закладываешь орех и – хрясть! Я не съел ни ядрышка – отцу нужнее.

Вышли на улицу под морозящий дождь. Симку хотели купить пока только маме – ей нужнее. Но она, посчитав денежку, решила и мне сделать подарок.

– А то ты как в ссылке. Хоть эсэмэски будешь писать своим друзьям.

– Спасибо, мам. Дениску рыжего надо спросить, как он там... Амбал его, наверное, забодал.

– И Маринке напиши, – улыбнулась мама и торжественно распахнула дверь салона сотовой связи.

– Ну, посмотрим, – как бы нехотя согласился я насчет Маришки и подошёл к окошку, где не было очереди.

– Ваш паспорт, молодой человек, – сказала девушка, собравшаяся заполнять нужные бумаги. На бейджике значилось: консультант Ксения. Но удивительно было другое. Мы встретились глазами, и... я узнал в ней Маленькую Эротика из нашего вагона. Это она меня обозвала неадекватом.

– В чём проблема, молодой человек? Ваши документы, – дежурно улыбалась Маленькая Эротика.

– Вот! – поспешил я сунуть ей паспорт, который как раз и подскажет ей, что я тот самый неадекват из неоднозначного региона, как здесь говорят.

Она внимательно изучила мою физиономию – поцарапанную, с не сошедшим синяком. Сверила с фото на паспорте и начала заполнять бумаги.

Консультант салона сотовой связи – конечно, звучит красиво. Но тогда она, Маленькая Эротика, была из фолк-группы.

Я осмелел:

– Вы меня узнали? Я Кирилл из вашего вагона.

– Мы всех клиентов нашего оператора узнаем, – улыбнулась консультант Ксения, – но у нас салон, а не вагон.

Я понял, что это не Маленькая Эротика. У Ксении, как я мог видеть, эротика была средних размеров, а у вагонной попутчицы – маленькая. У меня по-дурацки ёкнуло сердце. Блин, это моё мягкое сердце – поэтому я ни одну девчонку не могу забыть. Но первая на «удаление» – Ленка, решил я.

– Кирилл, ты уже оформил? – мама стояла рядом.

– Сейчас, мам, сейчас...

Мать позвонила Людмиле Васильевне – моей новой классной. Уточнила адрес мебельного цеха, где наш земляк начальником. Оказалось, на Изоляторном. Странное название, удивился я. Изоленту, что ли, там делают?

– Ну, Константинович, я на этот самый Изоляторный, а ты – к отцу. Потом созвонимся. У тебя сегодня первый день в новой школе.

По отчеству она меня называла, когда предстояло что-то важное. Конечно, и проведать отца, и пойти первый раз в новую школу – это важно.

– Хорошо, – согласился я, хотя к бате одному мне идти не хотелось, а в школу не хотелось ни одному, ни с матерью.

– Вот пакет для отца возьми. Здесь орехи и фасоль варёная.

Мама уехала, а я побрёл сквозь морось в сторону медсанчасти. На проходной стоял супергерой в черном.

– Здравствуйте, я к отцу.

– Привет, понял, – он записал что-то в журнале. – А к отцу твоему пришла жена, имей в виду. Минут двадцать назад отметил её в журнале.

– Упс, – не ожидал я. Меня одолели сомнения: идти к бате или не идти?

– Ты что завис? Не мохай, ты ж к отцу своему идешь, а не к ней, – развеял мои сомнения охранник, как будто подслушав мои мысли.

– Конечно, пойду... Вот надо ему передать кое-что.

Я решительно шёл к больничному корпусу и думал, кто роднее для бати: я или лахудра Жанка? Конечно, я! Я его сын, я его кровь! Все гены отца мне передались – рот, нос, уши, глаза. Я невольно ощупал свой фейс – с царапинами и синяками, как бы убедился, что похож на отца. Я такой же худой и длинный, наверное, тоже дефицит веса. А кто она такая, эта Жанка?

В коридоре встретил давешнюю санитарку, которая меня на служебном лифте первый раз отправила на третий этаж.

Мама, когда мы собирались – я к отцу, она за пропиской, – предусмотрительно сунула мне в карман больничные бахилы. Халат висел возле лифта. Решение созрело быстро. Я ткнул кнопку лифта и с некоторой тревогой ждал, когда он распахнется. А вдруг там снова мертвец?

Лифт оказался пустой, он шумно захлопнулся, и замкнутое пространство снова заставило меня подумать, что вчера здесь спускали покойника. А может, уже и сегодня.

Лифт быстро поднял меня на нужный этаж и распахнулся. Я поспешил выскочить, ощутив холодок на спине.

– О, помощник, – равнодушно сказала уже знакомая санитарка, направлявшаяся в палату к отцу. – Вот сейчас папку твоего будем приводить в порядок.

– Здрасьте. Конечно, приведем в порядок, – согласился я, увидев в её лице союзницу. Мне наверняка предстояло столкнуться в палате с Жанкой, и я рассчитывал на поддержку санитарки.

Но из головы всё не выходила Ксения, которая была очень похожа на Маленькую Эротику. Вообще-то не хотелось бы, чтоб та и другая видели меня, выносящим судно с содержимым. Да и Звёздная Звезда точно нос воротила бы, а может, даже и Маринка. Хотя нет... Маринка нормально бы отнеслась. Тем более, это же отец мой болеет.

8. В Жанку я запустил судно, отцу сказал про земельный пай

С мыслями о девчонках я вошёл в палату вслед за санитаркой. Жанки не было. И папиных соседей по палате – тоже. Отец не шелохнулся. Его заостренный профиль подчеркивал крайнюю худобу, и я испугался: вдруг он умер!

– Пап! Все нормально?

Отец с трудом повернул голову в мою сторону, открыл глаза. Было видно, что ему плохо. Санитарка поняла по-своему.

– Давай судно, – сказала она. Все вместе мы справились с этим делом. Я взял судно и понёс в сторону туалета. Возникали дурацкие мысли: сколько фильмов я пересмотрел, даже несколько книжек прочитал, а все герои там обходятся без этого дела. Даже по пять суток без сознания лежат, а потом встают и все нормально. Папка не герой фильма, он просто живой, но больной человек. И нет ничего позорного, что я ему помогаю, – успокаивал я себя. С этими мыслями и с судном в руках в коридоре я столкнулся с... Жанкой.

– О, ты свою порцию наследства получил! – зло засмеялась она.

– Пошла вон, лахудра, – вырвалось у меня. Я едва сдержал себя, чтобы не выплеснуть содержимое на Жанку. Она отскочила.

– Дебил полный, – уже с безопасного расстояния крикнула она мне.

Когда я вернулся в палату с пустым судном, Жанка помогала санитарке обтирать отца. При этом говорила:

– Костя, я была у адвоката. Нужно постараться задним числом оформить землю и дачу на постороннее лицо, чтоб у тебя это не отобрали по суду.

– Аня, давай об этом не сейчас, – с трудом выдавил отец.

– А когда? Они уже приходят и грозят мне! Тебе наплевать, что со мной будет.

– Ничего не будет, уезжай к матери в деревню.

– Они землю у тебя отожмут, ты же беспомощный.

– Он не беспомощный! – зло крикнул я.

– Сынок, успокойся. Все нормально.

– Наследничек нашёлся, – хмыкнула Жанка и демонстративно бросила влажное полотенце на впающую грудь отца.

– Да побойтесь Бога, – строго сказала санитарка.

– Мне нечего бояться! Пусть они боятся. Два заморыша, – Жанка отступила на безопасное расстояние – к двери. Так меня здесь ещё никто не называл, да к тому же и отца! Я сильно психанул и... запустил пустое судно в Жанку. Та успела выскочить за дверь и захлопнуть её. Санитарка схватила меня за локоть:

– Ты что, звезданулся, что ли? – кричала она. Забрав влажное полотенце и посудину, санитарка удалилась, продолжая возмущаться: – Вот дебилов развелось!..

– Кирилл, что ты творишь? – Отец привстал на локтях.

– Пап, извини, я не хотел, – сказал я правду. Наверное, это детская гиперактивность кесаренка выстрелила быстрее, чем я успел подумать.

Вторая моя встреча с отцом не заладилась, как я понял. Хорошо, что мамы нет.

Мы молчали оба. Я думал, о чём заговорить с отцом, а он – о своём. Наверно, я ему надоел своими выходками.

– Пап, мы тебя с мамой напрягаем?

– Нет, не напрягаете. Я вам рад.

Мне хотелось оправдаться за свою дурацкую выходку, но слов не находилось. В поисках поддержки я обернулся в сторону кровати дедка. Ну да, мы же в палате одни. Как-то сначала я не придал значения.

– А где все, пап?

– Двоих перевели в другие палаты – пошли на поправку, а дед умер.

– Как умер?

– Не знаю. Проснулся, а его уже выносят.

Я вспомнил свои ощущения, когда недавно ехал в лифте – предчувствовал, что здесь сегодня покойника везли.

– А сын знает?

– Не было у него ни сына, ни дочки, ни внука. Санитарка так сказала.

Вдруг мне постыдно захотелось плакать. Я вспомнил о бойцовском характере и подавил это позорное желание, почти крикнув:

– Папка, а у тебя сын есть, я есть!

– Ну конечно, сынок!

– Пап, давай перекусим, – вдруг перевел я тему. – Мама тут что-то из фасоли целебное для твоих костей придумала.

– Давай, если целебное, – улыбнулся отец. – Только вместе с тобой.

– Пап, мы уже завтракали.

– Кирилл, меня-то с утра покормили. Хоть казенная пища, но калорий хватает. Давай за компанию.

Я не сильно сопротивлялся, пришлось есть мамину целебную фасоль. Как-то не заметил, что почти всю сам её и съел. Это меня смутило, и я как бы в оправдание выдал:

– Пап, мама сейчас поехала на Изоляторный земляка нашего искать, чтобы временную прописку оформить.

– Хорошо...

– Потом она будет устраиваться сюда санитаркой, – продолжил я «выдавать семейные тайны».

– О как! Не ожидал...

– Мама говорит: пока отец на ноги не встанет, мы не уедем. Это ей наш поп так сказал.

– Ваш поп? Что, в Лесостепном есть церковь?

– Да, пап, есть... Её уже почти построили. – Я хотел рассказать, как мы с рыжим Дениской помогали на церкви, но потом сдержался, только добавил: – Служба пока идет в подвале. А поп, то есть батюшка Артемий, в горячих точках был.

– А что это мать такая боговерующая стала?

– Вот придёт, спросишь у неё сам. А эта твоя Жанка когда к тебе приходит? Неохота, чтобы они здесь пересекались...

– Да я понимаю. Как-нибудь решим, – вздохнул отец и добавил: – Наверное, в ближайшее время не придёт. Уедет она из Перми, пока всё не утрясется.

Что должно утрястись, мы с мамой подробностей не знали. Точно была авария, вроде на отца навесили разбитую иномарку, потому что он был выпивший за рулём. Ладно, ещё будет время вникнуть.

– Пап, а ты знаешь, что тебе в нашем бывшем колхозе положен земельный пай?

– В каком колхозе, Лесостепновском?

– Да. Маме вчера тетя Галя прислала по электронке письмо: всем бывшим колхозникам или членам их семей положены земельные паи. Ну, кто сколько лет в колхозе проработал.

– Серьезно? Так я там год всего был, ещё до женитьбы.

– Ну, значит, небольшой участок. А вот мама за моего дедушку Кириллу получит большой пай.

– Это как же?

– Новый губернатор так сказал: земля тем, кто на ней работал. Наши поселковые мужики за землю судились вот и отсудили. Сейчас председатель колхоза, точнее, кооператива дядька Мишка-зоотехник.

– Ну, помню такого...

– Мама придёт, подробнее расскажет, если что.

– А она сегодня обещала?

– Не знаю... Если уладит с временной пропиской.

Пауза затянулась. Отец снова задумался о чём-то. О своём земельном пае? О маме моей? О чужой разбитой машине? Не знаю. Но в мыслях он точно – не со мной.

– Пап, ну я пошёл. Мне сегодня в вечернюю школу.

– Давай, сын. В новом коллективе заяви о себе.

Спускался я на первый этаж уже не на лифте. На фиг надо, там сегодня дедка-покойника везли. Я не боюсь, но всё-таки...

9. Шок – Ленка беременна! Все остальное – мелочи жизни

В вечерку идти не хотелось. Что там меня ждёт? Может, в этой школе учатся одни бандюки типа Амбала. Тётя Галя говорила же, что половина Перми – зэки, половина – менты. А батя советует: заяви о себе! Легко сказать.

Надо симку вставить. Послать номер Дениске, Маришке, может, Звёздной Звезде. Ещё кому? Ну, классной моей бывшей... Хотя зачем? Вот сегодня с новой классной придётся общаться. Что она за птица? Жена доктора – будет лечить мне мозги склонениями-спряжениями, суффиксами-префиксами. А может, новая классная про «меню подростка» будет пургу мести? Невовремя захотелось есть. Блин, я же недавно у отца перекусил. Что ли сквозануть – не пойти в школу?

Зазвонил мой телефон.

– Да, мам.

– Кирилл, жду возле вечерней школы. Ты сейчас где?

– На «Титанике»! – автобус как раз ехал по плотине КамГЭС, и я попытался острить.

– Не морочь голову, конкретно – где?

– Ну через КамГЭС переезжаем, – пояснил я и понял, что днём гидростанция на океанский лайнер никак не похожа.

– Жду у школы, «Титаник» доморощенный.

Ну понятно. Сегодня не удастся соскользнуть. Придётся тащиться в школу.

Пока ехал, пришла эсмэска от рыжего Дениски: «Привет, Кир. У меня всё нормалёк. Амбала участковый закрыл. Говорят, Ленка от него беременная. Как ты? Пока».

Ну дела! Я сидел и переваривал. Потом написал Дениске: «У меня все пучком. Про Амбала и Ленку – это точно? Может, сплетни?».

Дениска ответил: «По ходу не сплетни. Её Завмаг увёз куда-то».

Чуть не прозевал свою остановку – всё думал о Звёздной Звезде: ревновал, злился, жалел. Ленка беременная – как там классная отреагировала, да и вообще вся школа? Маришка что-то молчит, не пишет...

Я выскочил из автобуса, огляделся. Помню, надо идти через березовую рощу. Там прикольные мостики – разноцветные. И памятники интересные. О, этого я узнал – Ванька Жуков, который писал «На деревню дедушке».

Вспомнил своего дедушку – Кирилла, которого при жизни не видел, и почему-то того деда, что сегодня ночью умер в палате у отца. К чему это? В парке так красиво, а тут – мысли про мертвых. Ну и про Ленку с Амбалом.

Среди этих мыслей – резкий звонок от мамы:

– Ты где, Кирилл?!

– Я подхожу к школе, в парке.

– А ты в какую школу лыжи наострил среди бела дня? – вдруг возникли рядом два местных пацана. Ростом пониже меня, но оба плотные. Видно, мои ровесники.

Я успел выключить телефон и немного растерянно сказал:

– В вечернюю... А что?

– Ты, видать, неместный. Говор какой-то.

– Я из неоднозначного региона, – так им и сказал, потому что здесь наши края так называют.

– Откуда-откуда? Ты чё гоняешь?

– Отвечаю, – как можно убедительнее сказа я, прижавшись спиной к дереву, чтобы сзади никто не смог напасть, если вдруг чего.

– Что у тебя за мобила?

– «Нокия», кнопочная.

– Отстой.

Мне пришлось согласиться.

– Закурить есть?

– Нет, я не курю уже два дня.

– Бросил?

– Нечего... То в поезде – с мамашей, то тут – без копейки.

– А ты за копейки чего это вдруг? Думаешь, будем тебя потрошить?

– Нет, не думаю.

– А зря! – оба засмеялись. – Ну ладно, пошли в вечерку. Мы тоже туда.

– Пошли, – согласился я, чувствуя, однако, какой-то подвох.

– А зачем в Пермь приехал?

– Отец в аварию попал, сейчас лежит в больнице весь переломанный, не встает.

- Точно?
- Отвечаю! – снова сказал я убедительно.
- Ну ты не мохай. Мы детей не обижаем и заморышей тоже.

«Заморыша» мне пришлось проглотить, а что возражать, если правда.

– Только малолеток отучаем курить, – уточнил другой пацан. – Мы из клуба бокса, за здоровый образ жизни. А ты, вижу, боксом не занимаешься. Вот, физиономия вся покоцанная.

– С такой раскраской советуем здесь не ходить. Пацанята мелкие приметят, подумают – лёгкая добыча и стаей отметелят.

– Боксом нет, не занимаюсь, – ответил я почти обреченно. Не рассказывать же им про нашего Амбала или что я в кусты свалился с больничного забора. Засмеют. Эх, как я пожалел, что не занимаюсь дзюдо. У нас как-то в Лесостепном открылась секция. Прямо в общежитском подвале. Мама меня туда записала, даже кимоно по дикой цене купила. Но секцию разогнали, из кимоно я давно вырос. Как хотелось мне соврать, что занимаюсь дзюдо, но язык не повернулся.

- А ты точно из тех краев? Как ты говоришь: неоднозначный регион?
- Да точно. Могу паспорт показать.
- А там на русском языке написано?
- Конечно!
- А ну дай посмотреть.

Оба юных боксера внимательно изучали мой паспорт, шевелили губами.

– Кирилл, значит? Ха, я тоже Кирилл, – довольно сказал один парнишка. – А это Славик. У него уже третий разряд, юношеский.

Разрядник, между тем, задался вопросом:

– А ты что такой белобрысый? У нас мигранты все чернявые.

– Так у мамки с папкой получилось, – весело сказал я, и все засмеялись. Я понял, что они меня приняли за своего.

– Ты тут надолго?

– Как получится.

– Если что, приходи в наш клуб. Ты хоть и тощий, но у тебя длинные руки. Это преимущество у боксера, – констатировал разрядник Славик и сделал несколько имитаций ударов, неизменно останавливаясь в сантиметре от моей челюсти. Я невольно отшатнулся.

– Не смейте его трогать, не смейте! – раздалось пронзительное. – Я вам глотки перегрызу!

– О, смотри, какая-то девка бежит, как угорелая, – показал мой тёзка на мечущуюся в конце аллеи фигурку.

– Не понял... Это не девка, а моя матушка, – удивился я и крикнул ей: – Мам, все нормально!

Мне было неудобняк перед новыми товарищами. Тем временем мать почти добежала до нас, споткнулась и... упала. Я бросился к ней.

– Мам, ты как?

– Господи, что они с тобой сделали...

– Тетенька, извините. Это мы в шутку, – Славик вместе со мной помог матери встать.

– Мам, это нормальные пацаны, – успокаивал я плачущую мать. – Они местные, тоже в вечерке учатся...

– Да, мы нормальные, – подключился мой тёзка Кирилл. – Мы за здоровый образ жизни.

Мама не вполне верила моим новым знакомым, всхлипывала, ози-
ралась и была готова вцепиться в горло любому. Я её ещё такой не
видел.

– Ну, мы пошли, – виновато сказал мой тёзка.

– Пока.

Боксеры удалились по аллее. Я остался со всхлипывающей матерью
и мыслями о беременной Ленке и Амбале.

10. Отец снова подсел на пиво, но мы батю вытащим!

Мама вытерла слезы, стала приводить себя в порядок. Мне надо
было в вечерку, но как оставить мать в таком состоянии? Вдруг она
сказала:

– Так, сегодня в школу не пойдёшь. Неизвестно, что у них на уме, –
кивнула мама в сторону уходивших знакомцев.

– Да ладно, мам... Они нормальные пацаны.

– Может быть. Но ты ж не хочешь в школу? – не дожидаясь ответа,
сказала: – Сейчас поедem в больницу.

– К отцу? – с радостью спросил я.

– И к нему зайдём. Надо с моей работой что-то решить, – пояснила
она и добавила: – С пропиской всё нормально. Этот начальник мебель-
ного цеха, наш земляк, отличным парнем оказался. Без проблем заре-
гистрирует. У него есть свободная комната в том общежитии, где мы
остановились. Дал месяц пожить бесплатно.

– Классно! – сказал я. Но мысли мои были о Ленке с Амбалом: не-
ужели правда? Может, сплетни? Потом мои мысли самостоятельно, мо-
жет, в знак протеста, переключились на Маленькую Эротику. Точнее, я
думал о консультанте салона связи Ксении, которая была поразительно
похожа на Маленькую Эротику из нашего вагона. Блин, я уже запутал-
ся в этих девчонках...

Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики...

Ехали молча. Прогудел мой телефон – приземлилась эсэмэска от
Маришки: «Привет, Кир. Как ты? Твои орехи высадили в палисадник.
Привет т. Ирине. У нас все нормально». Про Звёздную Звезду и Ам-
бала – ни слова.

Что написать Маришке, которая, можно сказать, застучала меня на
мыслях о Маленькой Эротике и Ксении из салона? С того времени,
как мы уехали из Лесостепного, прошло пять дней: три в поезде, два
здесь.

Много чего произошло, но мне ничего героического совершить не
удалось. Ну синяк почти сошёл. Что ещё? Один раз в вагоне бутыл-
кой спутника Маленькой Эротике чуть не звезданул, опять же бутылку
запустил в закрытую дверь, отпугнув хозяина комнаты Ваську, потом
швырнул судно в Жанку. Вообще позорище ☹. Это, если честно, я всё
от страха и злости. Да и сегодня сдрейфил, когда подкатили боксеры.
М-да... Где моя смелость в виде орла? Короче, Маришке писать нече-
го. Не спросишь же, за что закрыли Амбала? Может, из-за «лирики»
или всё-таки из-за Звёздной Звезды? Написал: «Привет, Маришка. Всё
нормально».

– Сын, приехали!

Мы пошли в медсанчасть. На проходной стоял знакомый по первому посещению охранник в черном. Что это он постоянно дежурит?

– К батё? – спросил супермен, записывая что-то в журнале.

– Да!

– Ну как он там?

– Идёт на поправку! – бодро ответила мама. Меня несколько удивил её настрой. – Вы что-то часто дежурите?

– Отгулы зарабатываю. Надо тоже к батё в Соликамск съездить.

– А у нас там земляк живёт. Денискин дедушка...

– Ну, понятно, – сказал охранник неопределённо.

Я потащил маму через вестибюль на первом этаже к служебному лифту. Мне взбрело в голову испытать себя на смелость – утром в этом лифте спускали деда-покойника из отцовской палаты. Маме об этом, конечно, не сказал.

Мать извлекла из пакета халаты и бахилы.

– Все своё ношу с собой! – довольная, сказала она. – Сейчас у нас с тобой такой период – надо быть готовыми ко всему.

Да, про маму это можно сказать. Например, сегодня она была готова перегрызть глотку боксерам. С такими мыслями я нажал на кнопку вызова служебного лифта. Я тоже был готов, допустим, увидеть очередного покойника. Но вдруг сейчас... отца мертвого вывезут на носилках? Эта дикая мысль заставила меня скукожиться до состояния самого заморенного заморыша. В это время дверь лифта распахнулась. Нам навстречу шагнул Виктор Ильич – папин лечащий врач и муж моей классной из вечерки.

– Что за делегация? – удивился доктор.

– Мы к вам, Виктор Ильич, – бодро сказала мама и уточнила: – Насчёт трудоустройства.

– Отлично. Подождите меня здесь.

Доктор пошёл по своим делам, мы ждали. Лифт был открыт.

– Мам, я к отцу. Хорошо?

– Давай.

Я шагнул в лифт, шкурой ощутил недавнее присутствие покойника. Когда дверь захлопнулась, по спине пробежал холодок. Не успел я обвинить себя в трусости, как лифт остановился на третьем этаже, дверь распахнулась. Неведомая сила меня вытолкнула вон!

Коридор был пуст, дверь палаты закрыта. Хотя бы Жанки не было, подумал я. Однако решительно распахнул дверь палаты, готовый столкнуться с ней. Папкиной жёнки не было.

Отец, кажется, спал. Я подошёл поближе. Он медленно повернул голову и посмотрел на меня каким-то блуждающим взглядом, кривенько улыбнулся:

– А, сынок. Я тут немного расслабился, – сказал он заплетающимся языком. – Так пива захотелось, – он как-то неестественно закинул плетью руки и достал из-под кровати бутылку.

Отец несколько раз жадно отхлебнул, отдал мне уже пустую тару:

– Вынеси, чтоб никто не видел.

– Хорошо, пап, – я хотел сказать ему, что ему пить нельзя, но язык не повернулся. – А где взял пива?

– Да какая разница. – Он прикрыл глаза и тут же признался: – Жанна забегала, гостинец принесла.

Меня злило, что эта стерва спаивает отца.

– Да ты не дуйся, сынок... Это я её попросил. Она сегодня уехала из Перми.

– Пап, тебе же нельзя пить, ты и так слабый. Сейчас врач придёт, скандал будет.

– Сын, боль меня замучила, вот немного заглушил. Таблетки уже не помогают.

Я подумал, может, отцу купить «лирику»? Это же от боли, её, может, здесь без рецептов дают? Только наркомы «лирику» приспособили для своих нужд.

Про «лирику» отцу я, естественно, не сказал. В это время распахнулась дверь, на пороге стояла мама.

– Привет, – бодренько сказала она, держа в руках поднос с больничной едой. Оказывается, мать встретила в коридоре санитарку с папиным ужином. Мама, как мне показалось, принялась:

– А кто здесь из нас троих пил пиво?

Я был готов взять вину на себя, но не понадобилось. Мама сказала:

– Костя, ты решил расслабиться? Ну ладно...

– Ира, это последний раз, – виновато сказал отец.

– Знаю, как всегда, последний раз.

– Мам, он больше не будет.

– Детский сад, – с укоризной сказала мать и распахнула окна. – Пусть хоть проветрится... Так, сейчас мы тебя покормим, Константин.

Она реально кормила отца из ложки и говорила строго:

– Костя, мы с твоим сыном приехали не для того, чтобы пивные бутылки выносить. Ты должен взять себя в руки.

– Да, согласен.

– Твоего согласия мало, надо напрячься. Нашему сыну нужен здоровый отец. Вдруг со мной что-то случится? Твоему сыну что, в детдом идти?

Отец, кажется, окончательно протрезвел и слушал озабоченно.

– С завтрашнего дня я здесь работаю санитаркой. Мы тебя поставим на ноги, но и ты не должен раскисать.

У меня было радостно на душе. Я был готов помогать маме: обтирать отца влажным полотенцем, выносить судно. Это не позорно – он же мой родной папка. Мы должны вытащить батю. Да я и сам должен помочь матери заработать копейку. Она же не зря меня кормильцем называла.

ГЛАВА VI

1. Мама первый день на работе, я – первый день в школе

Мы перебрались в комнату Владимира Сергеевича, нашего земляка-мебельщика. Мать пошла работать санитаркой в медсанчасть. Двое суток по двенадцать часов, двое суток – дома.

Свой первый рабочий день она начала с уборки не в палате у отца. Всё должно быть по очереди. На этаже 20 палат, надо помыть полы во всех да ещё в коридоре. К отцу решили пока не заходить – сначала работа. Я маме, конечно, помогал – носил ей ведра с водой. Мне, честно говоря, было не по кайфу – пацан занимается мытьём полов. В палатах, где мама убирала, к моему присутствию отнеслись спокойно. Точнее, не обратили внимания. Только одна бабулька сказала: «Молодец маль-

чик. Маме помогает». Мне ещё больше стало не по себе, к тому же – какой я мальчик? У меня рост метр восемьдесят. Мама правильно поняла моё смущение и сказала:

– Константинович, не царское это дело – полы мыть. Оставь, я сама.

– Я не полы мою, а тебе помогаю. Чувствуешь разницу?

– Чувствую, – улыбнулась мама.

Мы, как сговорившись, не заводи́ли речи об отце. Но работа шла своим чередом и приближала нас к его палате.

– Ну вот и батя твой, – нарочито торжественно сказала мама.

Я почему-то разволновался и оттягивал очередную встречу с отцом. Главное, чтоб он опять не напился. Может, Жанка и не уехала из Перми и снова принесла ему бухла, то есть пива, а может, что покрепче.

Я первым шагнул в палату:

– Привет, пап!

– О, кого я вижу! – сказал батя бодро и, как мне показалось, с нежностью посмотрел на маму.

– Пока я буду убирать, ты покорми отца, – распорядилась мать.

К папиной казенной каше прибавились орехи, которые мы с мамой ещё вечером накололи. Некстати вспомнился дядька Мишка – он же эти орехи и мёд передал для отца.

Мама быстро управилась с работой:

– У меня – всё! Влажная уборка завершена, – как бы доложила она больному и улыбнулась. – Ну, я пошла. Мне другие палаты мыть. Кирилка, ты тоже не задерживайся, тебе в школу.

Я вдруг понял, что с отцом мне не о чем говорить. Чтобы заполнить паузу, я предложил делать батю зарядку. Стал потихоньку разминать ему стопу, свободную от гипса. Потом начал сгибать и разгибать его руки, которые были будто плети. Мне очень хотелось, что у него уже нарастала мускулатура.

– Сынок, ты не опоздаешь в школу? – спросил отец.

– Да, пап, мне пора, – сказал я с некоторым облегчением. – До завтра! Мама к тебе ещё зайдёт.

Я благополучно добрался до вечерней школы. Нашёл Людмилу Васильевну:

– Здравствуйте, я пришёл.

– Вот и славно, – сказала она.

Я невольно сравнил её с нашей классной из Лесостепновской школы. Конечно, Людмила Васильевна была милее и симпатичнее. Но тут я себя поймал на очередном предательстве: Наталья Анатольевна всё сделала, чтобы меня отправить к отцу, а я как бы от неё отсекся в пользу городской Людмилы Васильевны.

– Так, куда тебя посадим? – Она обвела взглядом класс, где сидели человек пятнадцать учеников – разномастная компашка. На последней парте пряталась от учительских глаз упитанная девица, явно старше четырнадцати лет.

– Кирилл, у тебя рост соответствующий, ты прекрасно будешь смотреться рядом с Валей.

– Привет, – я присел возле девицы.

– Что ты вытаращился? – прошипела соседка по парте. – Беременная я. Ещё вопросы есть?

– А у меня их и не было, – стушевался я от такого приёма и от самого факта беременности моей соседки.

– Вот и правильно, а то скажу, что ребёнок от тебя, тогда попляшешь, – прошипела она угрожающе. – Знаешь, что за изнасилование бывает?

– Знаю... Но я тут при чём? – Честно говоря, не рассчитывал на такой приём. Знал, что тут всякой братии насобирали, но чтобы вот так – изнасилование и всё такое... Я вспомнил про Звёздную Звезду и Амбала, там какая-то непонятка с Ленкиной беременностью.

– Валя, вы уже познакомились с Кириллом? Вот и славненько, – обратилась в нашу сторону Людмила Васильевна. – Да, все собрались? Я вам сейчас представлю вашего одноклассника.

Я встал.

– Это Кирилл, он буквально три дня назад приехал к нам в Пермь из неоднозначного региона. Папа его после аварии в медсанчасти лежит. Прошу любить и жаловать.

Я сел и исподволь начал рассматривать Валю, её внешние признаки беременности. При этом меня не покидала мысль о Звёздной Звезде. Неужели правда, что она залетела от Амбала? Действительно ли его закрыли? М-да...

Людмила Васильевна артистично рассказывала о проблемах нравственной памяти в каком-то там рассказе. Я, если честно, ни фиги не старался вникнуть. У меня своя «нравственная память»: вот Ленка – как она там, беременная? Кошмар, Завмаг, наверное, её со свету сживёт! Про Маришку у меня «нравственная память»: пишет эсэмэски только про орехи, а может, она в меня влюбилась? Но мне теперь нравится консультант Ксения, которая похожа на Маленькую Эротiku. Но и Ленку беременную жалко. Блин, с этими бабами я запутался!

А что там рыжий Дениска? Как бы в моё отсутствие у них с Маришкой любовь-морковь не случилась, подумал я с ревностью. Может, у Дениски спросить про адрес его деда из Соликамска? Земляк все-таки.

Зазвенел звонок, все высыпали в коридор, я тоже. Подошёл первым к пацанам, хотя мне это стоило усилий. Я приказал себе не показывать свою несмелость перед ними. Пацану быть трусом нельзя никак.

Познакомились, тут же подошли боксеры – мой тёзка Кирилл и рядник Славик. Оказывается, они учились в 9-м классе – на год старше.

– О, какие люди и без охраны!

– Ну что, приколола тебя Валюха?

– В каком смысле?

– Ну, она, видишь, толстая. Каждому пацану говорит, что от него беременная.

– А, ну да, – признался я. – Ещё и за изнасилование грозилась.

– Ха-ха-ха, – ржали пацаны. – Оба-на, не успел приехать, сразу папашей стал!

– А ты, правда, из неоднозначного региона?

– Он однозначный, – это боксер Славик сказал свое слово. – Мы вчера даже паспорт смотрели у него. Всё по-русски написано.

Короче, первое знакомство состоялось, угрозы я не увидел. Мне повезло, что вчера задружил с боксерами. Правда, пришлось в качестве вступительного взноса купить на все деньги чипсов. Новые однокашники остались довольны.

После уроков, которые заканчивались в восемь вечера, вспомнил, что у меня на проезд денег не осталось.

– Пацаны, кто займет на билет?

Дружно скинулись по мелочи. Оказалось, даже больше чем на проезд. Я отправился сразу к отцу в больницу.

2. У мамы и отца – «вечер воспоминаний»

А в это время мама и отец вспоминали лучшие дни своей совместной жизни. Их оказалось не так много, как хотелось. Но вышло, что самыми счастливыми были: день их свадьбы и день моего рождения.

– Костя, скоро мы с сыном уедем, прошу тебя, уделяй ему внимание, пока есть время. Сколько можешь.

– Иринка, я понимаю... Держать вас не могу, – виновато улыбнулся отец. – Я и в молодости не смог тебя удержать, не смог дать того, что ты заслужила. А сейчас тем более: ни здоровья, ни кола, ни двора... Последний участок с дачей отождут, козлы.

– Да дело не в том, есть ли у тебя за душой что-то или нет. Сын, знаешь, как переживает за тебя! Ведь он сам хотел к тебе через полстраны ехать – автостопом.

– Перед сыном я виноват. У него сердце слишком доброе. Трудно ему будет в жизни...

– Да, он мягкосердечный... Это, наверное, плохо. Таких считают бесхарактерными, – вздохнула мать. – Ты же помнишь, он у нас кесаренок. Галина, подруга моя из амбулатории, говорила, что кесарята не приспособлены к преодолению трудностей.

– То, что он кесаренок, я, конечно, помню... За тебя тогда я сильно переживал, веришь?

– Хотелось бы верить, – вздохнула мать. – Как он на тебя похож, наш Кирилка... Не только внешне. Твой характер, твои движения, даже в голосе твои интонации.

– Да, сын – мой. Он на меня похож не только худобой...

– Думаю, твои родственники, когда увидят Кирилла, признают, что он с ними одной крови, – грустно улыбнулась мама.

Отец промолчал, только положил свою руку на мамину, она осторожно высвободила свою.

– Знаешь, Костя, ещё раз тебя прошу: за это время постарайся дать ему хоть что-то, что не смог в своё время. Главное, сам не раскисай. Прояви характер.

– Ты собираешься выходить замуж?

– Костя, мы от главной темы отошли. У нас есть общий сын, но у каждого своя жизнь. Прошло ведь больше десяти лет...

– Я понял. Ты выходишь замуж за этого, как его... Зоотехником работал ещё на ферме.

– Михаил...

– Да, Михаил. Я знаю, ну, желаю счастья. Тем более, он теперь у вас председатель.

– Стоп! Ты сейчас о чём? Кто тебе это сказал?

– Это он по всему Лесостепному говорит. Мне вчера звонил Артём. Он рассказал.

– Какая самоуверенность... Ну председатель, ну великий начальник, – хмурилась мама. – А Завмагу зачем надо было все это распространять? Зачем вы, мужчины, всякую фигню перемалываете? У него что, своих проблем нет?

– Да Артем нормальный мужик. Просто предупредил по-товарищески, – отец попробовал защитить Завмага. – Он, кстати, меня звал обратно. Станцию техобслуживания открывает, нужен мастер.

- Подумай... Может, и правда вернешься. У тебя золотые руки.
- Надо оклематься, там будет видно...
- Вот именно. Пока нужно тебя вытаскивать. Я и батюшке из нашей церкви слово дала, и перед сыном у меня есть обязательства вытащить тебя. А тему моего замужества закрыли. Я же не говорю о твоей жене...
- Ну какая она мне жена?
- Не знаю, какая, но скандалы закатывает как самая законная.
- Ну, ладно, тоже проехали... Вы уже перебрались на новую квартиру?
- Да, я же говорила.
- Там отвёртки не найдётся?
- Отвёртки? Зачем? – удивилась мама.
- Отремонтировать надо розетку.
- Ну, здесь же есть дежурный электрик. Давай скажу заведующему?
- Да нет, хочу вместе с сыном отремонтировать розетку. Я буду говорить как, а он делать.
- Ну, ты слишком буквально отцовское воспитание понимаешь. Там ток, опасно...
- Да что ты! Мы же обесточим.
- В это время в палату вошёл я.
- Всем привет!
- Сын, здорово! – Отец приподнялся на локтях, попытался протянуть мне руку, но как-то неловко откинулся на подушку. Но мы всё-таки пожали друг другу руки. Я почувствовал, что отец хоть и слабый ещё, но о нём уже можно сказать, как и прежде: худой, но жилистый.
- Как дела в школе?
- Нормально, – почти небрежно бросил я, хотя хотелось рассказать отцу (без мамы) о том, что задружил с боксерами. Но, конечно, не о ложной беременности новой одноклассницы Вали. Опять вспомнил про Звёздную Звезду Ленку – ей сейчас несладко. Если, конечно, правда, что она залетела. Может, позвонить? Хотя, конечно, не при родителях.
- Ну, вы тут поговорите, а я пошла дежурство сдавать, – сказала мама и вышла из палаты.
- Пап, как твои старые кости? – попытался я пошутить.
- Нормально, – уверенно ответил мне отец. И я понял по тону, что у него действительно дела идут на поправку. Мы молчали. Вот так всегда, я заметил: когда есть, о чём поговорить с отцом, кто-то присутствует, например, мама. Когда остаемся наедине, вроде не о чем говорить. Вот мы и молчали. Я решил заполнить паузу:
- Пап, а что ты маме говорил про розетку?
- Ты слышал, что ли? Да починить надо бы, а я вот, сам понимаешь, не могу.
- Давай! А что для этого надо?
- Ну, сначала отключить щиток энергоснабжения. Нужно с дежурным электриком договориться. Это надо делать днём. Давай завтра, а то ведь придётся отключать свет.
- Я вкратце рассказал отцу о новых школьных товарищах, немного изобразив из себя крутыша. Отец слушал внимательно.
- Это хорошо, что ты задружил с пацанами и сразу заявил о себе.
- Конечно, – согласился я и предложил сделать батюшке зарядку.
- С удовольствием! – согласился отец.
- Мы долго манипулировали с его доступными суставами. Устали оба. Мама зашла за мной и с улыбкой сказала:

- О, размахались крыльями!..
- Пошли на взлет, – попытался пошутить отец.
- Ну, и мы, Кирилка, наверное, пойдём на взлёт? Вечер воспоминаний завершён, – грустно улыбнулась она.
- До завтра? – спросил отец.
- Завтра не моя смена, – сказала мама. – Кирилл сам придёт. А я, наверное, какую-то подработку поищу.
- Ну пока, пап. Я обязательно буду...

3. Отцовское воспитание: меня долбануло током, я ждал сверхспособностей

На следующий день я пришёл в медсанчасть с утра. Сделали упражнения с папиными тугоподвижными суставами. Потом разработали план ремонта розетки. Дело нехитрое, но я побаивался – мне не пришлось иметь дело с током.

Сбежал к больничному гаражу, где располагался электроучасток, объяснил дежурному электрику, что надо. Он, удивительно похожий на грузчика дядьку Сергея из Лесостепного, согласился пойти к батю в палату. (Я уже который раз ловил себя на мысли, что здесь встречаются люди, очень похожие на наших, лесостепновских. Или я сам себе это придумывал?) Короче, пошли с электриком, похожим на грузчика, в палату к батю.

Отец попросил отремонтировать розетку.

– Главное, чтобы сын своими руками это сделал, понимаешь?

– Понимаю, – сказал электрик. – Я, например, своих пацанов гоняю по дому. Они что-то должны делать своими руками, ну и уважать отцовский труд.

– Вот и мой сын хочет сам починить розетку, – батя глянул на меня.

– Ясно. Но по технике безопасности положено отключить электричество. А это целая канитель. Сейчас процедуры и всё такое, – электрик с шумом водрузил на прикроватную тумбочку свой «ядерный чемоданчик». – Это надо писать заявку, согласовывать с замом главврача...

– Я понял. С тобой каши не сваришь.

– Кашу, может, и сваришь, только пустая ложка горло дерёт.

– Конкретно говори, мужик.

– По пивасику...

– Вопрос решаемый, – сказал отец. – Открой тумбочку, подними дно.

Электрик поднял фанерку на дне тумбочки. Там лежала целая батарея пивных бутылок.

– О-о-о!.. – воодушевился электрик. – Правильный ход. – Он ловко извлек из тайника один пивасик.

– Постой, мужик... Сначала дела сделаем.

Мы встретились с отцом взглядами: откуда дровишки? Он ответил на мой немой вопрос:

– Это с прошлого раза осталось, когда Жанна приносила.

– Так! Моё дело давать команды, – заявил электрик, – а твой короед будет всё исполнять. Так?

– Ну так, но мой сын не короед...

– Как же, не короед! В школу денежку дай, на чипсы – дай, на телефон – дай. А потом скутер захочет, а потом – девки. Что, твой, скажешь, не такой? Все они, пацаны, одинаковые.

– Мужик, мы сейчас не о том говорим, – мрачно ответил отец, вдруг, как мне показалось, устыдившийся, что он как раз «денежку» не давал мне ни в школу, ни на чипсы, ни на телефон. – Короче, если хочешь помочь, давай. Нет – значит, нет.

– Так! – торжественно сказал электрик. – Работаем под напряжением. Сам понимаешь, я отключить целый этаж не могу. Гарантирую, всё будет нормаль! – Он распахнул свой «ядерный чемоданчик», сунул мне отвертку:

– Откручивай болтик, снимай крышку.

Я вспомнил почему-то завмаговское «решил – действуй» и с волнением открутил крышку. Внутри, мне показалось, был клубок змеёнышей, а не провода. Микрофильм фэнтези...

– Дай, гляну, – отодвинул меня электрик. – М-да... Просто нет контакта. Видишь, провод подгорел, изоляция расплавилась.

Глотнув пива, скомандовал:

– Откручивай распирающие лапки...

– Чего? – я про лапки не понял.

– Там болтики, сынок, держат распорки, – подсказывал отец.

– Смелее! – подбодрил электрик.

Я волновался, аж пальцы онемели, но болтики поддались.

– Откручивай силовые контакты, – дал указания электрик. – Освобождай провод.

Я напрягся, из-под отвёртки высунулось алюминиевое жало.

– Молодец, Кирилл, – подбодрил отец.

– Пошёл второй, – давал команду электрик.

Я смело приступил к другому болту, чтобы освободить силовой контакт. С удовлетворением отметил про себя, что думаю уже на «электрическом языке». Тут отвертка соскочила внутрь розетки, туда, где клубились змеёныши проводов. Сноп искр! Страшный треск!.. Меня так долбануло током, что я отлетел, опрокинув спиной папину тумбочку с пивным тайником.

– Сын!.. – заорал отец, дернулся и свалился с кровати, повиснув загипсованной ногой на растяжном механизме. – А-а-а...

У меня перед глазамиплыли круги. Сквозь радужную сетку увидел отца, который корячился на «виселице», но я не мог пошевелиться. Электрик, придурок, стал спешно собирать раскатившиеся по палате «пивасики». На шум сбежалось всё отделение. Первой возле меня оказалась медсестра Катя, которая мне тайно нравилась. Она была испугана и ещё красивее прежнего. Даже красивее Звёздной Звезды.

– Что с тобой? – она поддержала мою голову своими теплыми ладошками, нежно провела по щекам. Мы встретились взглядами, потом мои глаза опустились к скромному вырезу халата, где колыхнулась очень даже немаленькая эротика, я невольно положил руку на торчавшее передо мной её колено и... потерял сознание. Это произошло не от удара током, а от божественных прикосновений медсестры.

В нос мнешибанул нашатырный спирт, я очнулся. Теперь, к моему разочарованию, надо мной колдовал Виктор Ильич и ещё какие-то медсестры. А Катя склонилась над моим отцом. Вместе с электриком, санитаром и ещё каким-то врачом они уматывали батю на его распотрошённом ложе, поправляли растяжной механизм. Катя в своих движениях была восхитительна. Я именно такими, непривычными для меня словами думал про неё: «божественна», «восхитительна»!

– Очнулся... Всё нормально, – констатировал Виктор Ильич. – Давай, осторожно его на носилки.

Он и ещё какая-то медсестра помогли мне приподняться и перевалиться на носилки-каталки.

– Сынок, ты как? – подал голос отец.

– Нормалёк. А ты как, пап?

– Всё хорошо, – бодрился отец.

Мне, однако, было фигово. Хотя ныл у меня только палец, куда ударило током. Меня не тошнило, голова не болела, но было фигово. Во-первых, отец, наверное, покалечился, во-вторых, мама ещё не знает о происшествии. И потом, эти бутылки с пивом... И медсестра Катя не появляется. И Звёздная Звезда Ленка беременна от Амбала. И Ксения из салона сотовой связи, которая похожа на Маленькую Эотику, вообще ко мне не имеет отношения. И Маришка не пишет эсэмэски, и Денис молчит. Всё – в кучу! Я чувствовал себя конченным заморышем.

Но хорошо вот что: врач Виктор Ильич, когда меня несли в палату, сказал:

– У многих людей после удара током открываются сверхспособности.

Через какое время, интересно? Надо ждать. С этой мыслью, а также с удовлетворением, что не надо идти в школу, я уснул. И снился мне всё тот же сон: я взбираюсь по лестнице без перил на балкон, где теперь стоит медсестра Катя. А внизу отец и мать – обнявшись, и я, маленький.

Сон прервала мама:

– Кирилка, ты спишь?

– Уже нет.

– Господи, горюшко ты моё, – заплакала она. – И этот взрослый дурень нашёл время для отцовского воспитания.

– Мам, не плачь. Врач сказал, что у меня откроются сверхспособности.

4. Я влюбился в медсестру Катю и совершил ещё один подвиг Геракла – с газонокосилкой

Случай с коротким замыканием и с пивными бутылками, но без жертв быстро замаяли. Кому нужен лишний шум? Все живы-здоровы, даже батины срастающиеся кости не нарушились. Злополучную розетку вообще обесточили.

Я худо-бедно закончил учёбу в вечерней школе – без применения сверхспособностей. Они, эти способности, которые у многих проявляются после удара током, у меня пока не открылись. Но я надеялся на них и возобновил мечту стать офицером. В Перми, на Гайве есть военный институт, там со всей страны учатся. Почему бы и мне не поступить туда?

Этой заветной мечте не мешало то, что я каждый день бывал у бати. Мы с ним продолжали разрабатывать его тугоподвижные суставы. Отцовское тело вроде бы восстанавливалось.

Врач Виктор Ильич показал ещё специальные упражнения, полезные отцу. Конечно, мама нас поддерживала не только своим присутствием. А ещё нам помогала со всякими физиотерапевтическими процедурами медсестра Катя.

Если честно, после удара током я в неё влюбился окончательно – какая-то химия мне в голову стукнула вместо сверхспособностей. Ну стар-

ше она на пять лет меня, и что? Понятно, что я спешил в медсанчасть не только к отцу, но и чтобы увидеть её, Катю. Она чем-то неуловимо напоминала и Маришку из Лесостепного, и Маленькую Эротику, и Ксению из салона связи и даже Звёздную Звезду Ленку – дочку Завмага. У меня закрутилось в голове:

Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики...

Кстати, Артём Артёмович увёз Ленку из Лесостепного в областной центр к своим родственникам, чтобы рожала в какой-то частной суперклинике. Это тётя Галя маме писала на электронку. Мать поделилась с отцом – я слышал. Говорят, избавляться от ребенка было поздно. В дело вмешался батюшка Артемий из нашей Троицкой церкви, сказал Завмагу: «Не бери на душу грех детоубийства». Амбала отпустили из ментовки. Это и рыжий Дениска в эсэмэсках писал.

Амбал, впрочем, для меня уже не был авторитетом. Я начал заниматься боксом. У меня отличный размах руки, я легко передвигаюсь по рингу – гиперактивный же! Это мне тренер Иван Иванович сказал. Понятно, я же длинный и худой. Но поскольку у меня дефицит веса, как у папы в свое время, тренер меня определил к мелким, которые на 2 года младше меня. В основном я занимался общефизической подготовкой, работал с грушей. Ну, попробовал с мелкими пацанами на ринге. Честно говоря, напропускал ударов. Губы были как вареники. Но, кажется, я победил страх.

Я стал жестче, потому что помню: с мягким сердцем пацану никак, тем более будущему офицеру! Жесткость я даже к отцу проявил:

– Пап, надо уже вставать!

– Я встану обязательно, – ответил он мне также твердо.

И он встал, ну, не совсем, конечно. Под присмотром врача Виктора Ильича и с помощью меня и мамы отец взгромождался на инвалидную коляску. Мы её называли каракатицей. А то «инвалидная коляска» звучит как-то уж совсем тоскливо, по-стариковски. Спускались во двор. Любили тусоваться возле блока вспомогательных служб больницы. Там котельная, гараж, мастерские. Электрик нас привечал.

– Ну твой короед молодец всё-таки. Помогает отцу, значит, уважает, – говорил он батю про меня.

– Уважает, – с гордостью соглашался отец.

– А мой балбес всё боксом занимается, школу забросил. Жена его в вечернюю сдала. Тоже Кирилл зовут.

– Мой тоже в вечерней. Звёзд, конечно, не хватает, но восьмой класс закончил. Тоже на бокс записался.

Оказалось, мой тёзка Кирилл из школы бокса – это его сын. Ну нормально!

– Я Кирилла знаю! Это мой друг.

– Друг? – с недоверием посмотрел на меня электрик. – Ну-ну... А пацанам надо не звёзды хватать, а руками работать, ну и головой, – важно говорил электрик. – Вот, например, я в электричестве...

– Папа тоже головой работает, будь здоров, – не удержался я.

– Батя твой – да! Знаю, он и механик, и строитель. А вот ты...

– И он научится, – вступился за меня отец.

– А вот в газонокосилке вдвоем разберетесь? – как бы подначивал электрик. Ему завхоз сказал отремонтировать этот нехитрый агрегат, а он, хитрец, хочет, чтобы батя это сделал.

– Легко, – сказал отец. Он же ещё в Лесостепном в «Зеленстрое» был спецом по газонокосилкам. Потому я и люблю запах скошенной травы и бензина – с генами впитал.

Короче, целый день мы провозились с газонокосилкой. Отец говорил, что мне делать, я выполнял его советы. Только кажется, что всё просто, а на самом деле... Батя пропустил процедуры, я – обед. (Меня, признаюсь, подкармливали на кухне – придумали типа «меню подростка». Мама договорилась, ну чтоб йододефицита не было.)

– Всё-таки сделали газонокосилку? Ну нормально, – одобрил работу электрик. – А теперь надо обкатать машину. Давай, Кирилл!

Это оказалось сложно. Во-первых, газонокосилка, которую надо надевать на себя, как рюкзак, тяжелая. Во-вторых, она меня начала кидать из стороны в сторону, как мелкого. Ну конечно, у меня же дефицит веса. Но я хоть худой, но жилистый. Как батя.

Короче, я приноровился. Мне даже понравилось. Рулишь вроде как дельтопланом, ну или мотоциклом. А после тебя буквально ковер стелется. Тут, в Перми, такая сочная зелёная трава! Вот бы кроликов, например, развести. Я помню, на старом дворе у деда Кирилла и после его смерти стояли пустые клетки. Я туда ещё как-то залез, когда был мелким. Потом меня долго искали. Ну так вот. Как я рулил газонокосилкой, заметил завхоз. Подошёл:

– Это ты сын санитарки Ирины?

– Ну да, – настороженно ответил я.

– Хочешь заработать? – Он это сказал прямо с интонациями дядьки Мишки-зоотехника из Лесостепного. Вспомнилось же...

– А кто не хочет!

– Можешь прямо сейчас приступить. Тебе, наверное, уже лет 16 стукнуло, паспорт есть?

– Да, есть паспорт, – про возраст я промолчал.

– Мне тоже пришлось пацаном начать работать, – сказал завхоз. – А зачем я буду Среднюю Азию нанимать, если есть свои неоднозначные регионы, – обратился он к электрику и отцу.

– Правильно, начальник, – одобрил электрик. – Пусть пацан работает. Трудотерапия, понимаешь, от раздолбайства хорошо помогает.

Так я начал работать. У меня получалось, я не чувствовал себя заморышем, а скорее наоборот. Мне казалось, мои бицепсы прямо наливаются. Я так хотел, чтобы меня, сильного, видела медсестра Катя. Но её, к сожалению, не было. Я вспомнил свой трудовой подвиг Геракла – «авгиевы конюшни» у дядьки Мишки-зоотехника.

5. Мама уезжает – они с зоотехником решили пожениться, я остаюсь с отцом

Новоиспеченный председатель сельхозкооператива «Лесостепновский» Михаил Иванович, как его теперь там... внезапно дал о себе знать.

Зазвонил мой телефон:

– Привет, Кирилл! – Это дядь Миша-зоотехник.

– Здравствуйте, – удивился я.

– Скажу коротко, Кирилл, без лишних церемоний. Мы с твоей матерью решили сойтись.

– Как сойтись? Пожениться, что ли?
– Сойтись, пригладеться друг к другу, а там, даст бог, поженемся.
– Как это? А как же я, как мой отец?
– Кирилл, ты уже взрослый парень. У отца твоего своя жизнь, он же женат. Жанна у него там, что ли?

– Причём тут Жанка? И вообще... – я не знал, что сказать. Вдруг почувствовал себя скукоженным заморышем, обманутым и преданным.

– Мать боится тебе сказать, что мы хотим сойтись, – продолжал дядька Мишка. – Но надо обрезать пуповину. Нельзя тебе всё время возле мамкиной юбки.

Про пуповину – это он зря. Скотовод же не знает, что меня она, пуповина, чуть не удушила ещё до рождения.

– Это не ваше дело, возле чьей я юбки! Это моя мать!

– Вот-вот... Мать у тебя как собственность. Потому-то она тебе сама и боялась сказать. Ты подумай, сколько матери в одиночку горе мыкать?

– Она же инженер, у нее высшее образование! – у меня не оказалось более веского аргумента.

– Вот и хорошо. Найдётся ей работа в кооперативе. Сейчас-то она работает уборщицей.

– Санитаркой, – уточнил я. – Это временно. Пока папа в больнице. Она 1С в бухгалтерии осваивает.

– Бухгалтеры везде нужны. Не будь эгоистом, Кирилл. Ты скоро вырастешь, а мать одна.

– А вам-то что: одна она или нет?

– Кирилл, понимаешь, взрослые люди имеют право на личную жизнь. Она тебя уже вырастила...

– А теперь будет выращивать ваших баранов? Навоз за ними убирать?

– Знаешь, Кирилл, не надо так. Подсобное хозяйство, оно людям помогает выжить. А животные ухода требуют. Все же любят мясо, молоко? А как это достается? Через труд!

– Так вы возьмите себе домработницу или гастарбайтеров наймите. Вы же теперь великий начальник!

– Кирилл, не груби. Председателем меня народ выбрал, я не сам себя назначил. А с матерью твоей мы сами разберемся, кто и что по хозяйству будет делать.

– Как вы всё быстро замутили! Ну, это ещё неизвестно, что мама скажет!

– Я позвонил, потому что она не решилась бы на это никогда. И что ей там делать, в вашей Перми? Вы оба, ты и твой отец, будете её эксплуатировать до конца жизни.

– Это вы эксплуататор! То баранов своих эксплуатировали, теперь будете колхозников и мою маму!..

Я отключил зоотехника. Пошёл он... Ни фиги себе! Они за моей спиной пожениться решили! Это – как предательство. Я взбесился, хотелось плакать. Но пацану плакать – это позорно! Я напряг волю, которая уже не казалась мне божьим, сдержался.

Появилась мама. Она была в светло-зеленом платье из своей юности. На фоне свежескошенной травы мама была просто красивой. Но это меня не сдержало, и я выпалил:

– Мам, как же ты так? Этот зоотехник...

– Он все-таки позвонил тебе... Ну ладно, сын, слушай. Вот как раз и отец подходит.

Батя, высвободившись из коляски-каракатицы, самостоятельно поднялся на костыли и довольно уверенно направился к нам.

— Ну вот все и собрались, — решительно сказала мама. — Так, мужики...

— Привет! Ты сегодня такая красивая! — сказал с улыбкой отец.

— Спасибо... Жаль, что ты этого мне не говорил в своё время...

— Надеюсь, ещё исправлюсь. Какие наши годы!

— Так, ребята, — сдерживая волнение, начала мать: — Я возвращаюсь в Лесостепной.

— Как? — только и смог сказать отец.

— Поездом. Мы же договорились, пока ты на ноги не встанешь, я буду здесь... Но ты уже на ногах, слава богу.

Отец как-то понуро повис на костылях — это называлось «встать на ноги». Мне было жалко батю и обидно за нас двоих.

— Мам, а я как же?

— Сынок, думаю, тебе надо побыть с отцом. Впереди каникулы. Квартиру я оплатила, денег немного оставлю и буду высылать.

— Ну да, ты теперь будешь богатой председателей! — Во мне говорила обида, а не разум.

— Сын, а ты жестокий, — тихо произнесла мать. — Я этого не заслужила.

— Мам, извини... Конечно, устраивай свою жизнь. Тебе и с деньгами будет легче. — Я не к месту вспомнил лужу безденежья в стиле фэнтези. Она с детства мне отравляла жизнь, и маме тоже.

— Кирилл, давай по-взрослому... Мать, конечно, имеет право, — сказал осипшим голосом отец и тут же спросил у мамы: — Ирина, когда ты уезжаешь?

— Послезавтра. Костя, тебя завтра уже выписывают. Пока перебирайся к нам на квартиру. Владимир Сергеевич в курсе. Обещал помочь, если что... Да и за Кирилкой присмотрит.

— Не надо за мной присматривать. Обойдусь сам, не маленький уже, — фыркнул я, весь обиженный на мать.

— Ну конечно, ты взрослый, вот и хорошо, — говорила мама тихим виноватым голосом. — Билет я уже купила. Кир, остаешься за старшего, потому что ты здоровый и уже вот сам зарабатываешь. Завхоз мне сказал, что на работу тебя берёт.

— Так ты знаешь уже, что я работаю?

— Ну а как ты хотел, чтоб мать не знала. Вот, к самостоятельной жизни готов, можно сказать. Пора отпустить тебя, Кирилл Константинович, в самостоятельное плавание — обрезать пуповину...

Что они, сговорились с этим зоотехником? Пуповину обрезать, пуповину... Мать как будто не знает, как я в этой пуповине запутался. Потому и кесаренок, потому — заморыш гиперактивный. Точнее — психический.

— Ты все-таки выходишь замуж за этого... председателя, — с тоской, но без укора произнес отец.

— Посмотрим... а ты, Константин, не спейся. Потому сына с тобой оставляю. Выздоровеешь, возвращайся к своей Жанне.

— Мы с папкой будем без неё жить, — резко сказал я.

— Если сын будет мешать, отправь его в Лесостепной, — не глядя на меня, произнесла спокойно мама. — К 1 сентября пусть обязательно вернется.

— Ты же сказала, что я здесь буду учиться. В военный институт готовиться.

— Видишь, Кирилл, обстоятельства меняются... А готовиться в институт везде можно, хоть в Перми, хоть в Лесостепном.

– Я, кажется, всем вам мешаю... – Мне пришлось подавить желание разрыдаться от обиды. Но нет, пацану позорно плакать!

– Кирилка, если б ты знал, как мне больно, сынок... Но это лучше и для тебя, и для отца, – мама сама расплакалась.

– Ладно, не будем разводить сырость. Значит, так надо! – стараясь быть бодрым, сказал отец.

6. Стоп-кран и... продолжение маминой «дурацкой» песни

Вот и всё!.. Через день мы провожали маму с вокзала Пермь II. Нас туда отвез на новенькой кредитной «гранте» Владимир Сергеевич. Мы с отцом пока остались пожить в его комнате, может, до сентября. А там у бати решится вопрос с его дачным домиком под Пермью – возле деревни Мошни.

Мама беспрестанно плакала, прижавшись ко мне. Потом, когда проводница попросила поспешить занять места, мать с отцом порывисто обнялись. Батины костыли предательски упали. Я их подобрал и не смотрел на родителей, потому что у меня текли позорные слезы. Меня подбодрил Владимир Сергеевич:

– Ничего, Кир, когда-то надо пуповину обрезать, – он как бы повторил слова матери и зоотехника.

Я снова вспомнил про роль пуповины в моей жизни и ощутил себя полным заморышем. Почему-то подумал о неродившемся брате. Конечно, если бы он родился, мы бы все вместе жили и мама с отцом бы не расходились. Может, не надо было тогда ездить маме на бухгалтерские курсы? В аварию б не попала, брата бы мне сохранила. Или судьба такая?

Владимир Сергеевич поднял в тамбур пару маминих сумок.

Мать последней из пассажиров вошла в вагон.

– Быстрее, девушка, быстрее. Сейчас отправляемся, – нервничала проводница.

Под «Прощание славянки» поезд тронулся. Мы с папкой сиротливо стояли посреди перрона.

– Ну, земляки, поехали домой, – сказал Владимир Сергеевич.

И тут только что тронувшийся поезд заскрежетал тормозами, содрогнулся всем длинным туловищем, остановился.

– Ого! Кто-то сорвал стоп-кран, – пояснил Владимир Сергеевич.

Дверь в одном из вагонов распахнулась, из неё буквально выпрыгнула... мама. За ней вывалились две сумки. Проводница размашисто жестикулировала и явно ругалась.

Я бросился к маме, отец, насколько позволяли костыли, – тоже. Даже Владимир Сергеевич побежал.

Мама беспомощно плюхнулась на сумки и зарыдала.

Нас перегнали полицейские, в одном из которых я узнал вежливого сержанта из тех, кто встретил нас, когда мы приехали в Пермь.

Закончилось всё тем, что маму пригласили в привокзальное отделение транспортной полиции. Там объяснили:

– Стоп-кран в вагоне применяется только в связи с безотлагательной необходимостью. Вам понятно? Это предотвращение крушения, аварии, схода с рельсов подвижного состава, человеческих жертв.

– Вот я и предотвратила крушение... И человеческих жертв нет.

– Девушка, оставьте эту лирику для кого-то другого, – с укоризной сказал полицейский. – Статья одиннадцать точка семнадцать Кодекса РФ об административных правонарушениях. Самовольная без надобности остановка поезда влечет наложение административного штрафа.

– Согласна, – устало произнесла мама.

– Ну, земляки, вы даёте, – то ли с восхищением, то ли с осуждением сказал Владимир Сергеевич, потом добавил: – Как в бразильском сериале.

Я не знаю, что такое бразильский сериал, но догадался что это – не очень... потому что родители молчали, но тут Владимир Сергеевич разрядил обстановку:

– Вот теперь будет время вас всех свозить в Белогорский монастырь. Храм там классный!..

– И на Гайву, в военный институт, – добавил я, радостный. – Может, и в Соликамск к Денискиному дедушке съездим, ну, который ёлочки посадил у Троицкой церкви из Белогорского монастыря.

– Конечно! – решительно сказал отец. – Я чуть оклемаюсь, у меня в гараже старая «Ока», отремонтируем. Сами будем ездить.

А мама вдруг взяла и запела свою странную песню, из которой мне был знаком только первый куплет:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься.

Ты ручьями-притоками полнишься,
Вдаль уносишь свои воды быстрые,
Лес суровый к тебе низко клонится,
Крутизна берегов – вместо пристани.

На просторы степей вырываешься –
Полновластная, полноводная.
В нежных водах заря умывается,
Заливает поля плодородные...

– А дальше не помню, – призналась мама. – Но продолжение есть...

Моздок – Пермь

Поэзия

Ирина ЕВСА

Родилась в Харькове. Детство провела в Белоруссии, где служил отец, в шестнадцать лет вернулась в Украину. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького.

Поэт, переводчик, составитель сборников и антологий. Автор одиннадцати поэтических книг. Лауреат премии Международного фонда памяти Б. Чичибабина, премии «Народное признание», премии журнала «Звезда», премии им. Николая Ушакова и других. Член Национального союза писателей Украины. Член международного Пен-клуба. Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

Живет в Харькове.

КОВЧЕГ БЕЗ ТРАПА

* * *

Наверно, в этом был какой-то смысл.
«Чур, я – Атос!» – «Нет, чур, ты – Арамис,
он – д' Артаньян». Портос всегда в остатке,
поскольку толстый. В клетчатой тетрадке
четыре капли клятвы запеклись.

«Один за всех, и все за одного!»
Оглянешься, а рядом никого.
Четвертый спал, когда рванули трое.
Одни литературные герои
вокруг: не хватит жизни перечесать.

И в этом тоже смысл какой-то есть.

* * *

Видно, здорово напился, убаюкивая дух,
коль не хипстера на пирсе видишь ты, а сразу двух.
Это прям какой-то Пратчетт. Клацнув дверцами «тойот»,
глупый хипстер робко прячет, умный – смело достает,
чтоб, торча в чужой палатке с гордой надписью «Надым»,
ты ловил ноздрями сладкий электронный цацки дым.

Не впервой курить вприглядку бездоходному тебе,
на челе сгоняя в складку мысль о классовой борьбе.
Не впервой слезой давиться пересекшему Сиваш.
Все плывет, и все двоятся: крымненаш и крымневаш.
И маячат беспартейно – между миром и войной –
цвета местного портвейна два светила над волной.
Ты и сам давно раздвоен: у тебя внутри мятеж,
перестрелка, смута, зрада, разоренная страна,
где один – Аника-воин, а другой – А ну-ка врежь,
и обоим вам не надо ни победы, ни хрена.
Потому что в этом гуле, продолжающем расти,
ты боишься, но не пули – страшно резкость навести
на окрестность, где отсрочка от войны лишает прав,
и никчемный одиночка видит, голову задрвав,
как меж бездною и бездной, рассекая темноту,
хипстер движется небесный с огнеметом на борту.

* * *

Пятые сутки баржу болтает в море.
Умный дурак мне пишет, что всем кранты.
На берегу коты застывают в ссоре,
прямоугольно выгнув свои хвосты.

Спорить не стану: шар наш – ковчег без трапа.
Правда, коты считают, что выход есть.
Черный – за Клинтон, рыжий (верняк!) – за Трампа.
Морда в бугристых шрамах и дыбом шерсть.

Дует восток, ломая зонты на пляже,
круг надувной катя по волне ребром.
Фуры вдоль трассы. И никакой продажи
у торгашей, пока не пойдет паром.

Жалко водил, заснувших на жесткой травке.
Мелкого жаль, что, круг упустив, гундит;
жалко народ, что ринулся делать ставки
на кошаков... Мне пофиг, кто победит

там или здесь – под этой, летящей криво
гиблой волной, сводящей запал к нулю.
Сидя на парапете с бутылкой пива
и сигаретой winston, я всех люблю.

* * *

Говорит приемыш, пасынок, лишний рот:
«Ладно, я – урод, нахлебник, дурное семя,
но сарай твой скреб и вскапывал огород,
а когда повальный, помнишь, был недород,
я баланду хлебал со всеми.

Я слепым щеглом в твои залетал силки,
на твоём крючке висел лупоглазым карпом.
А когда по ребрам били твои сынки,
я в ментовку на них не капал.

Кто тебя тащил, когда ты была пьяна,
избавлял от вшей, от пуль заслонял спиною?
Что же ты меня выталкиваешь, страна,
и отхаркиваешься мною?»

А она в ответ: «Ты воду, манкурт, вари
из другой страны, что, пасынкам потакая,
согласится слушать все эти: “твой”, “твой”,
не кривясь безразлично. Что ты застыл? Вали,
если есть на земле такая».

Шествие

Если тебе велят – влево, а ты направо
топаешь в аккурат, –
не сомневайся, брат, это еще не слава
и не свобода, брат.

Правду ори свою рэпом или былинным
слогом, но посмотри:
ты все равно в строю, непоправимо длинном,
ровного рва внутри.

Вот и гадай, как лох: пафос, а может, лепет?
Прятаться или сметь?
Гиппиус или Блок? Быков или Прилепин?
Родина или смерть?

Вверить спешат толпу ратники и сиротки –
всяк своему божку.
Хуже всего тому, кто семенит в середке,
в плечи втянув башку.

С кем ты, – спеша, скользя? – мне за тебя тревожно.
В тот ли вписался ряд?
Притормозить нельзя. Выбраться невозможно.
Разве что – в небо, брат.

Поезд

И, вертясь, трясет нечесаной головой,
и сопит, с часами блеклый пейзаж сверяя.
Наш состав по водам движется, как живой.
Хлороформом пахнет наволочка сырая.

Всех достал, трещотка (вот уж не повезло!):
мол, стекло в подтеках, чай не разносят утром;
чем лечить подагру; кто изобрел весло,
москалям сейчас вольготнее или украм.

Выясняет нудно: вторник или среда?
То ли он, хлебнув, куражится, то ли бредит.
А еще все время спрашивает: куда
этот поезд едет?

Но уже глупца назначил своим врагом
с верхней полки дядька. И настучал на «гада».
– Вы его куда – с вещами? – В другой вагон.
Проводник суров: «Постель не бери. Не надо».

Тут законы круты: если чужак – свали.
В коридоре – пусто. Шторки раздвинешь – голо.
Но все глубже, глубже – в сумрачные слои –
проникает поезд из одного вагона,

заливая светом логово темноты,
где цветут, кренясь, медуз голубые маки,
где, со дна поднявшись, ляхи и гайдамаки
подплывают к нам, как рыбы, разинув рты.

Андрей ДМИТРИЕВ

Родился в 1976 году в г. Бор Горьковской области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Служил в милиции, работал в частных охранных структурах. Редактор отдела экономики газеты «Земля нижегородская».

Автор трех сборников стихов. Лауреат премии имени Бориса Пильника, дипломант межрегионального конкурса «Наималы» и международного конкурса «Мирсконца-2015», проводимых музеем В. Хлебникова в Астрахани. Живет в Нижнем Новгороде.

ВОЛОСЫ У АГАФЫ – СЛОВНО МОЛОЧНЫЕ ТРАВЫ...

* * *

Когда иволга становится простым воробьём –
серым всполохом в голых кустах акации,
словом, что не поймашь, как сердце, перепрыгнувшее ребро, –
мы ищем окошко старой вокзальной кассы,
чтобы уехать в незатейливую страну,
где лица – знакомы по фильмам с тёплой органикой.
Ты крошишь тусклые овощи в грядущее наше рагу
и смотришь на стёкла с росписью Палеха,
пытаясь прочесть код этих узоров. Сонная кипа строк –
выпала на пол из порванного кулька
с эмблемой торговой сети. Тает возле обутых ног
обжитый снег, пока распускает шнурок рука.
Пламень щеки угасает в полутонах холста –
иволгой выпорхнул светлой гуаши луч,
чтобы выписать нас – на хлебной корочке сна,
с которой и воробей в долгие зимы живуч...

* * *

Выбелили лицо Агафы
белые-белые годы,
белые-белые думы,
белые-белые птицы. В графах
пустых – вписаны счетоводом
все её белые луны.

Белые пальцы – белое воскрешали,
белое грели,
белое только помнят.
В тазик с белой эмалью
плачется небо – чистое от акварели –
моет Агафья ладони,
трёт их до белого хруста
белым как снег полотенцем –
стали ладони ещё белее.
В кухоньке белой варится суп из капусты –
всякий может наестся
в белую пору обеда.

Белые-белые волосы у Агафьи –
словно молочные травы,
словно стебли из мела –
водоросли белого моря, где фрегаты
некогда парусом белым с ветрами
спорили смело.
Волосы эти – под белым платком,
под тканью бесцветной –
будто бы в белом храме
молит Агафья возле икон
о спасении белого света
за век побелевшими навсегда губами.

Знала Агафья чёрные-чёрные зимы –
чёрные ветви царапали чёрные окна,
чёрные вороны жгли свой рассыпанный уголь –
жить с этим чёрным в груди не осталось ни силы,
ни на жизнь отведённого срока –
скоро уж всё заберёт в белый сон эта белая выюга.

* * *

По барельефам старинных зданий
читаешь фасады, как книгу живого участия
в событиях камня, и видишь, какими мы станем
после наложенного алебаstra.
Здесь хаживал барин и разночинец,
здесь ветхий мужик прогибался под тяжкие арки,
и ты – ножиком перочинным
на спиленном клёне здесь вырезал имя – неким знаком
присутствия. Старый исхоженный центр –
за чугунной оградой продолжит игру перспективы,
где торговые точки в дымном облаке цен
стали главным событием для данности сиротливой.

В зимнюю стужу – всё это срастается с небом,
вывернутым наизнанку, посыпанным мелкой солью, –
тянешь из пенного моря, и вроде не пуст твой невод –
хотя многие рыбы кажутся нарисованными,

ибо в здешней природе пахнущих глянцевою упаковкой
пресловутых вещей – всякий выпад изящный – уже анимация.
По барельефам читаешь, как это далёко-далёко
от того, за что принято в бурю держаться.

Снег – хрустит под ногой, ускоряя движение дня
в очень раннюю тьму, где рассудит фонарное право
каждый тени мазок, без которого гамма бедна
этой каменной старости, вросшей в реальность упрямо.

* * *

*У ворот Иерусалима
Ангел душу ждет мою...*
Николай Гумилёв

«Прости все мои прегрешения», –
шептал Николай с Анной на шее,
а под сердцем пули уже свили гнездо.
Солнце поворачивало голову на восток,
но с востока к нему спешила всё та же орда.
Для героев, штурмующих Трою, герои труда –
сколотили за ночь коня, чтоб гомеровских полунамёков
нам хватило с лихвой до нового солнца с востока.

«Прости меня», – продолжал Николай,
слыша дальние колокола –
оттуда, где у Анны – ни двора ни кола –
а только то, что согрела зола.

Ветер треплет прибрежный тростник,
чьи стремления к небу – сухи и просты.
но последним кузнечикам здесь – монастырь.

* * *

Помню Карелию – сосны-сосны,
вода-вода, камни-камни.
Поезд летел по откосу –
раздвигая хвою стальными руками,
проповедуя чай – разносимый проводниками,
развивая скорость восприятия живописи на скальной,
где рыбы древней острая кость
пронзала сердце шамана насквозь.

Липли к окнам – смотрели
на травы и ели,
на чёрные и замшелые щели
в чреве дикой природы, из которых летели
птицы, нами не встреченные доселе.

Обживали пространство плацкарты –
играли в карты,
читали про ворованные миллиарды,
пили огонь из бутылок стандартных –
и всё же шли по ту сторону
северным лесом,
настигая длинную тень экспресса –
скорее скорого...

Духи Карелии – скакали в танце
вокруг цветочных костров –
бутонов, которыми любоваться
остались глаза затерявшихся станций
в прелых мхах своих медленных снов.

В тамбуре – зябко,
в книге – зыбко,
за стёклами – сопка.
В резиновых тапках
по вагону ходила бабка
в пёстрой косынке –
угощала из банки
брусничным соком.

Наталья СТРУЧКОВА

Родилась в 1975 году в деревне Опалиха Горьковской области. Окончила Нижегородское медицинское училище по специальности зубной врач. Проработала в стоматологии семнадцать лет, затем получила высшее культурологическое образование.

Автор двух поэтических сборников, ряда публикаций в литературных журналах. Член Союза писателей России с 2008 года. Живет в городе Кстове Нижегородской области.

Я ВИЖУ: НАША НОЧЬ ДРОЖИТ НА СКВОЗНЯКЕ...

Связь

Я по всем дорогам
и городам
Через расстояния
и года,
Через сроки, строки
и на беду
Через все пороки
к тебе иду.

Над твоим порогом
горит заря
На исходе месяца
ноября.
На маяк, на светоч
и на закат
Я иду который уж
год подряд.

Словно птиц с ладони,
ещё вчера
Прикормила наших
судеб ветра.
От тебя и чтобы
ко мне несясь,
Сохраняли эту
живую связь.

Бухта Балос

Ни широких равнин,
 ни высоких лесов
По дороге в тот край
 не отыщется рядом...
Только чёрные камни
 и белый песок,
Но у всякого чуда —
 свой законный порядок.

Уже тысячи лет
 вещий старец Нерей
Корабли между скал
 в эту бухту проводит.
У слияния трёх
 средиземных морей
Нереиды поют о любви
 и свободе.

Эту вечную песнь
 слышит горный отвес
И разбитой волны то ли всхлип,
 то ли возглас.
Здесь смешались оттенки
 и морей, и небес
В бесконечно прекрасный
 и законченный образ.

Портрет

Детали, детали, детали —
Штрихи на моём портрете.
Вы эти черты писали,
Вы образом жили этим.

И Вам иногда казалось,
Что девушка в сарафане
Невольно руки касалась
И Вас уже не обманет.

И было бескрайним поле,
Текло бесконечно лето,
Душа ожила на воле,
По шляпе струилась лента,

Июльских цветов букетик...
А Вы рассмотрели только,
Хоть были за всё в ответе,
Что свойство иного толка

Алёна КАЛИНИНА

Родилась в 1962 году в Абакане. Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Работает преподавателем в Кстовском нефтяном техникуме.

Дипломант IX Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо» в номинации «Лучшее патриотическое стихотворение», Лауреат Епархиального конкурса исполнителей авторской песни и поэтического творчества «В единстве духа».

Член Союза писателей России. Живет в Кстове.

ЕСТЬ ЕЩЁ ДЕРЕВНИ НА РУСИ...

Корни

Нетленные древние корни
Чудесных таинственных слов
Забвенью веков непокорны,
Тверды, как основа основ.

Не солнце, а коло сияло
В небесной просторной дали.
И было в том слове начало
Того, что века сберегли:

Крепчайшие колья околиц,
Колодцы с водою святой,
Весёлый трезвон колоколец,
Мотив колыбельный простой.

Скрипели телеги колёса,
Тянулись в поля колеи,
И зрели на нивах колосья,
Чтоб хлеб – колобки – испекли.

Керженец

Вода в реке, как мёд гречишный свежий,
А зачерпнёшь в ладони – как хрусталь,
И лето, отражаясь в глади, нежно
Целует вод прохладные уста.

Стоят над речкой сосны величаво,
Склонились ивы нежные над ней.
И волны тихо лилии качают,
И виден каждый камушек на дне.

Ботник скользит, где облака лучатся,
Осока еле слышно шелестит.
Плывёшь и понимаешь: это счастье,
А губы шепчут: «Господи, прости!»

* * *

Есть ещё деревни на Руси,
Где ещё дровами избы топят,
Где в округе – господи, спаси! –
Непролазный лес, озёра, топи.

На Руси деревни есть ещё,
Где косой-литовкой травы косят,
Двери замыкают на крючок,
Вёдрами с колодца воду носят.

На Руси ещё деревни есть,
Где желают каждому здоровья,
Где не позабыто слово «честь»
И так мало зависти, злословья.

Лик любой бревенчатой избы
Украшают ставенки резные.
И деревни эти не избыть
Ни вовек, ни присно и ни ныне.

Здесь такая ночью тишина,
Здесь такие трели на рассвете!
И живёт огромная страна,
Потому что есть деревни эти.

У вечерней реки

Сижу на мостках я, босая,
Как в детство, на реку смотрю,
И камушки в воду бросаю,
И спать провожаю зарю.

Она, как ладья с парусами,
Плывёт по вечерней волне,
И день вместе с ней угасает,
И камушки тонут на дне.

А детство моё так далёко,
И юности светлая грусть,
И если окликнут: «Алёнка!» –
Я вздрогну, но не оглянусь.

И пусть уплывают закаты,
И время не движется вспять,
Я буду, как в детстве когда-то,
Рассветы надежды встречать.

Бессонница

Рёв звериный в ночи мотора –
Новый русский куда-то мчит,
Словно псов одичавших свора
Сон твой рвёт на куски в ночи.

В клетках каменных, будто звери,
Люди мечутся от тоски,
Ни во что, никому не веря,
В одиночестве лишь близки.

Тёплый угол и брюхо сыто –
Чё те надо ещё, народ?
Но душа ещё не убита
И проснётся – придёт черёд!

Проза

Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом.

С 1993 года – священник Русской Православной Церкви. Живет в Нижнем Новгороде.

Член Союза писателей России. Автор семи поэтических сборников, шести книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен Диплома 3-й степени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЁД

В середине апреля, а иногда и чуть раньше, выдаются в нашей местности особенно теплые деньки, когда под крышами с северной стороны вовсю капает, а с южной, на припеке, и крыши-то уж сухие. Вот такой денек был сегодня. За оврагом, в парке, грачи орали радостно. Дровами пахло, березой. И небо – без облачка, синее-синее, какое только весной и бывает.

Я строгал доску около дома, когда прибежала соседка Тамара. Едва завидя меня, закричала:

– Сергеич, спасай!

И руками по бедрам плещет, как гусыня на взлете.

Я положил рубанок и отряхнул с рубахи стружки. Такой уж я человек – спешить не в моих правилах.

– От кого тебя, заполошную, спасти?

Тамарка, она такая – чуть что, орет не своим голосом, будто конец света наступил, хотя его по телевизору еще в декабре обещали – не случилось, а многие у нас в селе всерьез готовились, вон, Михалыч – тот водки два ящика купил и землянку еще с осени в саду выкопал глубокую. Землянка обвалилась, а водку до декабря, пока ждали конца света, всю выпили. Да. Но в целом, Тамарка баба хорошая, не злая, только вот без тормозов, что ли. И глотка луженая. Как закричит – за оврагом слышно.

– Спасай, Сергеич! – задохнулась она. – Там, – махнула рукой в сторону реки, – там человек тонет!

Ага! На сей раз не зря, значит, горло дерет. По весне у нас такое случается – тонут люди, рыбаки, конечно. Кому ж еще? Тут раздумывать некогда. Я схватил с завалины лестницу и рванул к обрыву.

Лично я по последнему льду не рыбачу. Конечно, охота, а кому не охота? Но у меня есть лекарство против той охоты. Как только засосет под ложечкой при виде рыбаков, рассеянных по синему с чернотой льду на весеннем горячем солнышке, так я вспоминаю, как тащил из полыньи друга своего Палыча...

От моего дома до берега рукой подать. Подбежал я, гляжу: под обрывом, метрах в десяти, мужик в промоине бьется. Ящик валяется в стороне и шапка камуфляжная с ушами. Пытается бедолага локтями на лёд опереться, а тот ломается, и никак он точки опоры не обретет.

– Эй, – кричу. – Не волнуйся! Щас я тебя достану!

По тропинке спускаться к реке – время драгоценное терять. Тут ведь каждая секунда дорога, известно. Я лестницу с обрыва сбросил, а сам за ней следом на заднице, как на санках, по откосу вниз. Ничего, без задёва прокатился, до самой кромки. Гляжу, а мужик-то тем временем на лёд выполз, на четвереньки поднимается. Я опять кричу ему:

– Не вставай, дурак! Ползи!

Ну, не слышит, это понятно: в трансе человек, соображение отсутствует. Встал на ноги, оглядывается. Лёд – хрусть, и снова он в воде, одна башка торчит, без шапки. Я лестницу прилаживаю, к нему толкаю, чтобы ухватился он за неё, тогда его можно будет волоком вытащить. Бляха-муха, не достает лестница! А с обрыва Тамаркин голос пронзительный:

– Ну что, Сергеич? Чего ждешь?

Ждешь! Где тут ждать-то? Тебя бы сюда, громогласная! Я только рукой отмахнулся – замолчи, мол, и иди отсюда. Не ушла. Стоит на обрыве, как статуя Свободы. Ладно, не до тебя.

Толкая перед собой лестницу, я сделал несколько шагов вперед. Лёд крошился и шипел, как шкварки на сковороде – не лёд, одно название! Следы тут же наполнялись черной водой. Зыбкое дело. Так далеко не уйти. А правая нога тем временем, чувствую, проваливается все глубже.

Я с маху повалился в ледяное крошево.

Весенний лед самый опасный. По осени он хоть и тонкий, но прочный и держит надежно, а уж если толщиной со спичечный коробок – иди смело, будет прогибаться, но не проломится. Иное дело весной, когда он становится пористым, почернеет, вода ест его и снизу, и сверху. Тут провалиться, как нос почесать!

Вот, помню, года четыре назад в такое время пошли с Палычем на рыбалку. Обычно ведь как? Из дому надо выйти пораньше, пока морозец за ночь воду поверху стянул и получилась этакая крепкая корка, у нас её наслудой называют – ходить по ней одно удовольствие. Часов до одиннадцати можно рыбачить смело, а после всё – уходи. Так мы всегда и делали, а в тот раз засиделись – окунь резво на безмотылку ловился. Глядь, а на льду-то никого, кроме нас, уже и нету.

Смotalи удочки. До берега метров сто. Палыч только шаг один всего и сделал. Схрумкало негромко, и он, глядь, поплавок меж льдин колыхается! Вот так клюква, как говорил мой дед! Я сбросил с плеча ящик и бур Палычу протягиваю, дескать, хватайся, а он – нет, так же, как вот этот, локтями лёд крошит. Лёг я на брюхо и бур ему прямо к носу подсунул. Ага! Ухватился, чудило, за шнек, ну, я тянуть. И вытя-

нул его на лёд. Такое дело. Лежим, как два тюленя. Мне аж как-то не по себе стало. И Палыч молчит, словно язык проглотил. На ноги-то встать боимся. Да. Так мы с ним оба до берега по-пластунски и ползли, а ящички на льду забыли – пропади они пропадом вместе с рыбой!

С тех пор по черному льду на рыбалку ходить я зарёкся.

А вот, однако, опять довелось хлебнуть адреналину! Подтолкнул я лестницу, гляжу: конец-то почти у самой кромки, где мужик барахтается, ему только бы руку протянуть. Он и протянул. Но не ухватился – камнем ушел под воду. Мгновенно. Я глаза его увидал – белые. А рука из полыньи пальцами враспырку так... будто «пока», мол... Как Брежнев с мавзолея. И всё. Тихо стало. Потом Тамаркин крик раздался:

– Уто-о-п!

Но я на неё не глядел, не до того было. Будто паралич со мной сделался – лежу мордой в ледяной жиже и не могу ни рукой, ни ногой двинуть. Сколько времени прошло – не помню. Да немного, наверно. Надо, думаю, выбираться. Собрался с духом и так же, лежа на брюхе, развернулся головой к обрыву. Потом зацепил на локоть лестницу и пополз на берег. А из головы не идет – как же так, вот только что был человек и нету его. Лежит на дне и не трепыхается больше, как бы согласен на такую жуткую участь.

До берега я добрался, а дальше идти – сил нет. Сел на бревно под обрывом, закурить хотел, да сигареты в кармане подмокли, так и бросил пачку в снег. Что ж, думаю, Тамарка, однозначно, в администрацию побежала, и это правильно. Значит, скоро явится, как положено, к месту происхождения участковый. Чего же мне домой тащиться, когда все равно сюда потом пойдем? Буду ждать.

Так и сидел я, а в голову разные мысли лезли – сначала отрывочные какие-то, а потом выстроились и понял я, что думаю про жизнь и про смерть. Вроде бы и думать тут нечего – живешь на земле, вот она и жизнь, а помирать все одно придется, вот тебе и смерть. Но так уж, видно, человек скроен, что начинает размышлять – зачем да почему? А когда у тебя на глазах вот так – был и нету – поневоле задумаешься.

Скажем, такой случай. Лет пять, пожалуй, тому. Работал я в городе на шабашке плотником – реставрировали клуб, понятно, из церкви в свое время перестроенный, а теперь опять под храм властью возвращенный. Дело к зиме, ну, руководство решило центральный барабан под куполом фанерой перекрыть – для сохранности тепла, значит. Высота от пола до этого барабана – метров двадцать, не меньше. У нас допуска, понятно, нет. Вызвали промышленных альпинистов – так теперь эти верхолазы называются.

Пришли трое парней, начали работать. Сразу видно – дело знают. Зарешетили барабан, уложили листы ДСП, стали их закреплять. Я еще подумал – им бы каждый лист сразу крепить надо, по отдельности, чтобы надежно, а не выпендриваться.

Ходят там, на верхотуре, песенки попевают. Про оранжевый галстук и всё такое. А я внизу пол ремонтировал, так что всё происшедшее собственными глазами натурально наблюдал. Точнее, как Сашка-то, самый из них младший, на край незакрепленного листа встал – я не видел, а как спорхнул он сверху – это да. Слышу крик: «Ма!..», вскинулся, а он уж в воздухе. Между небом и землей. Я и шевельнуться не успел. Быстро, считанные секунды. Хрясь! И брызги кровавые по сторонам...

Парню двадцать два года было, красивый, здоровый – жить бы да жить. А тут такая клюква... Смерть нелепая. Почему? Я тогда над этим

голову ломал, а что толку – все равно не узнаешь. И заползает мысль: зачем все это, если даже сама жизнь зависит от случайности или стечения обстоятельств, от собственной глупости, наконец?

Этот пример про безответственность, я её глупостью называю. А вот другой – про случайность. У Тamarки, соседки моей, ерихонской трубы, племянница есть, была, вернее... Девчонка – золото! Училась в университете, заканчивала уже – умница, и с виду симпатичная, скромная, не в пример нынешним. В общежитии жила, комната на двоих с подружкой. И вот, прошлой весной дело было, полезла на подоконник, чтобы форточку открыть. Вот как это – человек форточку открыть намерен, воздуху ему охота свежего глотнуть, а выходит, что за смертью своей он на подоконник-то полез!

В оконном стекле была трещина, девчонки её скотчем заклеили. Ну, трещина и трещина – сто лет до неё никому дела не было. И форточку каждый день открывали. И племянница Тamarкина в то окно по сто раз на дню, наверно, выглядывала, не зная и не предполагая, что вот она, смерть её – рядом, в той трещине и заключается, ждет своего часа... А кто тот час определил? Никому неизвестно.

Ладно, открыла девчушка форточку да и покачнулась, сердечная, на узком-то подоконнике и, чтобы удержаться, оперлась на треснутое стекло. Стекло раскололось, и она на острые зубцы – грудью. Зажала рану, еще и крови нету. Это потом уже... А подружка, видя, что та за локти себя обхватила, спрашивает: «Что, дескать, локтем ударилась?» – «Нет, – отвечает, – не локтем». И померла в ту минуту. Не успела и понять, что померла, я так думаю... Осколки стекла ей сердце и легкие напополам перерезали...

Что это, как не случайность? Ведь форточку могла и подружка открыть, так? Так. А стекла могли в ребро воткнуться, могли? Могли. Так нет же! Только что девчонка конспект читала по истории средних веков, например, и вот – дзинь – и лежит она на полу вся в крови, мертвая, а в молодых глазах удивление. Это как объяснить?

Если Бог жизнью и смертью распоряжается, то зачем Ему надо людей в самом замечательном возрасте забирать? Мысль эта крамольная всегда мне душу мутит, и я её гоню, конечно. Да только возвращается она снова и снова. Знаю ведь ответ, знаю, читал, и почему младенцы умирают, а что-то во мне не соглашается, вроде, несправедливость некая, и всё не так должно быть... А как? Всем вечно жить, что ли? Или умирать одним старикам? Так чем они хуже? Уж если жить вечно, так всем. Однако вот несколько минут назад мужик-то в полынье как за жизнь царапался, и вдруг – раз, и нету! Можно, конечно, сказать: а не лезь, куда не следует, береженого, мол, бог бережет. Можно. Да что толку – утопленнику оттого легче не станет. Ему-то уж все равно.

Сидел я так и думал. Милиция, известное дело, у нас никогда не торопится. Так что времени у меня для размышлений было предостаточно. И вспомнился мне вдруг анекдот. Умер никчемный мужичонка и предстал пред Божьи очи. «Ну вот, – говорит ему Господь Бог. – Вот и кончилось, человек, твое земное житие». А мужичонка-то, вроде меня, вопросительный, возьми да и спроси Бога: «А зачем оно было мне дано, это самое земное житие, коли все равно помирать пришлось?» – «Как же, – беседует с ним Бог, с совопросником-то никчемным. – Как же, – говорит. – У каждого своя задача на земле имеется. – «И у меня была, что ли?» – «И у тебя». – «Это какая же?» – продолжает вопрошать с недоверием новопреставленный. «Помнишь, ты на курорт в Кисловодск

ездил?» – «Ну, помню», – насторожился тот. «А в ресторане с Валентиной из Тулы, помнишь, как гулял?» – «Э-э, допустим...» – «Так, так, – говорит Господь, – а помнишь, за соседним столиком шикарная дама сидела?» Наморщил мужичонка лоб. «Нет, не помню». – «Ну-ка, ну-ка, припоминай!» – «Что-то такое вспоминается, правда...» – «Она еще тебя попросила соль передать, вспомнил? А ты не передал». – «Нет, это уж, точно, не помню!» Вздохнул Господь сокрушенно: «А вот она и была твоя задача на земле – соль той даме передать!»

Анекдот, конечно, аллегория, так сказать, а однако... Я вот живу уже седьмой десяток. Значит, соль-то еще не передал? И тут, будто голос во мне: «Передал!» Вздрыгнул я даже. Как так? «А вот лестница-то и была твоей солью». Это уж и не голос, а я сам как бы отвечаю себе, а вроде и не я. «Так он не дотянулся до лестницы», – это я про утонувшего. «Так что, ты ж свое дело сделал?» А если бы...

Тут раздался шум мотора. Я поднял голову – на обрыве, заслоняя апрельское солнце, на месте громогласной Тamarки стоял, уперев руки в толстые бока, наш участковый по прозвищу Винни-Пух. Ну вот, подумал я, сейчас он тебе вопросы будет задавать. И все философские мысли улетучились из моей головы, словно их, как тучу комаров ветром с Волги сдуло.

Юрий НЕМЦОВ

Родился в 1950 году в Кинешме Ивановской области. Окончил Горьковский госуниверситет (филологический факультет), преподавал в средней школе литературу и русский язык, работал журналистом.

Шеф-редактор публицистического вещания ННТВ, редактор видеожурнала «Строй!». Лауреат премий им. М. Горького и Нижнего Новгорода, гранпри телефестиваля «Вся Россия» (программа «Парад “Побед”», 1995 г.), гран-при фестиваля «Зодчество-98» («Архотека»). Автор трилогии документальных фильмов «О человеке, земле, воде и дереве»: «Сделай себе ботник», «Черная глина», «Сила Кориолиса».

Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Нижнем Новгороде.

БУХАНКА

Сегодня первый раз в этом году спустил на снег пластиковые лыжи. Солнечный морозный день, безветрие, скольжение прекрасное. Лес за Ботаническим садом полон хаски. Взрослые, дети, рюкзаки, термосы – и собаки. Насчитал не меньше дюжины, в основном светлые, с рыжими подпалинами, похожие на лаек, но есть и черные с белыми лапами – те мельче, тощее, узкомордей. Спрашиваю одного из лыжников, чтобы завязать разговор:

– Это ведь японские, да?

– Это хаски, – отвечает строго.

А сам весь красный, потный, потому что у него на поводке две собаки, тянут в разные стороны, он кричит:

– Правее! Левее! – и все время падает, потому что они вокруг него крутятся, лезут под ноги.

– А черный кто?

– Это хаски!

Я ж не виноват, что его собаки не различают право и лево. В наше время вовсе не было таких собак. Были лайки, овчарки, у меня в Кинешме был боксер – в тех краях невиданный зверь, его даже принимали за обезьяну. Прекрасно помню, как ребенок кричал: мама, мама, смотри – обезьянка! Меня обидел именно этот уменьшительно-ласкательный суффикс: Динго был не намного меньше дога, я больше никогда не видел таких гигантов, обычные боксеры – среднего роста. Обезьянка!

Вот Мартина, американского бульдога, никто бы не посмел назвать обезьянкой. Однажды мы с ним шли по Ильинке, и маленький мальчик спросил на всю улицу:

– Мама, это ког`ова?

На этот раз я не обиделся: корова – достойное животное, и размер солидный. А сердитого мужика на лыжах можно понять: хаски – сибирская

ездовая, какая еще на фиг Япония? И сынишка его рядом корячится, толстый, неуклюжий, бестолковый. Отец, запутанный в собаках, кричит ему:

– Ногу, ногу выправляй! – у пацана одна лыжина под ветку заскочила, а второй он эту ветку прижал. – Переступай!

– Как?

– Правую ногу сдвигай, а левую тяни!

– Ну ка-а-к?!

Навстречу настоящая упряжка летит, но в постромках почему-то три хаски. Лаются, конечно, тесно им, и люди за ними бегут какие-то взъерошенные. Сошел с главной лыжни на радиальную, подальше от этой суеты. Предварительно стрелку нарисовал, острым концом в обратную сторону. В прошлом году я кружил по этому лесу несколько часов, пытаюсь выйти к машине. Раньше здесь была биатлонная трасса, через лес серпантинном нарезали просеки, похожие на аллеи, только с крутыми подъемами-спусками. Сейчас бегают по ним без ружей, конечно. Некоторые даже на хасках, на салазках.

Я, конечно, поздно собрался. Середина декабря, самые короткие дни, небо сквозь заснеженные ветки розовеет, дело к закату. Но я ж ненадолго, просто отмечу приход настоящей зимы, пробежусь пару километров – и домой, ужинать.

Стрелки задом наперед ставлю на каждой развилке. Да развилок-то немного, аллея, утрамбованная коньковым шагом, плавно забирает влево, потом вправо, чуть вверх, потом вниз, потом налево вверх. Чувствую – увлекся, надо бы обратно, но уже не хочется возвращаться, кажется, пара спусков, подъемов, поворотов – и вырлужу к тому месту, откуда начал. И ведь помню прекрасно, что и в прошлый раз казалось то же самое, что и плутанул поэтому, но продолжаю идти вперед. Может быть, вот если сюда, по этой не очень-то проторенной лыжне...

Стрелку, конечно, рисую на снегу, иду до тех пор, пока не понимаю, что это обман, что я начинаю крутиться по серпантину точно так же, как в прошлый раз. Возвращаюсь, вижу свою стрелку, иду направо, довольный собой. Иду подозрительно долго, вижу развилку, но без стрелки. Проглядел? Иду обратно. Вот давешняя поворотная стрелка. Поворачиваю. Решаю идти, пока не увижу стрелку.

Самое смешное: слева – или справа, если повернуть, – шумит трасса, там летят машины с Горной, с Анкудиновки – в Кузнечиху, им навстречу из Кузнечихи через Горную или Амурскую – на проспект Гагарина. Очень оживленная трасса, совсем рядом, и вот уже лыжня поворачивает на шум, я ускоряю шаг – и снова поворот, и снова ухожу на виток серпантина. Можно, конечно, шурануть по этой аллее до конца вниз, в овраг, и по этому оврагу пойти налево, он точно выходит к Ботаническому саду, но это долго, уже темнеет, и телефон, как на грех, сел, Ольга там с ума сойдет.

Иду по какой-то занесенной радиальной лыжне, почти напролом, лишь бы на шум городской, но и эта лыжня забирает влево. Выхожу на истоптанную елочкой аллею, точно такую же, с которой десять минут назад сошел: сначала пологий склон, потом все круче, с крутым поворотом – это я уже быстро спускаюсь, перед поворотом резко торможу, вижу человека с непокрытой головой, круглой, коротко стриженной, темные волосы сильно прорежены сединой. Смотрит доброжелательно, как будто давно уже меня поджидает. Спрашиваю:

– Дальше овраг?

– Овраг.

– Я по нему дойду до Ботанического сада?
– Дойдете, только там ручей незамерзающий, можно провалиться. Лучше верхом.

– Да я уж там крутился, наверху.
– Вот если вы сейчас пойдете обратно в гору... Что-то лицо мне ваше знакомо. Передачи ведете по телевизору?

– Было дело.

– Знаете, что? Давайте-ка я вас провожу.

Вдвоем идти веселее. Спрашиваю: «А вы откуда сюда заходите?» – «С Новопокровского». – «Это где ТИЗы?» – «Да, я как раз и есть тизовец». – «Знаю-знаю, делали мы сюжеты из Новопокровского. Боря Немцов там земли раздал без дорог, коммуникаций – значит, вы тоже купились?» – За разговорами не замечаю, что он неважно себя чувствует. Лицо бледное. Когда вышли наверх, встал, чтобы отдышаться:

– Нужно передохнуть. Просто чувствую жжение в груди. Идет регенерация легких.

– Что ж вы не сказали! Я бы не гнал так в гору.

– Да ничего. Я специально хожу здесь на лыжах, чтобы ускорить адаптацию к новым легким.

– К новым?

– К старым, конечно, но они уже начали перерождение. Регенерация, понимаете?

– Вы бы шапку надели, еще и голову простудите.

– У меня шапка-невидимка. Внутренняя энергия. Я уж не молод, пятьдесят шесть, но занимаюсь йогой, лечу людей. Сам за собой наблюдаю, как идет регенерация.

– А мне шестьдесят шесть, – говорю, и, чтобы не выглядеть шибко здоровым в его глазах, сообщаю про свою аритмию: вот, дескать, тоже себя выгуливаю. – Идите, – говорю, – вперед своим темпом. А то, может, уж лучше я дальше один?

– Нет-нет, я вас выведу.

И вывел – прямо к моей самой первой стрелке!

– Спасибо! – говорю и по-настоящему радуюсь. Ведь реально темнеет. А ему еще в Новопокровское. – Ну, счастливо! Поправляйтесь, вентилируйте свои легкие.

Вдруг он говорит, глядя пристально:

– Дайте-ка я вас посмотрю.

Отнекиваюсь: знаю, мол, как тяжело брать на себя чужую болезнь. «Ну дайте хоть пульс пощупаю! Все равно какую – правую, левую». Бормочу, что у меня все в порядке, пульс нормальный, перебои только к вечеру, на худой конец корвалол... В общем, сдаюсь. Пальцы у него крепкие, цепкие. «Дышите носом!» Шумно дышу сквозь сопли. «Спокойно дышите, ровно! Левый желудочек увеличен... Митральный клапан пропускает...»

– Я знаю.

– Знаете? – говорит то ли удивленно, то ли удовлетворенно: вот, мол, доктора вам всякие приборы навешивали, а я только пульс пощупал – и всё уже знаю. – Сейчас я вам его поправлю, и больше не будет пропускать.

Благодарю от всей души, прощаемся, называем имена. «Евгений Калинин». – «Бог даст, свидимся, Евгений!..»

Грею машину, запикиваю лыжи и палки в салон, соскребаю свежий ледок с лобового стекла. «Калин, Калинин...»

В то лето мы жили на площади Ленина, в Канавине. Был душный вечер, мы сидели на скамейке, смотрели на Оку, на остров, ели только

что купленный горячий хлеб, отщипывали по кусочку от черной пахучей буханки. На острове тогда еще был пляж, к нему с набережной вел понтонный мостик. На мостике стоял человек, маленькая фигурка, но видно было, что он в сером не по сезону костюме и что он снизу вверх смотрит на нас. Когда двинулся к берегу, я сразу подумал – к нам, и угадал: он поднялся по бетону, прошел очень близко от нашей скамейки, не отрывая от Ольги глаз.

По нашим тогдашним меркам, он был немолод, старые туфли на босую ногу, под пиджаком несвежая рубашка, но гладко выбрит. Круглая коротко стриженная голова с легкой сединой. Лицо красивое, но какое-то темное, будто задымленное. Глаза необыкновенные. В них столько было того, что португальцы называют – «фаду», что мне показалось, будто я слышу музыку тоски, обреченности на вечную муку неразделенной любви, залитое лунным светом лицо, по которому ходят лунные тени воспоминаний. О, любовь, ты прошла, словно ветер!

Он уже уходил, но оглянулся – и все-таки решился подойти к нам:

– Можно сесть?

Ольга подвинулась, спросила:

– Хотите хлеба?

– Хочу.

Она была прекрасна в тот вечер. Она и так была красивой, молодой, худой, загорелой, с распущенными промытыми волосами, крылатые брови, огромные улыбающиеся глаза. А в тот вечер... Как-то очень хорошо у нас было в тот вечер. И он это почувствовал, конечно.

Он сказал, что его зовут Аркадий, что он не мог пройти мимо нашей скамейки – он обращался исключительно к Ольге, как будто меня тут не было, но я уже к такому привык – потому что она очень похожа на его жену, что они с женой вот так же, на скамейке, когда-то ели хлеб. Ему нельзя было не поверить – из-за глаз: они были совсем мокрые, но не от слез. Как будто там реки текли.

В общем, он нас как-то уговорил пойти к нему домой – тут рядом, недалеко, на улице Марата, – и мы пошли. Молодые были, глупые, доверчивые. Очень друг друга любили, казалось, что весь мир за нас.

Старый дом, провонявший кошками подъезд, тусклый свет на площадке второго этажа, дверь обшарпанная, но с медной табличкой: «А.В. Калинин». Было уже понятно, что за дверью – тоска смертельная, последний предел. Почти никакой мебели, только голый стол, на который Ольга не решилась положить полусъеденную буханку. Два венских стула.

Он поставил на стол бутылку портвейна и долго мыл единственный стакан. Налил сначала мне. Дешевый портвешок, не помню даже марку. Ну все, подумал я, опять грелка, дубаж. Но выпил – куда ж деваться. После меня выпила Ольга, глядя мне в глаза, и я понял, какие мы с ней идиоты. А он подошел к двери, ведущей в другую комнату, открыл ее настежь, щелкнул выключателем и позвал:

– Хочу, чтобы вы посмотрели.

В совершенно пустой комнате стоял третий венский стул, над ним, на одном крюке, висели горящая лампочка и веревка, казавшаяся продолжением электрического провода.

– Осталось петлю приспособить, – улыбаясь, сказал Аркадий.

– Но вы этого не сделаете, – сказала Ольга.

Он кивнул:

– Теперь не сделаю.

Нина САДУР

Родилась в Новосибирске. В 1983 году окончила Литературный институт им. А.М. Горького (семинар В. Розова и И. Вишневской).

Драматург, прозаик и сценарист. Её книги издаются в Финляндии, Англии, Германии, Словакии, в Японии. Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

Живет в Москве.

ВЕДЬМИНЫ СЛЁЗКИ

Тихо, словно дыша, поскрипывали доски старого тротуара. В Ордынске еще сохранились такие тротуары – деревянные. Ей сказали – иди сначала по улице Сибирской до киоска, там налево к «своим» домам, и зеленый дом – ведьмин.

Девушка приготовила пятнадцать рублей и его фотокарточку. На ней он был совсем молоденький солдатик, еще до знакомства с нею, еще нежнокудрый, со светлой усмешкой пухлых губ.

Ведьмин адрес ей дала подруга, разумеется, под секретом. Галя ей сказала, что идти надо поздно вечером, ближе к ночи, и сразу взять с собой деньги.

Тротуар неожиданно кончился, и девушка ступила на землю. Вдалеке смутно маячил газетный киоск. Дойдя до него, девушка свернула налево, где начинались деревянные дома, утопающие в черной гущине черемух и кленов. Она шла по темной улице вдоль настороженно молчащих домов, в которых, ей говорили, живет много татар. Они не разрешают своим красавицам дочерям выходить замуж за русских.

Недавно здесь пролилась кровь.

Девушка подумала, что в такой темноте не сможет найти зеленый дом, но сразу нашла и поняла, что это зеленый дом, хотя был он черный, как и вся улица.

Постучала. Еще раз постучала. И еще.

Кто-то вздохнул. Тогда она начала стучать, не переставая, дрожа всем телом и прижимая к левому плечу плоскую белую сумочку с пятнадцатью рублями и фотокарточкой.

Во дворе стоял сарай. В сарае жила свинья – она вздыхала. «Наверное, заколдованная, – решила девушка, услышав, как свинья хрюкнула. «Наверное, ведьмы нет дома, в гости пошла куда-нибудь», – решила она, видя, что не открывают.

Но когда, уже совсем отчаявшись, она собралась уходить, дверь тихонько приоткрылась, обдав ее запахом жареного лука, и в тусклом свете, застувившемся в щель, она увидела ведьму.

Та ничего не спросила, глянула на нее мельком и, оставив дверь полуоткрытой, повернулась к ней спиной и ушла в комнату.

Наде ничего не оставалось, как войти без приглашения. Она, закрыв сумочкой сердце, шагнула через порог, и тут же за ее спиной дверь захлопнулась с шумом, как будто сердито.

«Сквозняк», – подумала Надя, осмелев при виде нормальной жилой комнаты. Она вышла на середину к столу, застеленному красивой, свежей скатеркой, и остановилась, ища глазами бабушку.

В этот момент что-то затрепетало в ее руках и, сделавшись теплым, испуганно дышащим, вырвалось, вспорхнув у самого лица.

– Моя сумочка! – закричала Надя, испуганно протягивая руку к белой голубке, в которую обратила ее сумочку расшалившаяся колдунья.

Она услышала смех за спиной и сама засмеялась – голубка была премиленькая, с нежными выпуклыми крыльями и кудрявым хохолком на маленькой круглой головке.

– Садись, девушка, – сказала ведьма, указывая на венский стул у стола.

Она села, глядя на ведьму, которая оказалась просто старухой в странном, очень светлом, очень грустном льняном платье с большими карманами на длинной, спадавшей печально-усталыми складками юбке.

Между тем голубка расхаживала по столу, совсем не боясь их. Только сейчас Надя заметила, что на голубиной груди пульсирует и сокращается, как настоящее, а оно и было настоящее, она не сомневалась, сердечко. И самым, хотя непонятно почему, ведь это даже не испугало ее, самым подозрительным ей показалось это маленькое алое пятнышко в середине сердечка. Пятнышко выглядело твердым и выпуклым, как камешек на медальоне. Когда на него падал свет лампы, оно испускало тонкие ответные лучи...

Ведьма стала ходить по комнате, что-то думать, казалось, она не замечает Надю. И девушка, невольно оторвав очарованный взгляд от голубки, стала смотреть на ведьму. Кроме этого, почему-то удивившего ее платья, на ведьме были белые носочки и хоть дешевые, клеенчатые, но какие-то нарядно-светлые босоножки из широких ремешков. Лицо у ведьмы было бледное, очень старое и будто плоское, словно нарисованное. И вся она, высокая, худая, очень плоская, была словно вырезана из картона.

Ведьма ходила по комнате неслышно, сосредоточенно, не глядя на Надю и ни о чем не спрашивая.

Надя тоже молчала. Она смотрела на бабушку испуганно и покорно.

Вдруг желтая занавеска на окне зашевелилась. Окно было не закрыто и только задернуто занавеской.

«Вполне возможно, что занавеска зашевелилась от ветра», – подумала девушка и сжалась. Что-то там, за занавеской, копошилось, шевелилось, толкаясь и хныча.

Цветы. Белопенные, тяжелые гроздья цветов тыкались в окно и жалобно лепетали. Они толкали занавеску упрямыми лобиками и лезли в окно.

– Пошли! Пошли! – закричала ведьма, затопала, замахала на них руками, и цветы, пища, сгнули.

Были это не цветы вовсе, а круглые светлые головки младенчиков. Чтобы от страха не умереть, девушка сжала колени, кулаками придавила их и задрала подбородок. Стала думать: «Я здесь для того, чтоб

ему, Витьке, солдату моему, лихо сделать. Надо сказать и деньги отдать сразу, и скорее, скорее...»

Она поворачивает голову в сторону колдуньи и рот открывает.

— Молчи, молчи, — машет та на нее рукой. Рука большая, в веснушках.

И тут происходит страшное. Надя знает, что оно происходит, и знает, где — на столе. И если посмотрит, сердце разорвется, не выдержит, но не может не посмотреть, как всегда в жизни: то, что нас губит, — притягивает. И взгляд, обезумевший, блуждающий, притягивает на круг света на скатерти. Голубка... Она в это время стоит, замерев, склонив голову набок. Кудрявый белый хохолок, словно гипсовый или из мыльной пены, когда в детстве голову моешь и, намылив, перед зеркалом делаешь старинные прически... Глаза пленкой затянуты. Голубка спит. И не ведает сама, что происходит: у нее, она не чувствует, потому что тревоги не испытывает, у нее клюв растет, длиннеет, изгибается, тянется к золотому сердечку, застывшему в страшном ожидании.

«Не буду смотреть, не буду смотреть», — бормочет девушка, вытаращив глаза, и боится, и знает, что сейчас будет. И знает, почему. Клюв нашарил сердечко и легонько ткнулся в алую капелюшку, и выпил... Это был не камешек, а кровь в тонкой пленке, клюв прорвал ее, выпил капелюшку, и осталась пустая выемка, как после камушка в кольце. И тут же сердце содрогнулось и замерло, а голубка, сама себя убив, упала на стол, крылья распластала, и клюв, снова, как прежде, короткий, полуоткрыт.

Сразу же пропадает уверенность у девушки в правильности задуманного, и такая слабость во всем теле, как после болезни. Но она тверда духом.

— Все равно, — говорит она упрямо. — Лиха ему хочу. Он меня обманул, не женился, я ребеночка своего убила. Лиха ему сделай.

— Встань, — говорит ведьма, и девушка встает.

— Будешь делать, как я скажу. Хоть одно слово скажешь, не получишься. Давай карточку.

Девушка берет со стола свою белую сумочку, достает карточку, мельком взглядывает: он там молоденький совсем, ясноглазый солдатик.

— Нет в твоём сердце корысти? — спрашивает ведьма.

И она уже готова сказать, что нет, но вспоминает, что молчать надо, что ведьма нарочно спрашивает, чтоб не получилось, как в игре про барыню, голик да веник. В детстве так играли. И она молчит, пусть лучше думает, что корысть у нее, а не одна только боль и отчаяние. Она стоит и протягивает карточку с его лицом ведьме, та берет, не смотрит даже, бросает в кастрюлю, такую черную, закопченную, и траву какую-то, и воду льет, и вдруг под кастрюлей ниоткуда слабый такой синий огонь и пар удушный. Ведьма стоит, смотрит в кастрюлю, бормочет что-то, руками водит и начинает зевать — это, Наде говорили, — это к ней черти приходят начинают по вызову, по заклятию. И в стороне появляется такое облачко, и в облачке маленький человечек стоит, озирается, руками машет, смешной такой! Это же он!

Все кончается, ведьма больше не зевает, провела последний раз рукой, и все пропало. Унесла кастрюлю на кухню, вернулась, села напротив Нади и смотрит сквозь нее, бледная, сейчас заснет. Покачивается на стуле, думает. Уже сделала лихо? Уже идти можно? Но девушка молчит, знает, что говорить нельзя.

— Сейчас пойдешь к реке. Задом будешь идти, не оглядываться, все пятиться и пятиться, пока не скажу «стоп». А там снимешь чулок с левой ноги и волос с левого виска, и будет ему лихо...

Она встает, выходит на улицу, и ведьма с ней. Идет к реке задом, не оглядывается, все пятится и пятится, и смотрит на ведьму, которая наступает на нее, вперив в нее пустой взгляд. Она все сделает, чтоб ему лихо? Страшно как! Они проходят по татарской улице, где кровь пролилась, они не дают своим дочерям выходить замуж за русских... Фонарь один светит, другой нет, один светит, другой нет, один светит... ведьма наступает на нее, и она пятится, как та сказала, та сама велела, а получается, что та ее преследует, а она отступает. Кончается улица, и в спину – свежий с реки ветер. Запахло водой, тиной, мазутом. Пароход где-то гудит. Уже песок под ногами. Можно посмотреть вверх? Молча же. Вверху звездочки светят, мигают, смотрят на нее, как она лихо делает любимому. Ах, как любил он, какой ласковый был, горячий, какие слова шептал... А она ему лихо... А он ее как мучил? Что же ей делать? Сейчас остановится, снимет чулок с левой ноги... У Витьки сердце томиться начнет, станет он чахнуть, зачахнет – умрет. Гулял с другими. Не будет больше гулять. А когда же остановиться-то ей? Звездочки в небе дрожат, переполох подняли, что они там ей сигналият? Скоро, скоро... Все из-за него. Сколько она мук приняла из-за него, страха. Теперь скоро. Не будет его... Никогда... Его... никогда... Но о ком будет ей страдать, проклинать некого. Будет пусто на свете, одна ночь...

Еще не поздно, надо остановиться. Или сказать что-нибудь. А то не о ком ей будет страдать.

Вот уже вода в ногах, ах, остановиться... холодная, скорей бы домой, молока с медом и спать, подушку слезами намочив... вот уже вода сжимает ноги, живот, вот уже грудь леденит. Хорошо дома спать в постели с кошкой Муркой, сквозь сонные веки – герань на окне растет... А утром на работу, потом в кино. Вот уже вода, горло... Нельзя никого никогда убивать!

– Бабушка, я!.. – бульк.

«О, Марекьяре! О, Марекьяре!» – кричат на пароходе. Проплывают радостные огоньки. Не видно оттуда, как стоит на берегу белая старуха с поднятым вверх лицом и бессильно поникшими руками. Потом бредет медленно назад. Дома свет зажигает в пустой комнате, прибирает вокруг, стулья на место расставляет и у окна садится. Ждет. За окном стон, и влезает в окно мокрый призрак в сорочке намокшей, с него каплет вода.

Призрак на колени падает, тянет к старухе бледные руки.

– Погубила меня! Меня погубила, а его – нет! Сделай лихо! И ему сделай тогда!..

– Уйди, твое место теперь там, на реке, будешь речным огоньком, над маяками будешь летать, пароходы провожать, бакенщиков пугать... Там твое место. Там воля.

Призрак ползает в ногах у старухи, просит лиха.

– Уйди, любимым разве делают лихо?

Улетает призрак, старуха пол вытирает досуха, садится опять у окна, ничего не ждет. Плачет. Ей жаль бедную девушку, такую молодую. Но спит спокойно солдатик, ничего не знает, и никто не обидит его теперь.

Хорошо доброте – она светлая, открытая, нечего ей бояться – в ней одна радость. А когда в страдании обращаются ко злу, кто знает, какие муки оно, пробужденное, выносит, бродя на поводу у боли и несправедливости.

СТУЛ

Куда поставить стул?

Все стены заставлены плотно. Дверь – сервант, телевизор, окно, шифоньер, диван-кровать, ножная машинка «Зингер» – дверь.

Ни одного просвета.

Но стул необходимо поставить. Стул не может стоять посреди комнаты. Тогда к нему нужен стол. Столик. (Большой не влезет.) Маленький, кофейный. Но она не пьёт кофе. На столик можно поставить баночки и коробку с нитками. Тогда их не нужно будет искать, они всё время будут под рукой. Ей приходится постоянно расставлять юбку и два платья, потому что она поправляется. Каждый день немного поправляется. Однажды она показала дочери: «Удивительное дело, но я похудела!» – и показала, как раздался пояс юбки. «Это не ты похудела, это твоя юбка вся растянулась от старости», – кричала дочь. Они сильно ругались из-за еды. «Ты страдаешь булимией. Нельзя эту селёдку! Нельзя жареную картошку и хлеб с маслом. Нельзя столько весить!» А она выкрикивала: «Глупости!» И каждое утро жарила себе картошку на сливочном масле. А когда дочь выходила на кухню, говорила ей ласково и заговорщически: «Хочешь жареной картошечки?» Дочь кричала, а ей становилось весело.

Ещё она говорила: «Подвинь тубаретку».

«Во-первых, это стул, – начинала дочь дрожащим голосом, – во-вторых, табурет», – заканчивала визгом.

«Тубаретку подвинь», – повторяла она, дослушав рыдание в голосе дочери. И ей становилось легко на душе. Когда-то она чуть не стала актрисой и детским врачом с белокурой коронкой на изящной головке. Но теперь она не хотела быть ни красивой, ни культурной, интеллигентной женщиной. Её увлекали простота и доступность её желаний. А дочь этого не понимала.

В малолетстве дочь была её рукой. Этой рукой она ощупывала мир. Сама боясь к нему приближаться, она посылала дочь в самые жгучие места... «Ну, что они тебе сказали?» – спрашивала она ласковым голосом и жадно вникала в детские запинки.

Лучше бы она за собой следила, эта дочь. Этот новый мужчина, который к ней ходит, вор и обманщик. «Ну какой же он вор! – кричала дочь. – Он научный сотрудник!» «Он украл мои ложки!» – парировала она. «Вот твои ложки! – рыдала дочь. – Ты ими съела моего мужа, теперь подбираешься к моему любовнику!»

А однажды дочь отстала. Каверзы больше не кололи её, и в засады не попадалась. И когда она нарочно спрашивала: «Можно мне кусочек селёдки?» – дочь отзывалась бледным голосом: «Тебе можно всё». Она посмеивалась, посмеивалась, но тёплой волны-отдачи от меткого попадания в дочь она уже не ощущала.

Красивое, удачно скрадывающее полноту платье, флакон духов и брошь-цветок она вернула дочери: «Это для меня чересчур. Не трать

такие деньги». В лице дочери мелькнула тень. Похожая на зверя. Но таких зверей на земле не бывает. Она проверяла. Она искала его у Брэма. Она его видела раньше. Видимо, во сне. Она восхищалась своими фантазиями. И тут удивилась: фантазия-зверь воплотилась в реальности, мелькнув в лице дочери тёмной быстрой тенью.

С того дня дочь стала как-то исчезать, растворяться, пока не исчезла совсем. Ей рассказывали, что дочь видели, как она роется в помойках, её едва узнали. Но и там, неузнаваемая, она постепенно таяла, таяла и растаяла вовсе.

И она про дочь забыла. Она жила разумно, аккуратно, выходила на лавочку к старушонкам, тайно подсмеивалась над их глупостями, покупала себе батон нарезной, сетку картошки и торт «Персидская ночь».

До сегодняшнего утра.

Сегодня утром она увидела, что стул стоит посреди комнаты, мешая ей ходить. Она стала думать, куда его поставить. За дверью был пустой кусок стены. Но тогда дверь открывалась не полностью и она не могла протиснуться ни в комнату, ни из комнаты. К серванту ставить было нельзя – закрывался доступ к будильнику. Ну не к телевизору же?! К шифоньеру то же самое – доступ закрывался. Можно поставить к окну, но тогда невозможно будет подойти к нему вплотную и подглядывать из-за шторы за миром, посмеиваясь над его несуразностями.

Не могло быть и речи, чтобы вынести его в коридор или поставить в любые другие три комнаты. Богато обставленные, гордые, они пугали её какой-то безжизненностью. Так они и были безжизненны, ведь в них никто не жил! Она и не заходила в них. Только один раз, взять себе этот стул. Она ещё тогда сказала: «Ну зачем нам такой большой стол и шесть стульев?» «У меня будет семья, у нас будут гости!» – ответили ей. Она встревожилась и забрала один стул себе. Теперь по праву он был её. Он принадлежал этой комнате со старой облупленной мебелью, сломанной ножной машинкой «Зингер» и окном в мир.

Она попыталась вспомнить, где он стоял до того, как она не наткнулась на него?

У серванта?

Телевизора?

Окна?

Шифоньера?

Диван-кровати?

Машинки, на которой она не умела шить?

Вспоминала-вспоминала-вспоминала...

Комната начинала кружиться.

Она хотела засмеяться. Она всегда смеялась, когда ей было страшно. И уже произнесла шутливым тоном: «Да что же это за мучение такое, в самом деле!» Как вдруг поняла, что это настоящая мука. Самая настоящая, накопившаяся и пламенная мука. Она была хитра и решила просто сесть на стул. Чтоб он не был таким пустым. Сесть на него. Но не смогла встать с диван-кровати. «Да что же я встать-то не могу? – опять с шуткой в голосе произнесла она. – Мне ведь нужно поставить стул».

Когда слёзы закончились, она увидела, что в комнате кто-то есть. Это оказался ребёнок. Первоначальная девочка, семилетка. Тощая как палка, с жёстким белокрысым чубчиком. Но это было правильно – в те страшные двадцатые годы её стригли под машинку, чтоб не завелись вши. У девочек с косичками заводились вши, а у неё нет. В глазах у девочки было восхищение. Да, каждый год – своё восхищение. Раз, два,

три, четыре, пять, шесть, семь восхищений миром! А потом? А потом она ослепла от голода. Это случилось тогда у многих, потому что был страшный голод. И вот тогда, в ослеплённом мире, впервые мелькнул этот зверь. Она вся оледенела от его небывалого вида. Но зверь стал смешно подпрыгивать, и она вначале улыбнулась, а потом рассмеялась – зверь рассмешил слепого ребёнка, девочку семи с небольшим лет, и она подумала: «Вот, я слепая, а у меня открылась богатая фантазия». А потом и зрение вернулось, и фантазия осталась с ней. Зверя она больше не видела, но смешные прыжки ощущала часто и поэтому много смеялась.

Да, но в этой девочке, стоящей перед ней, не было следов ослепления. А свет восхищения был. Крылья, правда, были не совсем белоснежные. Вернее, совсем не белоснежные. Они огненные были. «Значит, у них наши лица, – поняла она, – наши, когда мы были первоначальными детьми. До ослепления. Теперь всё. Всё будет. Всё будет правильно», – поняла она.

И ангел взял стул и поставил его на место.

– Спасибо, – прошептала она и закрыла глаза с восхищением.

Евгений ОБУХОВ

Родился в 1954 году в Московской области. Окончил Московский пищевой институт, работал инженером, служил в армии в Заполярье. С начала 1980-х годов – в журналистике. Работал спецкором журнала «Крокодил», завотделом юмора «Литературной газеты», главным редактором журнала «Аншлаг». С 2005 года – главный редактор журнала для коллекционеров «Филателия».

Автор сборников прозы, стихов и пьес, ряда книг по филателии, в том числе – Государственных каталогов знаков почтовой оплаты. Лауреат премий «Литературной газеты», «Крокодила», «Московского комсомольца» и др.

Член Союза писателей России. Живёт в подмосковном Дедовске.

«СТАЛИНСКАЯ» КВАРТИРА

В той квартире были высокие потолки и высокие-высокие подоконники. Лера подходила, вставала на цыпочки и клала подбородок на прохладную, крашеную белой глянцевой краской, но уже сильно потёртую и исцарапанную поверхность. Так ей удавалось разглядеть уголок двора с кирпичными воротами, увенчанными жестяным кокошником – этакой миниатюрной триумфальной аркой, возведённой как раз в год Победы... А также – рубиновые звёзды Кремля на огромном транспаранте, что скрывал стену соседнего дома. Весь этот торец был глухой, и лишь на уровне второго с половиной этажа, справа от нарисованной Спасской башни, проглядывало маленькое окошко. Иногда по вечерам там горела лампочка и был смутно виден пожелтевший кафель на стене и изогнувшийся подсолнух душа.

Во дворе вдоль ограды кучами были свалены дрова. А чтобы их не украли, протащив чурки и доски между штакетинами, жильцы обвили ограду проволокой и натыкали, переплетя их, толстые ивовые прутья. Но когда ворота были открыты, дрова всё равно воровали, улучив момент и суматошно забежав прямо во двор, набросав в охапку, сколько успевали до первых криков глядящих из окон старух. Из-за этого все жильцы старались поскорее нарубить свои деревяшки и затащить в квартиры, сложив за печками.

Отец таял дрова по воскресеньям. Лера стояла рядом, не слушая предупреждения: «Отойди, отойди подальше, а то щепка отлетит!», – и глядела, как купленные, чтоб подешевле, сосновые обрезки превращаются под топором в перебитые надвое-натрое палки, ершащиеся на изломах сотнями колючих иголок-волокон (по причине тупости топора и упрямости отца, твердившего не первый год кряду, что и так сойдёт).

Зимой, когда мороз и солнце, дрова хрустели под топором особенно звонко, а свежая открывшаяся древесина пронзительно пахла смолью и была совсем не холодной, если приложить колючую щепку к щеке.

Лера догадывалась, что существовала и ещё одна причина, по которой отец, покрёкивая на морозце, рубил дрова именно по воскресеньям с утра. В эти часы улица наполнялась народом, спешащим к открытию магазинов. Этот народ шёл мимо и, наверное, вспоминал отвлечённую логику довоенного анекдота про связь селёдки и естественных надобностей: раз отец рубит дрова, значит, есть печка; а если есть печка, есть и собственная настоящая-пренастоящая квартира, где эта печка стоит.

Спустя много лет она поняла, что отец с этой гордостью и с этими дровами был совсем ещё молодое двадцатисемилетнее пацанво – дразня обитателей шумных бараков, он выходил рубить дрова в ушанке со звёздочкой и в гимнастёрке с колодками и двумя нашивками за ранения. Но весь его хитрованный вид будто бы сигнализировал прохожим: я вовсе не выпендриваюсь, демонстрируя на морозе эту орденоносную символику, мне просто жарко. И я не виноват перед вами всеми, что так совпало – и фронтовик, и обитатель своей квартиры в таком шикарном доме, и живой...

Дом в городке знали все, и звали то «сталинским» (стараясь хоть так подчеркнуть родство с новостройками центральных улиц Москвы), то – «блюмовским». В праздники дом оказывался самым красивым – его четыре ряда балкончиков расцвечивались флагами, а над карнизом обновлялся постоянно развёрнутый транспарант «Великий Сталин – творец народной Конституции!» В эти праздники мать-героиня Блюмиха вытирала своим Блюмам носы, и они – все одиннадцать – вываливались гулять в свой двор без ограничения времени пребывания, то есть, до полного оголодания или до абсолютного промокания и окоченения.

Дымили печные трубы, и поэтому под сталинским транспарантом дом был похож на мощный лайнер, плывущий в сторону солнца к светлону будущему...

...Разговор о печке зашёл случайно. В минувшем феврале поднаметало такого снега, что даже Серегин внедорожник, едва уткнувшись в просёлок, спасовал перед стихией. И они тогда развернулись, уехали обратно в город. И три недели не показывались на даче, пока не позвонил сторож и не сообщил, что от трассы прошёл грейдер и теперь дорога до самых ворот «как стекло, как рушник стелённый»... Приехали в начале марта, и выяснилось, что за прошедшее время в дачу забрались какие-то уроды – нагадили, выжрали мартини и утащили с первого этажа всё более-менее ценное (второй этаж и гараж вскрыть не сумели). В том числе унесли и филипповский четырёхкиловаттник.

– Тёплый ватник – киловаттник... – бурчал муж, обрывая фразы. – Сторож, блин... Может, и сам помогал выносить... А нет – все равно дебил... Камин теперь пока растопишь...

– Растопишь, не развалишься, – парировала Валерия. – И не отлынивай, оденься потеплее и чтоб мне ни капли там! Вот список, чего из погреба достать. Возьми с собой, я тебе туда сто раз кричать не стану. Одну бутылку вынь сюда, а в погребе не открывай, не пей! Слышишь, что ль?

– Ла-адно... – он ушёл с ключами в гараж, осторожно и чуть брезгливо ступая по глубоким следам, оставленным неделю-две назад неизвестными ворами.

Потом он возился с камином, а Лера – слово за слово – рассказала о старом доме, который в далёком городке все звали «сталинским», о печках, о шикарной отдельной однокомнатной квартире с видом на рисованный Кремль.

Громче всех гоготал Мудраков, который недавно купил хату на Тверской и которому именно поэтому теперь любые разговоры о чужом жилье, заведомо более убогом, были приятны. А уж разговоры о таком ухлебищном доме!..

Мудраков расплескивал пиво на брюки, но не ставил бокал, а продолжал утробно ржать с тарой в руке:

– И, говоришь, прям в комнате печка, и дрова за ней? Ну, Лерка, ну утомила! Ста... талинская квар... тира! Ай, Серёга, супружница у тебя крутая, как Задорнов, который юморист! Я прям тащусь!

За столом делалось легко, разговоры с приехавшими приятелями переходили на виденное по телеку шоу молодых дарований (почём, интересно, они башляют?), на модного визажиста (как попасть и почём?) и на магазин тканей от кутюрье (или для кутюрье, неважно, блин), где есть чудо (тут жёны Мудракова и Бобкова, жестикулируя перед носом Леры, энергично закатывали глаза), ну прямо чудо почти по четыреста евриков за метр. Если из куска. А мерные лоскуты не в пример дешевле, хотя чудо – тоже...

...Валерия не была в городке тридцать два года. Муж, как обычно, ворчал: ради оформления наследства на такую хрень, как конура в полуразвалившемся доме, можно было не срываться с места – послать человечка с доверенностью, он бы всё устроил. Но Лерка раскапризничалась, настояла и поехала. Правда, на машине муж не пустил, велел не рисковать и спокойно ехать поездом.

Что сразу бросилось в глаза – в городишке было не в пример мало коммерческих киосков. «Тоже, что ли, борются...» – хмыкнула она, вспомнив мощные наскоки московских властей. И даже тусклая вывеска «Обмен валюты» в центре возле вокзала выглядела мелко, одиноко и стыдливо, будто извещала о наличии интимных принадлежностей. Улицу узнала по оврагу – вот каланча с облезлой штукатуркой, дальше стоял трёхэтажный дом с Кремлём, но его уже не было. На месте разбили сквер. А «сталинский» – вот он.

Лера рассмеялась: на фасаде болталась под ветром забытая много лет назад часть некогда громадного транспаранта: «...народу – строителю ко...» Бабка, ловко орудовавшая палкой в мусорном баке, оглянулась на этот смех, застыя от солнца. Валерия застеснялась и спросила невпопад:

– Извините, блюмовский дом – этот?

– Этот, – сказала бабка. – Вам к Блюмам, или просто так?

Лера немного удивилась, что Блюмы живут в этом доме до сих пор. Но тут же рассудила: «А почему же им тут не жить?», и ответила:

– Просто так.

И старуха потеряла к ней всякий интерес.

Кирпичные ворота обрушились или были разобраны на гаражи. Остались только два огрызка столбов дореволюционной ещё кладки. Дом стал жалкий и маленький – пятиэтажный, он выглядел беднее столбичной хрущобы.

Нотариус принимал с девяти, время ещё было, и Лера вошла. В коридоре пришлось нагнуться, чтобы не задеть чёрный свисавший с по-

толка кабель. Ключ, оставленный отцом лет восемь назад, во время последнего его приезда, сработал на удивление легко. Входя, она зачем-то ещё раз пригнулась или поклонилась.

В комнате бросились в глаза серые покрывала, наброшенные на кресла, на кровать, на шкаф и на коробки со всякими вещами в углу. Печка стояла всё так же величаво, лишь с угла побелка и глина стёрты до кирпичей – в последние годы отец цеплялся за угол ладонью, шуруя кочергой в топке. В плетёной корзине лежали, покрытые паутиной, несколько кусков антрацита.

Лера скинула шубу на кровать, подошла к окну. Сапоги на высоких каблуках позволили ей не очень тянуться вверх – она лишь чуть-чуть привстала на цыпочки и положила подбородок на гладкий, покрашенный белой глянцево́й эмалью, подоконник.

В окно было видно небо и маленький уголок двора. Там у забора молодой человек рубил дрова.

СЕРЖАНТУ НИКТО НЕ ПИШЕТ

Поздно вечером хулиганы испортили почтовый ящик. Сержант слышал, как они гоготали в подъезде. Но пока оделся, пока вышел и спустился на полтора этажа, эти твари разбежались, а дело было сделано: дверца скособочилась на одной петле, выломанный искорёженный замочек валялся на полу среди подсолнечной шелухи и окурков.

Сержант вынес молоток, загогулину мягкой проволоки. Постучав по вмятинам, немного выпрямил дверцу и привязал её ко второй петле.

Соседка из седьмой загремела задвижкой, выглянула, жмурясь на тусклую подъездную лампочку:

– Эй, ты знаешь, скока сейчас время?! Время сейчас знаешь? Ни стыда, ни совести!

– Чего раньше-то не высунулась, когда тут ломали всё?

Сержант беззлобно замахнулся на неё костылём, и та скрылась, хлопнув дверью. Доделав работу, он отправился обратно на свой этаж. А по пути наклонился к замочной скважине седьмой квартиры:

– Тридцать пять двенадцатого, вот сколько!

Он зажёл свет на кухне. Тараканы – весёлые ребята – замельтешили по столу и по плите, прячась.

– Вспышка справа! – привычно скомандовал им сержант, и дрессированные сожители организованно скрылись вовсе.

Он взял с подоконника первый попавшийся конверт, вынул письмо, скомкал, не читая, и вытер бумажным комком стол. Собрался порезать хлеб, но, вспомнив только что резвившихся тут насекомых, разорвал ещё один конверт и расстелил белые листки бумаги текстом вниз.

Сержант ел яйца, днём ещё жареные с луком, поглядывал на телефон. Наконец, отодвинул сковороду и, покрутив диск, набрал номер службы точного времени. Киоск у соседнего дома ещё работал.

Сержант побросал посуду в раковину, на всякий случай покрутил краны. Но с прошлого года, когда начальника службы водоканала повысили и выбрали главой поселковой администрации, водопровод стал отключаться чуть не каждый день.

Он шёл по двору, стараясь попадать чёрной резинкой костыля на шершавые участки асфальта, уже вытаявшего из-под льда. На сгибе локтя болталось пластмассовое ведро. У колодца, несмотря на поздний час, были люди. Но сержанта пропустили без очереди. Мужичок в спортивном костюме, ёжась от ночного морозца, налил сержанту чуть больше полведра воды, чтоб не расплескал по дороге. В ней плавали искрящиеся под фонарём льдинки, бились о стенки.

Докостыляв до киоска, сержант выбрал четвертинку водки с самой яркой этикеткой, приобрёл её и за неимением удобных карманов булькнул прямо в ведро с водой. Помедлив, он купил жетон.

Старый телефон-автомат возле торговой точки был вполне дееспособен. После семи гудков вызова на другом конце провода включился автоответчик.

– Привет, отшельник! – бодро надиктовал сержант. – Как дела? У тебя всё пучком, я надеюсь, в порядке, типа? Ну, держись, чёртушка, не пропадай! Бай-бай! Человечество тебя любит!

Вернувшись домой, сержант набулькал водки и выпил. Посидел молча, прислушиваясь к организму. Стало приятно.

Он вымыл руки, поливая себе из кружки то на одну, то на другую ладонь. Вытер их очередным письмом, взятым из стопки на подоконнике. Выбрасывая промокшую бумагу в ведро, успел прочитать: «Уважаемый избиратель! Надеюсь, что, непременно посетив участок для голосования, Вы поймёте, что лишь моя кандидатура...»

– А интересно... – буркнул сержант. Он нашел в куче точно такой конверт и посмотрел на агитке фамилию кандидата. Этот конверт вместе с вложением тоже выбросил.

Допив водку, сержант побродил по квартире без костыля, хватаясь за мебель и приволакивая ногу. Вернулся на кухню и нажал клавишу автоответчика. Долго ничего не было слышно, а потом металлический и не узнаваемый им голос бодро сообщил:

– Привет, отшельник! Как дела? У тебя всё пучком, я надеюсь, в порядке, типа? Ну, держись, чёртушка, не пропадай! Бай-бай! Человечество тебя любит!

– Как дела, как дела, – сержант повторил искажённое словечко, наклоняясь с кружкой к ведру. – Нормально дела, пучком.

Он зачерпнул ледяной воды. В ней ещё плавали льдинки, но уже таяли.

Наталья РОМАНОВА-СЕГЕНЬ

Родилась в 1975 году в селе Леуши в Тюменской области. Окончила Уральский государственный педагогический университет. Специалист по социальной работе, по второму образованию – учитель экологии. С 1998 года проживала в Великом Новгороде, работала в психотерапевтическом центре, внештатным экскурсоводом Новгородского государственного музея-заповедника. Автор романа «Гефсиманский сад», ряда повестей и рассказов.

Лауреат литературных премий «Русский позитив» Российского Фонда мира, «Патриот России» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, премии им. Л.М. Леонова журнала «Наш современник». Награждена Золотой медалью Пушкина и Золотой медалью Есенина академии русской словесности им. Г.Р. Державина.

Член Союза писателей России. Ныне живет в Москве.

ФАРФОРОВЫЕ КУПОЛА

Анастасия проснулась раньше будильника. Целых пятнадцать минут свободы! Уняв нажатием пальца трепыхающийся будильник, еще немного полежала в постели. Вставать не хотелось из-за холода. Несмотря на последний месяц весны, в квартире было, как в ледяной избушке. Батареи отключили несколько дней назад, как раз когда зацвела черемуха. А черемуха, как известно, цветет к холодам.

Поцелуем в нос Настя разбудила мужа.

– Как, уже пора? – пролепетал он.

– Еще как пора, – отозвалась Настя. – Ты первый в ванную!

Иван не заставил себя долго уговаривать. Прильнув на секунду к жене, он соскочил с кровати и отправился принимать душ.

«Лежи не лежи, а вставать все равно придется», – с этой мыслью Анастасия храбро шагнула в темноту промозглой комнаты.

Сегодня Тихоновы нарушили привычный ход утра. Они готовились к причастию, поэтому завтрак отменялся. Настроение у обоих было приподнятое. И потому, что предстояло идти в храм, и потому, что подтверждалось то, чего пришлось Тихоновым ждать долгих шесть лет. Настя беременна! Несколько дней назад она встала на учет в женскую консультацию, а на сегодня ей назначено УЗИ. Ей попался на редкость душевный доктор – Светлана Васильевна Филимонова, развеявшая все ее страхи и опасения:

– А то, что шесть лет у вас не было детей, не переживай. Значит, до вас еще очередь тогда не дошла. У Бога все под контролем. Вы вот сокрушаетесь, а вдруг бы больной ребенок появился, и вам мука, и ему страдания. Бог всегда нас от беды отводит. А мы печалимся и сокрушаемся вместо того, чтобы радоваться.

– Мы радуемся, радуемся! – улыбнулась Анастасия, удивляясь, что врачиха говорит, как священник.

– Возраст подходящий у вас, тебе двадцать восемь, мужу тридцать. И мудрые уже, а еще не старые.

Пациентка Тихонова, соглашаясь, кивала.

– Спасибо вам, Светлана Васильевна.

– Бога благодарите, меня пока не за что. – И врач Филимонова принялась делать записи в карту Анастасии.

Первым делом после женской консультации Настя отправилась в храм. И не только потому, что докторша велела благодарить Всевышнего. Настя верила в Бога, они часто с мужем ходили в церковь. И вообще, зная супругов Тихоновых, можно было бы со всей ответственностью заявить, что они являли собой пример добропорядочных христиан. Часто Тихоновы советовались со своим батюшкой-духовником, отцом Михаилом, исповедовались ему, делились радостью и печалью. Вот только в последнее время он слёг в больницу и, похоже, надолго. На другой день после консультации у Светланы Васильевны Настя с Иваном отправились к нему туда и исповедовались прямо в больничной палате, а перед УЗИ он благословил их причаститься в любом храме. Вот почему в назначенный день они встали пораньше.

Тихоновы жили за городом, от дома до станции идти пешком три километра. Ну и пускай машина в ремонте! «Нужно больше ходить», – так сказала врач.

– Может, все же тормознем кого-нибудь? – Иван видел, что жена идет с трудом. У нее в последнее время сильно болела спина. Он стал ловить машину, но редкие легковушки неумолимо пролетали мимо них, а вскоре совсем куда-то как провалились.

– Лучше прогуляемся, – сквозь боль произнесла Настя.

– Однако холодно!

– Да тут идти-то осталось совсем немного. Давай пешочком.

– Сейчас на службу ходим, исповедуемся, причастимся, а потом ты на УЗИ. – Иван радостно посмотрел на жену.

Настя выглядела отстраненной.

– Болит? – участливо спросил муж.

– Невозможно, – еле выговорила Настя.

– Давай вернемся, – предложил Тихонов, но в ответ Анастасия покачала головой. Муж позвонил по мобильнику в службу такси. Там ответили, что машина может приехать только минут через сорок, и Настя отказалась ждать:

– Пойдём, Ванечка, мне уже полегче.

Но боль с каждым шагом только усиливалась, захлестывала не только в спине, но и отдавала в ногу. И до беременности у Насти периодически возникали такие боли. Защемление седалищного нерва. Тихоновы шли медленно, с остановками. Настя то и дело постукивала себя чуть выше копчика, наклоняясь вперед и в стороны. Наконец она не выдержала и расплакалась.

– Так больно, что даже потряхивает, – сквозь слезы жаловалась она мужу.

– Все, разворачиваемся! – приказал Тихонов. – Надо было как только отошли от дома, идти обратно.

Они присели на лавочку, Настя наклонилась вперед.

– Еще, как назло, холод собачий, чтобы сидеть тут. Когда не надо, эти машины не унять, стоями тут роятся. Когда надо – ни одной не

сыскать, – Иван был раздражен, поскольку не знал, как помочь жене. – Давай, Настюша, домой потихоньку двинем.

– Обидно... Прошли ровно половину.

– Что поделать. – Иван встал с лавки.

Настя все еще сидела, наклонившись вперед.

– На УЗИ так и так придется сегодня идти. У них там все расписано надолго вперед. Это Филимонова постаралась, чтобы мне сегодня назначили. Да и на прием к ней надо завтра с результатами обследования.

– Сейчас вернемся домой, я на работу, а ты днем такси вызовешь и съездишь на УЗИ.

– А на причастие?

Иван развел руками, затем сел на скамью, притянул к себе жену.

– Не проходит?

– Нет.

Помолчали.

– Это лукавый с нами так поступает, – с уверенностью сказал Тихонов.

Настя с жалобной улыбкой посмотрела на мужа.

– Точно! – Иван снова встал. – Это он нам такую боль насылает.

– Но вчера у меня тоже болело. И позавчера, – возразила Настя. – Если бы только сейчас разболелось, то можно было бы про лукавого вспомнить. Нет, Ваня, он здесь ни при чем. Нечего зазря все валить на черта, – улыбнулась она.

– Это он, – заявил муж тоном, не терпящим возражений, – он не хочет, чтобы мы шли на причастие. Что тут непонятного?

– Я тоже загадала, – вздохнула Настя, – если сегодня сходим в церковь, причастимся, то и УЗИ пройдет нормально, да и беременность тоже...

– Тогда встаем и идем, – Иван взял холодную руку жены. – Перчатки почему не надела?

– В мае? Скажешь тоже, – фыркнула Настя и встала со скамьи.

Оставшуюся часть пути они прошли чуть бодрее, возможно потому, что она немного посидела на лавочке, спина чуть отдохнула, а может, еще почему.

Их целью был новый храм, построенный недавно на соседней станции, очень необычный, с разноцветными и яркими куполами, выполненными из фарфора. Когда проезжали мимо, всякий раз любовались на эти фарфоровые купола.

С расписанием электричек творилась чехарда, особенно после недавнего столкновения на этой линии двух поездов – товарняка и пассажирского. Расписание электричек сдвинули, и Тихоновым пришлось ждать очередную аж тридцать минут.

– Что-то и впрямь никуда нас не хотят сегодня пускать, – засмеялась Настя.

Через утренние тернии Тихоновы, наконец, подходили к собору.

– Красота! – Настя остановилась, в который раз потрясенная величием святым зрелищем.

В лучах утреннего солнца ярко горели могучие золотые кресты над разноцветными фарфоровыми куполами. Тихоновы нечасто бывали в этом дивном храме, обычно ездили в Москву, в храм отца Михаила, но несколько раз нарочно приезжали сюда. Новый просторный храм задавал тон, настраивал на светлое и радостное. Здесь легче дышалось, и необычная сказочная архитектура завораживала.

Шла служба. Народу совсем мало. «Храм на три тысячи человек, а сейчас здесь не больше двадцати», – подумала Настя, но отринув посторонние мысли, тут же погрузилась в молитву.

Возле места, где обычно проходила исповедь, стояли несколько женщин. В руках одной из них зажат листок бумаги. Хотя Настя совсем недавно исповедовалась отцу Михаилу, но сейчас снова попыталась вспомнить о своих грехах. На ум ничего не приходило. «Что же ты, безгрешная?» – укорила она себя. Пусть ничего такого не совершила, вспоминай по мелочам. Обидеть, вроде бы, никого не обидела, плохого не желала. Наоборот, у нее два месяца, с того самого момента, как стала подозревать, что беременна, такая любовь ко всему человечеству проснулась, что готова прийти помочь каждому, обогреть и приласкать. Но батюшке обязательно нужно что-то сказать. Вспоминай! Настя еще больше напрягла память. Лень! Особенно в последнее время. Хочется спать и ничего не делать. И хоть Филимонова сказала, что это свойственно беременным, все же Настя отнесет это к греху. Уныние! Иногда становится страшно и беспокожно за будущее. Светлана Васильевна вчера ее успокоила, заверив, что все будет хорошо, но, как ни крути, уныние – это сомнение и даже неверие... И Настя, успокоившись, что и у нее есть грехи, о которых она поведает батюшке, влилась в общую молитву.

Время от времени Тихоновы переглядывались, радуясь друг другу. Как хорошо, думал каждый из них, как хорошо. Мы любим друг друга, у нас будет ребенок. Слава тебе, Боже, благодарим за все!

– Как спина? – шепнул Иван. – Посиди, – он кивнул на лавочки возле стены.

Настя махнула рукой, дескать, терпимо.

Приближалось таинство причастия, а исповеди как нет, так и нет. Одна из девушек куда-то пошла узнавать. Вернувшись, разочарованно сообщила, что исповеди не будет.

– Почему? – удивилась Настя.

– Потому что сказали, что никого не было на исповедь, когда батюшка выглядывал.

– Значит, пойдем без исповеди на причастие, – твердо сказал Иван, – тем более, отцу Михаилу четыре дня назад исповедовались.

– А...

– А причастие – это главное, для чего мы здесь. Мы к нему готовились. Постились, читали молитвы. И у нас сегодня такой важный день!

На амвон вышел батюшка с чашей для святого причастия. Большой такой священник, лет тридцати, с рыжими волосами, могучим лбом, меднолицый. Суровый. И такой безрадостный, будто не причащать собрался, а совершать какую-то тяжкую повинность. Его помощники стояли по бокам. Скрестив руки, перед священником выстроилось пять человек, их замыкали Тихоновы.

– Иван, – сказал Иван, подойдя к чаше.

– Исповедовались?

– Да.

Причастившись, муж отправился за теплотой. Настя последняя из всех шагнула к батюшке. Но вдруг... батюшка сердито развернулся и медленно удалился в алтарь. Даже как будто с некой обидой. Помощники за ним. Настя со скрещенными на груди руками растерялась и заморгала, чтобы не расплакаться.

– А тебе что, не положено, что ли? – спросила старушечка, стоявшая почти рядом с Настей, а та не могла ничегошеньки ответить – мешал ком, подкативший к горлу. Да и ответить-то что?

– Тебя не причастили?! – Иван во все глаза смотрел на жену.

А она, еле сдерживаясь, чтобы не разреветься, устремила к выходу. Значит, все будет плохо! Значит, УЗИ покажет какую-нибудь патологию, вертелось у нее в голове. Значит... Еще ей вспомнилась Елизавета Федоровна, алапаевская мученица. Настя понимает, каково ей было, когда она не могла причащаться вместе с мужем! Но там совсем другая история. Великая княгиня Елизавета поначалу была лютеранкой, поэтому и не могла причащаться вместе с Сергеем Александровичем, пока не приняла православие.

Настя встала неподалеку от входа в храм. Тут уж слезы вырвались наружу. Ей было очень обидно. Все утро пролетело перед глазами. Не хотелось вставать в холод. Три километра пешком с дикой болью в спине. Долгое ожидание электрички. И главное, почему ей отказано в причастии?

Тот же вопрос задал Иван священнику. Он, прежде чем выскочить за женой, первым подошел к батюшке поцеловать крест.

– Почему? – удивился священник. – Я ее не знаю.

– То есть?

– Я ее не помню. Вчера у меня на исповеди ее не было.

– Ее не было вчера у вас на исповеди. И меня тоже. Вчера она не могла. Но мы готовились. Мы исповедовались у нашего духовника.

– Вот к нему и идите причащаться. А если ко мне, то надо накануне мне исповедоваться.

– Но он в больнице.

– Не надо создавать хаос! Вашей жены у меня на исповеди вчера не было. Что тут непонятного? С миром изыдите. – И батюшка протянул высокий крест следующему.

«Вчера не было...» Иван аж задохнулся от возмущения. И это после причастия! Не было потому, что не могла. Не было потому, что думали с утра исповедоваться. Не было потому, что мы к вам не собирались, а получилось, что пришли. Не знаете ее, потому что нам редко удастся к вам выбираться, далеко мы от вас живем, за десять километров.

– Поздравляю тебя с причастием. – Заплаканная Настя поцеловала мужа. – Почему меня не причастили? – Она заглянула ему в глаза. – Может, он как-то понял, что я беременная, а беременным нельзя?

Расстроенный Иван покачал головой.

– Сказал, что тебя не помнит, не знает. Конечно, такую красавицу он бы запомнил! На исповеди, говорит, тебя вчера не было. Так и меня не было. Как видишь, моя внешность не достаточно ярка, чтобы меня помнить или нет, – усмехнулся Иван.

– То есть надо было вчера приезжать сюда к нему исповедоваться?

– Ну да, получается, так. Но так не должно быть. Помнишь же, мы недавно читали...

– Ну да, что исповедь перед причастием желательна, но это не догмат и не канон.

– В греческой церкви вообще не всякий раз исповедуются перед причастием.

– Но у нас заведено иначе. – Анастасия вроде бы уже и защищала меднолобного батюшку.

– И все же то, что он нас не знает, не дает ему права отказать нам в причастии! Почему он заведомо думает о нас, что мы плохие? А еще помнишь, мы читали речи покойного Алексея Второго про младостарчество.

– Ну да, что некоторые, особенно молодые священники взяли моду придумывать разные свои нововведения.

Настя оглянулась на храм. Фарфоровые купола в солнечных переливах уже не так радовали глаз.

– Такой светлый храм, и на тебе...

В Москве, проводив Настю до поликлиники, муж отправился на работу. Настю ничего уже не радовало, ни долгожданная беременность, ни предстоящее УЗИ. Наоборот, возрастало беспокойство. Словно она осталась без важной поддержки. Дурной это знак – не причастилась, сейчас обязательно случится что-то плохое. И зачем только загадывала...

Однако вопреки ожиданиям пациентки Тихоновой никакой патологии на двенадцатой неделе беременности не выявили. УЗИ дало прекрасные результаты.

Весь положенный срок Настя отходила хорошо и благополучно разрешилась крепким мальчуганом, его в честь свекра назвали Борисом.

Прошло два года. За это время похоронили отца Михаила. Настя и Иван теперь немного реже ходили в церковь, чем до родов сына. В том праздничном фарфоровом храме и вовсе не были с того самого Настинного непричастия.

Но в один из субботних вечеров жена предложила мужу съездить на соседнюю станцию.

– Зачем? – удивился Иван.

– По парку погуляем.

Пока Настя одевала сына, муж прогрел машину. Новую, недавно купленную. Поехали.

Храм был виден издалека.

– Все равно красавец! – сказала Настя, залюбовавшись куполами, хотя теперь они виделись ей пусть и прекрасными, но холодными из-за своей фарфоровости. – Однако мы туда не пойдем.

Но, погуляв по парку, в котором весело и деловито скакали белки и сойки, она переменяла решение.

– Хочешь, ты сходи, а я с ребенком погуляю, – пожал плечами Иван. – С этими подработками вообще сына не вижу.

В храме шла служба. Настя на цыпочках прошла в конец собора. Там небольшая очередь выстроилась к батюшке на исповедь. Тихонова взглянула на священника. Он! Внезапно спину пронзила уже подзабытая за два года боль. Ей захотелось выйти из храма, но она пересилила себя и встала в очередь на исповедь.

Настя смотрела на батюшку, на его большой лоб, на суровое лицо, пытаясь унять в себе раздражение. Зачем я здесь? Зачем? Надо поставить свечи и идти к мужу с сыном, но что-то не давало ей выйти из очереди.

Наконец священник кивнул ей. Анастасия подошла и назвала имя. Батюшка внимательно смотрел на прихожанку, ожидая исповеди. Но Настя молчала, не зная, с чего начать.

– В чем вы хотите покаяться?

– В том, что я два года злюсь на вас.

– На меня? – батюшка сделал мелкий шагок назад.

– На вас, – с вызовом подтвердила Анастасия. – На вас.

– Давайте разбираться, – устало сказал батюшка. – Чем я вас неволь-но обидел? Я вас не знаю.

– И я вас. Скажите, а как вас зовут, чтобы я могла к вам обращаться.

– Отец Борис.

«Борис? Вот так да!» – обрадовалась Анастасия.

– А мы сына так называли! В честь отца мужа.

– Поздравляю. Крестили?

– Разумеется.

– Причащаете?

– А пустите? Ведь вы же его не знаете!

Отец Борис пронзительно глянул на Анастасию. Она набралась смелости и рассказала ему историю, случившуюся в позапрошлом мае. Лицо священника покрылось мелкими восковыми капельками пота. Выслушав, отец Борис повернулся к иконостасу и долго крестился. Потом повернулся к Насте, помолчал и, словно переступив какой-то трудный порог, заговорил:

– В тот день после службы у меня невыносимо разболелась голова. Ни таблетки, ни массаж не помогали. Потом начались сильные боли в спине. Я еле добрался до дома и сразу же рухнул в постель. Уснул мгновенно. А проснулся в поту и страхе. Мне приснился Спаситель.

– Христос?

– Да. Он стоял у меня за спиной, я не мог к нему повернуться, но понимал, что за спиной у меня именно Он. И Он стал бить меня плетью по спине и ниже. Я упал на колени. Прошу прощения у него, а сам не знаю за что. «Не знаешь? – слышу за спиной Его голос. – А по какому праву ты моей плотью и кровью распоряжаешься как своей?» И лупцует меня. На этом я и проснулся. Знаете ли, заревел тогда. Страшно, когда Бога гневишь. И главное, никак не могу понять, чем. Еле встал с постели. Спина болит. Я к молитвам. Потом к своему духовнику поехал. Рассказал ему все. Он выслушал меня и говорит: «Вспоминай по минутам действия и помыслы на литургии». И меня тут осенило! «Да ведь я женщину одну не причастил!» «Почему? – спрашивает духовник. «На исповеди ее не было. Не знаю я эту женщину». Мой духовный отец сначала мне ничего не сказал, а потом и говорит: «Вот взять дрын, да и дрыном тебя как следует. Да и так уже тебе и без меня досталось. Порой, – говорит, – слишком много мы на себя берем. А мы-то кто, если разобраться? Посредники».

Отец Борис замолчал.

– Я прошу простить меня, – сказал он, глядя в глаза Анастасии.

Насте стало неловко. Она два года злилась на отца Бориса... А он куда страшнее ее страдал!

– И вы меня, – пролепетала она.

– А Бориса вашего приносите ко мне на причастие, прошу вас! И сами с мужем причаститесь у меня, пожалуйста!

– Слушаюсь! – Настя поднесла ладонь к виску, как бы отдавая честь тому, которого еще недавно так ненавидела.

Священник одобрительно усмехнулся. Надо же, какой теплый у него может быть взгляд!

Возле храма поджидал Иван с сыном.

– А этого батюшку тоже Борисом зовут. – Настя подняла голову и посмотрела на купола. Их фарфоровая величавость и торжественность вновь наполняли душу ликованием и радостью.

Павел ТУЖИЛКИН

Родился в 1953 году в селе Плюхино Семеновского района Горьковской области. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт.

Публиковался в журналах: «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Роман-журнал XXI век», «Крокодил», «Нижний Новгород», ряде других изданий. Автор сборников стихов и прозы. Лауреат национальной премии Союза писателей России «Имперская культура» за роман-предположение «Пламенный» о жизни Серафима Саровского (2011), Международного конкурса искусств «Чистое детство» (2006, 2011).

Член Союза писателей России. Живет в Сарове.

БАБА ГРУНЯ

Деревня Вшивка умирала. И так-то не шибко большая была (в хорошие времена всего тридцать семей хозяйствовало), а тут и вовсе захирела. В зиму только пять домов живыми глазами поблескивали. Все остальные избы дачники выкупили, а они зимой по теплым городским берлогам залегали.

И дело не в странном названии деревеньки. Вшивкой она была названа не потому, что там вши водились более обильно, чем в других деревнях. Просто у нее имени не оказалось при царской переписи. Вот и вшили в дело между двумя соседними деревушками Кафтейкой и Жулейкой бумагу, где указывалось несколько дворов на берегу речки Липлейки. Вшили да так и стали именовать – Вшивкой. Русские люди неприхотливые. Живут, где понравится, а не где лучше. К тому ж на всякий случай у народа всегда красное словцо имеется. И тут народ не оплошал – хоть горшком, говорит, назови, только в печь не ставь. И то верно. Разве в названии дело? Главное, как хозяйствовать. Но, по правде сказать, особо-то хозяйствовать не давали. То колхозы, где всё силком да по команде сверху, то налоги на каждую курицу и каждый кустик смородины, то трудовни, за которые шиш с маслом выдавали. А уж работали с утра до ночи. На свое хозяйство еле времени хватало. Ну да ладно. Прожили ведь как-то. А разбежались все из деревни не потому, что по-особому на свете плохо жить стало. Просто в городе житье так ладно устроилось, что никому уже не хочется в земле ковыряться. Вот и остались во Вшивке только пять старух: либо одинокие, либо упрямые – которых даже дети уговорить не могли бросить родные места и перебраться в уют теплых и светлых городских хором.

Баба Груня была из упрямых. Уж сколько ее сын звал в город! Не поехала. Нет, в гости-то, конечно, разок, когда помоложе была, скаталась. Надо же посмотреть, как дите родное поживает, да и на внучаток

поглядеть лишний раз в радость. Но всего-то три дня и побыла в гостях старушка – домой запросилась. Там курочки, козочка. Соседке Полине чай уж надоело за чужой скотиной ходить. «Нет, родненькие мои, поеду», – сказала баба Груня и укатила во Вшивку. А как пошла от остановки-то по знакомому лужку, аж сердечко затрепыхалось от радости – родное всё, любимое. Слезы даже навернулись – будто двадцать лет не видела просторов своих. Да и не мудрено, что всплакнула. Всю жизнь безвылазно прожила баба Груня в этой деревушке. И родилась тут, и молоденькой козочкой по лугам скакала, и милого-суженого нашла, и свадьбу отгуляли, и сыночка родила, и Петеньку, мужа своего, оплакала, когда похоронка пришла в сорок третьем.

Да... пробурлила жизнь... Пора уж на погост собираться. Местечко уже присмотрела, домовину заказала – вон во дворе у сеновала стоит. С соседями договорилась, показала, где положить – неподалеку от батюшки с матушкой. Да вот всё никак Бог не берет. Бессмёртная, что ли?

Но к Пасхе баба Груня вдруг приболела. Весна выдалась теплая – вот и навывскакивалась старушка, раздевшись, то во двор, то в огород. Тепло-то весеннее коварно. Разденет, а потом ледяным ветерком дунет, не заметишь, как простынешь. Кашель привязался к бабке нешуточный. Уж чем только ни лечилась она – и травы пила, и на печи лежала, и в баньке парилась. Гудит внутри чего-то, словно в самоварной трубе. Соседка Полина уговорила в районную больницу съездить. Хоть вроде и привыкла бабка к мысли, что когда-никогда помирать придется, а как пора-то подошла, вроде бы и не надо. Может, и правду доктор неминуемую отодвинуть сможет? Поехала баба Груня. Благо сейчас на автобусе за полчаса до района докатить можно.

А зря, видать, Полинку послушалась. Знала бы, что будет в этой больнице – с места бы не тронулась.

Не понравилось всё бабе Груне сразу. Сначала очередь выстояла. Потом в окошечко сунулась, а там пигалица щипаная сидит – слова нормального молвить не может.

– ФИО! – говорит.

– Чёво? – переспросила баба Груня. – Не понимаю, чёво ты баешь. Приболела я, доченька, в груди ноет и кашель мучает. Добрые люди к вам послали.

– Зовут тебя как, старая? – крикнула пигалица. – Мне карту твою найти надо.

– Каку такую карту? – прошамкала старушка. – Не надо мне никакой карты. А кличут меня все бабой Груней.

– А фамилия у тебя есть, баба Груня? – еще пуще закричала непонятливая девчушка.

– А ты чёво кричишь? – обиделась баба Груня. – Чай, я не больно глуха. А фамилия моя Макарова.

– А имя-отчество?

– Аграфена Филипповна.

Девчушка застучала крашеными ноготочками по дощечке с пуговками, словно у гармошки. А сама в телевизор глаза лупит. «Видать, кино интересное кажут», – подумала баба Груня и еще больше осерчала. И зачем она в такую даль поперлась? Никому она тут не нужна. Отлежалась бы, травкой отпоила кашель. Нет ведь, Поинка оглашенная с толку сбила. Поезжай да поезжай.

– Аграфена Филипповна! – опять заверещала пигалица. – Ты когда последний раз в больнице-то была?

– А никогда, доченька, и не была. В первый раз я у вас тут, – смиренно ответила баба Груня и зашла в тяжелом утробном кашле.

– А лет-то тебе сколько, баба Груня?

– Так на Крещение девяносто минуло.

– И за девяносто лет ты ни разу в больнице не была? – удивилась пигалица.

– А чёво тут мне делать-то? И сейчас бы к вам не пришла, если бы Полинка не взбаламутила.

– Ну, бабуль, ты приколистка! – засмеялась девчушка. – Паспорт давай, буду карту заводить.

Потом опять пришлось сидеть в очереди. И только когда баба Груня совсем сомлела от духоты и изнуряющего кашля, пустили ее к врачу. Врачиха – толстая носастая тетка – послушала ее, потыкав холодной присоской в тощие бока, потом выдала бумажку и велела идти в другое здание.

– Ложиться вам надо, Аграфена Филипповна. Есть подозрение на воспаление лёгких.

– Куды это мне ложиться-то? – подозрительно спросила баба Груня. – Нет, ложиться тут я не буду. У меня домовина во Вшивке во дворе стоит. И лягу я только рядом с матушкой и батюшкой. Я Полинке наказала, чтобы слева от них положили.

– Да, чай, я тебя не помирать кладу, а лечиться. Вон через дорогу здание видишь? Там больница, стационар. Ложись и лечись. Понятно тебе?

– Ну, теперь понятно, – согласилась баба Груня.

В палате, кроме старушки из Вшивки, оказались еще пять бабенок. У всех свои болячки: у кого по женской части, кто желудком мается, а кто-то, как баба Груня, простуду запустил до крайности. Баба Груня всю больницу обошла, со всеми перезнакомилась, во все тонкости больничной жизни вникла, уж больно ей любопытно всё – почитай, всю жизнь безвылазно во Вшивке прожила, ничего другого не видела. А тут вон как интересно. Потолки высокие, окна огромные (как их только к Пасхе вымыть умудряются?), столоваются все в общей комнате, уборная прямо в помещении – в конце коридора (полы там желтой глиняной плиткой выстланы и моют их не руками, а палкой, на конце которой тряпка намотана). А врачихи все в белых халатах ходят, вежливые, улыбаются, не то что та пигалица, которая вначале принимала.

Вечером больные собрались в широком коридоре и стали смотреть телевизор. Баба Груня тоже немножко посмотрела. Хотя ей это не внове. У многих дачников теперь телевизоры есть, те приглашали и бабу Груню повечерять. Баба Груня не отказывалась. Только в телевизор она не смотрела. Она садилась сбоку от ящика и глядела на людей. Ей было интересно и удивительно, как люди часами пялятся на мелькающие картинки, что-то в них понимают, смеются и огорчаются, будто в настоящей жизни.

– Да я ведь там ничёво не понимаю, – отмахивалась она от хозяев, если те настойчиво предлагали посмотреть какое-нибудь кино. – Чёво там балакают, я не разбираю.

Глядя на меняющиеся выражения лиц зрителей, она радовалась и огорчалась вместе с ними и шепотком говорила себе: «Надо же, чёму только радуются – будто подарки получили».

В больнице баба Груня тоже хотела понаблюдать за людьми, да только кашель одолел окаянный, пришлось в палату идти и в постель ложиться.

На другой день ее пригласили делать рентген. Старушка смиренно пошла за медсестрой, послушно разделась. В рентгенкабинете работала злющая рыжая тетка, которую все звали Стой-не-дыши. Запихнув очередную жертву в рентгеновскую кабину, она уходила в другую комнату и оттуда орала хриплым прокуренным голосом: «Стой! Не дыши!» Больше она не говорила ничего. Сделав снимок, медсестра распахивала кабину и выдергивала больного наружу. Ее терпеть не могли больные и не любили сослуживцы. Именно к такому монстру и попала в лапы баба Груня.

Затолкав старушку в узкую кабинку и припечатав ее к экрану, рыжая кобыла протопала в соседнюю комнату и проорала свою дежурную фразу:

– Стой! Не дыши!

Баба Груня по старости немножко недослышивала, поэтому поняла слова монстрихи по-своему. Ей послышалось, что из другой комнаты донеслось: «Спой от души!»

Ну раз «спой», значит, надо петь. Люди здесь все умные, знают, что требуют. Баба Груня и запела:

– Вот кто-то с го-о-орочки-и-и спустился! Наверно, милый мой идё-о-от!

Она не поняла, за что рыжая медсестра грубо вытащила ее из кабинки и начала ругать. Что кричала эта злая тетка, баба Груня не разбирала. Про какие-то испорченные пленки, про хулиганство, про утреннюю пьянку. Монстриха всё орала и орала, а баба Груня в слезах поплелась к себе в палату. Сердобольные женщины, увидев заплаканную старушку, стали ее утешать, говорить сочувственные слова. Но узнав, что баба Груня спела рыжей кобыле песню про милого, начали хохотать.

А когда растерянная баба Груня сквозь слезы спросила у них: «Бабоньки, можа, я не ту ей песню спела?» – тут уж совсем все попадали со смеху. И про болячки свои забыли. Гоготали так, что весь этаж сбегался узнать, что случилось. Скоро от хохота дрожали стекла в окнах.

Баба Груня махнула рукой и ушла в коридор. Притулившись около лестницы у окошка, она с грустью смотрела на чужой пейзаж и вспоминала родную Вшивку. Там ведь сейчас так красиво. Черемуха кипит белой пеною в палисаднике, желтые одуванчики, как маленькие солнышки, светят в зеленой муравушке, курочки квохчут у завалинки. Благодать. А тут – заборы каменные, свалка мусорная, серые здания, корявые бородавчатые обрубки тополей...

Под окном остановилась легковая машина. Сверху на багажнике был привязан гроб. Водитель вышел из машины, отвязал веревки и снял крышку. В гробу лежала Устинья. Ее дом стоял неподалеку от Груниного, у самого прогона, где когда-то пастух Евстигней гонял деревенское стадо. Баба Груня смотрела на мертвую Устинью и не верила своим глазам.

– Свят, свят, свят, – перекрестилась старушка и отошла от окна. – Померещится же такое... Бес глаза-то застит.

Она походила по коридору, потом осторожненько подошла опять к окошку и выглянула. Устинья лежала в гробу, сложив сморщенные ладошки и смежив веки.

Охнув, баба Груня села на пол.

– Что с тобой, бабушка? Тебе плохо? – запричитала уборщица, только что поднявшаяся по лестнице. – Сестра, сестра, помоги, тут бабушке плохо!

Прибежала дежурная медсестра, подняла легонькое тельце старушки, уложила на топчан. Сбегала за нашатырем, привела кое-как больную в чувство.

— Что случилось, бабуль? Сердце прихватило?

— Там Устинья... — показала рукой на окошко баба Груня.

— Ну и что?

— Она в гробу на машине.

— На какой машине?

— На легковушке...

Уборщица глянула в окно и всплеснула руками:

— Вот окаянные! Надо же чего удумали!

Медсестра тоже посмотрела в окно и ахнула:

— Вот черти полосатые! Совсем стыд потеряли! Я им сейчас покажу!

Медсестра убежала. Уборщица наклонилась к старушке:

— Ну как ты? Полегче стало?

— Так мне не померещилось? Там правда Устинья лежит?

— Так я не знаю, кто там. Может, и Устинья.

— Значит, нас четверо осталось.

— Где?

— Во Вшивке. Умирает деревня-то. И всё вместе с нами умирает. Сейчас уже старой-то жизни никто не знает.

— А кому нужна старая-то деревенская жизнь? Навоз да вилы, лопата да коса. От зари до зари горбатились, а жили впроголодь.

— Это правда. Тяжело всегда жилось. Всё рученьками своими делали. А теперь проще... Белье вон и то сноха в машинке стирает. И молоко с маслицем из магазина берут, со скотиной уже не возятся. А раньше ведь даже хлеб сами пекли...

— Ну вот видишь, так зачем о старом-то жалеть?

— Не знаю. А мне всё равно жалко. Ой, какие песни мы с Устиньей пели! Парни за нами гурьбой ходили. А на Масленицу наряжались да пляски устраивали и хороводы. Тележку возьмем, соломенную Масленицу в нее посадим и по всей деревне с песнями везем. Весело!

— Это у вас от бражки, наверное, веселье-то было.

— Что ж, и бражки немножко выпивали. Какой же праздник без нее? Так ведь и без бражки весело жили.

— Ну вот, тебя не поймешь. То тяжело, то весело.

— И того, и другого хватало... А сейчас прежняя-то жизнь на нет сошла. Никто не помнит, как ложку деревянную выточить, как лапти сплести, как валенки подшить, как половики соткать, как песню старинную спеть... Русь-то старая только в памяти хранится. А ведь с нами всё и кончится. Нас уж во Вшивке только четыре штуки и осталось: я, Полинка, Аксинья да Татьяна. Так, видать, и моя уж очередь подошла.

Баба Груня зашла в тяжелом кашле.

— Вот заладила... — отмахнулась уборщица. — Чего там хранить-то из старой жизни? Кому сейчас лапти нужны или половики? И обувь в магазинах есть, и ковры красивые.

— Да разве дело в половиках, — сказала баба Груня, утирая хвостиком платка рот. — Вот, бают, ученые в старинных городах землю раскапывают, чтобы узнать, как тыщу лет назад люди жили. А ведь сейчас не знают даже, что пятьдесят лет назад было. Тоже когда-нибудь начнут раскапывать, чтобы про нашу деревенскую жизнь вызнать. А зачем тогда разорять-то было? Беречь надо память людскую. Быт-то деревенский веками налаживался. Наши деды и прадеды законы неписанные свято

хранили. А вы хотите всё подчистую извести. Вон померла Устинья, а с ней и все песни стародавние в гроб легли. Она ведь их знала немерено. Ноне никто уж таких не знает. А ее, как овцу, на крышу машины взгро-моздили и по городу катают. Чай, она человек.

Прибежала запыхавшаяся медсестра:

– Узнала я всё! Это, оказывается, сын этой умершей бабки, чтобы, значит, на грузовую машину не тратиться, положил мамашу в гроб и загрузил на багажник своего «жигуленка». А сюда приехал за справкой о смерти – рядом-то морг находится. Ну, я ему и устроила! Ты что же, говорю, гад, больных наших пугаешь?! Так и до смерти ведь можно довести. Всё! Уехал он, не расстраивайтесь, бабуля. Идите в палату.

Проводив бабу Груню до кровати, все занялись своими делами.

А та лежала, отвернувшись к стене, и вспоминала кудрявого гар-мониста Петеньку, умевшего целовать до головокружения, веселых подружек из далекой певучей юности и самую бойкую из них Устинь-юшку, вспоминала сурового бородатого батюшку и ласковую кроткую матушку, оранжевые просторы льняного поля, зеленые кудри березово-го леса, протяжную мелодию коровьего мычания, хвастливые рулады петушиного «кукареку»...

И еще она ругала соседку Полину, уговорившую ее приехать в этот содом, где всё не так и не эдак... Не дай бог помереть здесь. И повезут ее отсюда в открытом гробу на легковушке, как Устинью. Нет, домой надо собираться, пока сама живая и деревня еще не сгинула... Так ре-шила про себя баба Груня. И с этой мыслью спокойно уснула.

Галина ТАЛАНОВА

Родилась в Горьком. Окончила Горьковский госуниверситет по специальности «биофизика», кандидат технических наук. Работает в НПО «Диагностические системы», занимается разработкой и производством иммуноферментных тест-систем.

Автор шести книг стихов, двух романов. Лауреат премии «Болдинская осень» (2012), лауреат премии журнала «Север» (2012), лонг-листер премии им. И.А. Бунина (2011, 2012).

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

В ОЧЕРЕДИ

В поликлинике онкоцентра народу было столько, что, как оказалось, сидеть здесь надо было весь день. Люди приходили сюда в шесть-семь утра и только к вечеру уходили. Само по себе это сидение было изнурительно. Ощущение разбитости из-за того, что встала рано, и невозможность поверить в предполагаемый диагноз – всё сливается в одно расплывшееся нефтяным пятном на тихой прозрачной воде впечатление никогда не испытанного ужаса. Даже здоровый, попавший сюда по осторожности или некомпетентности врачей, оказывался втянутым в водоворот, из которого приходилось выкарабкиваться, захлёбываясь слезами и отплёвываясь от ледяной и мутной воды. В одной очереди сидели люди с чёрными щеками и губами, будто измазанными мазутом; женщины с одной грудью, отсутствие второй угадывалось по пузырьку на халате, напоминавшему съжившийся воздушный шарик, который вдруг лопнул сам по себе, перестав радовать своим невесомым парением над головой; женщины с отёкшими руками, ставшими похожими на срубленный и очищенный от коры ствол; молоденькие девушки с ещё молодыми мамами и неопрятные нечёсанные старухи, еле волочившие слоновьи ноги с вздувшимися чернильными венами, которых медленно и осторожно вели под руку их уже тоже изрядно потасканные жизнью и постаревшие дети. Но не эти старухи потрясли её воображение. Потрясли именно молоденькие девушки с небесными глазами. В одной очереди сидели и те, кому предстояла операция, и те, у кого она была позади. Последние тоже делились на две категории: выпросивших у неба отсрочку и тех, для кого конец приближался со скоростью надвигающегося локомотива.

За многочасовое сидение в этой очереди обречённых или приговорённых к смятению можно было заболеть даже здоровому. Именно здоровые, очутившиеся здесь по осторожности врачей, чувствовали себя загнанными зайцами, попавшими в капкан. Именно здоровые вбирали в себя жадными глазами этих обречённых на небытие, с нескрываемым страхом примеряя

на себя жизнь этих людей, которая истончалась, пересыхала, будто ручеек под палящим пустынным солнцем, раскалённым до бела. Обречённые на конец или живущие иллюзией, что они немного побудут ещё на этой земле, смирились уже со всем, что вскоре предстояло, и казалось, были спокойнее всех впервые попавших сюда и внезапно выдернутых, словно морковка из грядки, из ровного частокола зелёных распушившихся дней. Она со страхом и сочувствием глядела на людей вокруг. С удивлением подумала о том, что они здесь такие же обычные, как те, что ходят по улицам и штурмуют подошедший автобус. Посмотрела в окно и ей показалось, что там, снаружи, другая планета, где на душе благополучных и легкомысленных людей всё легко, точно майский тополиный пух. Подумала о том, что несколько дней назад и она была там, летала по улицам, не ведая о своей болезни. Мечтала о том, что надо бы купить, наконец, шкаф на кухню, а то кастрюли и сковородки уже не впикиваются в стол и их приходится втискивать в старый холодильник. А неумолимое и ко всему бесстрастное время отсчитывало последние минуты её неведения.

Она со страхом и сочувствием смотрела на девушку, почти девочку лет четырнадцати-шестнадцати, пришедшую сюда с матерью, что сидела рядом с ней. Девушку уже прооперировали – и она пришла оформлять инвалидность. Девушка была очень бледная и совершенно спокойная, в отличие от многих в этой многочасовой очереди. Её молодая ещё мама о чём-то озабоченно спрашивала дочь. Она с грустью подумала, что она уже пережила возраст не только девочки, но и, пожалуй, мамы той, но почему-то места себе не находит, глядя на женщин, прогуливающих до аптечного киоска мимо очереди из ожидающих аудиенции хирурга в ярких цветастых халатах персидских мотивов, будто призванных вносить в жизнь буйные краски короткого лета, под которыми угадывалось отсутствие одной груди. А вот эта девушка тихо сидит в очереди и кажется, что не в очереди она из людей, ожидающих приговора, а где-то на даче в саду. Такое у неё расслабленное и умиротворённое лицо, точно знает она уже, что торопиться некуда: всё придёт в свой срок, за летом обязательно появится рыжая осень, подметающая своим хвостом пронизывающего ветра ещё не съевшиеся разноцветные листья, похожие на сваленные в кучу тряпочки для лоскутного одеяла. На одеяло в свой срок зима накинёт белое покрывало, которое с каждым днём будет всё больше становиться похожим на гигантскую пуховую подушку. Деревья замрут в глубоком сне, будто обмотанные бинтами и обложенные ватой, певчие птицы улетят в чужие края и только снег будет падать и падать, окрашивая жизнь в кафельный цвет плитки больничной палаты или морга.

Напротив сидит женщина лет шестидесяти. Она рассказывает про свою дочь, которая больна по вине районного гинеколога. Врач долго лечила её от чего-то другого, не замечая страшной болезни. Когда рак всё же обнаружили, была уже третья стадия, неоперабельная форма. Мать тянет её уже три года. Никто в их подъезде не знает о её болезни... У дочери – девочка десяти лет, ради которой надо жить. «Когда мы с ней в метро, я держу вот так руку, – женщина вытягивает руку в сторону, – чтобы она не бросилась под поезд...» Надо жить, но в глазах женщины – чернота глубокой ночи, где звёзды затянуты тяжёлыми тучами. Эти глаза – олицетворение всей мировой скорби.

Вот тут же мимо очереди людей, сидящих на стульях в очередь к хирургу в отделении поликлиники, прошествовали к аптечному киоску две ещё нестарые женщины в байковых халатах на запахе. Она с ужасом смотрела на их плоскую с одной стороны грудь. Навстречу им пробежал

чернявый красавец-врач. Он бросил мимоходом одной из них: «Зайдите!» Жизнь для них продолжалась... Купят протезы, будут сидеть в гамаке на даче в тени деревьев и радоваться любому даже хмурому дню без дождя... У природы нет плохой погоды. Мелочи всё это... Всё мелочи по сравнению с тем, что однажды (а, может быть, и очень скоро) придётся лечь в ящик, пахнущий свежеструганным деревом и провалиться в яму, выкопанную в сырой глине, что окажется бездной.

Молоденькая врачиха долго и жёстко мяла её грудь, что-то пристально там разглядывала, дала направление на маммографию.

Маммографию делали в определённые женские дни. Потянулись дни ожидания. Как только она представляла, что у неё отрежут грудь, в глазах быстро сгущались сумерки, которые молниеносно переходили в чернильную ночь, вспарываемую разноцветными огнями фейерверков. Очнувшись и приняв негнушимися пальцами таблетку от спазмов сосудов головы, она сидела с прикрытыми глазами, думая о том, что вот так в один момент и кончается наша жизнь. Кажется, что до конца ещё далеко, а вот поди ж ты, оказывается, смерть уже, как белый корабль, показалась на горизонте её бескрайнего моря жизни и неуклонно приближается к её берегу, чтобы сойти со спущенного трапа, цепко взять за руку и увести за собой.

Она представляла, как она будет жить без груди, и думала о том, что, может, вообще лучше не оперироваться, если ей объявят страшный диагноз. Подходила на слабеющих ногах к зеркалу, когда дома никого не было, сбрасывала халат и внимательно разглядывала свою ещё молодую и розовую грудь. Прощупывать её она просто боялась: вдруг найдёт уплотнение? За окном по-прежнему светило яркое майское солнце, но на улицу почему-то не хотелось, она чувствовала себя серым облезшим воробушком, попавшим на праздник жизни розовых фламинго и павлинов, распушивших фериические хвосты... Она боялась крови, уколов, возможной предстоящей операции и жизни без груди. Она отчётливо представляла грубый красный шрам вместо удалённой железы и свою отёкшую руку, больше похожую на ногу слона. Она с паническим страхом думала о том, что муж найдёт себе другую бабу, молодую и не изрезанную. То, что она станет уродкой, пугало её гораздо больше, чем то, что её не будет вообще. Она ясно видела, как её живую и розовую грудь бросают окровавленным ошмётком в контейнер. Она осторожно погладила пальцами нежную кожицу с голубыми ручейками прожилок и неожиданно для себя самой разрыдалась. Слёзы текли по её щекам и прыгивали на топорщащуюся грудь, словно капли росы с потревоженных ветром листьев на землю. Она посмотрела на своё обезображенное плечом и перекошенное лицо с губами, извивающимися, точно дождевой червяк, внезапно перерубленный лопатой. Лицо стало красным, будто обваренное кипятком, белки глаз покраснели, как на плохой фотографии, и ощущение было такое, словно в глаза надуло поднимающимся шквальным ветром грязной дорожной пыли с просёлочной дороги. Она резко трянула растрепавшейся головой, чувствуя, что плач не только не принёс облегчения, а отнял у неё последние тающие силы. Ощущала себя цитрусовым, пропущенным через соковыжималку. «Хватит! – сказала она себе. – Возьми себя в руки и не превращайся в распутившуюся бабу». Почему-то перед глазами всплыла та девочка-подросток, спокойная и бледная, как река, подёрнутая льдом, на который просыпался первый рыхлый снег. Решительно запахнула халат, но долго не могла найти прорезь для пояса.

Ночью она просила мужа целовать её грудь как можно нежнее, лизать, как снежок, зажатый в детской ладони, и шептала, что она хочет это запомнить и очень надеется, что он тоже сохранит это на донышке памяти.

В ЗАМЁРЗШЕМ АВТОБУСЕ

– Очнулась? Мой кисёнок! – сказала мама и погладила её по голове, убирая волосы со лба. Мамина ладонь была гладкая, будто яблоко, и пахла земляникой. Или земляничным мылом? На полу рядом с кроватью стояла настольная лампа, мутный свет которой был направлен под панцирную сетку кровати. Сквозь приоткрытую в коридор дверь жёлтая полоска света, похожая на лежащую на линолеуме ковровую дорожку, утекала в тёмный коридор. Девочка посмотрела в проём двери – и увидела, как эта полоска света пересекается с другой, образуя развилку тропинок. Она подумала о том, что в той палате, откуда тоже тёплой змейкой вытекал свет, лежал её друг Антоша, с которым она познакомилась в столовой, когда Антон туда ещё приходил. Его мама давно жила в больнице и почти не уходила домой. Не спит, не ест, а только не сводит глаз со своего сына много ночей подряд. У него была какая-то опухоль мозга, которая развивалась очень давно. Сначала была маленькая киста, но она постепенно росла, толстела, начинала давить на соседние участки мозга – и Антоша мучился от головных болей, которые заставляли его всегда внезапно. Боли были такие сильные, что единственный глаз Антона заволакивала мутная плёнка, похожая на ту, что бывает на стоячей цветущей воде. Антон начинал тяжело дышать, тёр виски и бросался на кровать, глотая какие-то круглые розовые таблетки, одна-две штуки которых всегда лежали у него на тумбочке. Другой его глаз был завязан белым бинтом, всегда перепачканным кровью. Ребята из его палаты поделились, что глаз у него удалили, так как опухоль проросла в глазницу. Вообще Антон был довольно жизнерадостным и весёлым мальчиком, любил травить анекдоты, сам первый начинал смеяться. Правда, юмор у него был какой-то чёрный. Когда дети звали его поиграть после химии, он, например, мог сказать: «Вот сейчас проблююсь и приду, а то принцессе придётся прежде, чем сделать шаг, поднимать платье, чтобы не запачкаться...»

Антон последнюю неделю совсем не выходил из палаты, и девочка подумала, что надо бы его завтра навестить... Попросила маму привезти её на каталке к Антону. Когда она его увидела, то не узнала. Незабинтованный глаз застыл, уставясь на раздвоенную трещинку на потолке, похожую на линию жизни, – туда, где эта трещинка обрывалась. Девочка осторожно взяла Антона за руку:

– Антоша, привет! Как дела? Мне мама новую игру принесла, будем играть!

Но Антон смотрел сквозь неё, как сквозь стекло, и видел лишь свою трещинку, заканчивающуюся крестом. Девочка смотрела на него с ужасом. Теревила его руку, показавшуюся ей какой-то мягкой игрушкой, набитой опилками, теревила всё настойчивее и упорнее. И – о чудо! Антон посмотрел на неё каким-то осознанным умудрённым взглядом

старца, всё знающего про жизнь, знающего такое, что до поры до времени людям неизвестно. Ей даже показалось, что его рука потянулась погладить её по голове, немного согнув пальцы. Он улыбался какой-то виноватой улыбкой. Девчушка сжала его руку:

– Смотри, что я тебе принесла, – сказала она, протягивая ему игру.

Губы Антона растянулись в какой-то дрожащей улыбке, словно видела она его в отражении воды, волнуемой лёгким ветерком, здоровый глаз заморгал так, что можно было подумать, что ему в глаз попала соринка. Он что-то говорил будто, но слов не было слышно: точно сильный ветер относил его фразы в далёкую даль. Вдруг его глаз перестал моргать и закрылся, но веко по-прежнему подрагивало, точно листок от дождя. Когда глаз снова открылся, он показался девочке стеклянным. Веко больше не дрожало, а зрачок, казавшийся стеклянной чёрной бусиной, смотрел в потолок, ни на что не реагируя. Девочка стала теревить его руку, словно маленький ребёнок теревит мамину юбку, требуя исполнить его каприз:

– Антоша, Антон, Антошечка!

Но больше Антон не слышал её. Больше он ни на кого не реагировал, хотя прожил ещё две недели. Девочка постоянно прислушивалась к тому, что происходит в соседней палате, вся обмирая от страха. Рубашонка, мокрая от пота, противно прилипала к спине, точно она попала под дождь. Она ещё верила в то, что смерть можно обмануть. Вот сейчас Антон очнётся – и они сыграют в её новую игру, которую ей так не терпелось ему показать. Она видела, как медсёстры бегают к нему с кислородными подушками и капельницами, видела, как его отец греет в руках пузырьки с плазмой, дышит на пузырёк, пытаясь его согреть своим дыханием, точно оттаивает окно в замёрзшем троллейбусе...

И сама она точно попала в этот замёрзший троллейбус, в котором укачивает и поднимается тошнота. Ей снова не хватает воздуха... Он такой морозный, что замёрз до ледяных призм, которые она никак не может протолкнуть в своё горло. Обдирает его до боли, до крови, солоноватый вкус которой она чувствует на своих губах...

Девочка проваливается то в обморок, то в тяжёлый сон, придавивший её холодным колючим осевшим после оттепели сугробом... Они идут с Антоном по коридору школы и ищут класс, на урок в котором они, заигравшись на перемене, опоздали. Школа новая, она недавно в неё перешла из другой – и плохо знает своих одноклассников. Девчушку охватывает страх, что её будет ругать учительница, что она такая недисциплинированная. Учительница у них тоже новая и предмет новый, на улице весна – и ей так не хочется идти в душный класс, где не хватает спёртого воздуха, а в вилки больно стучатся настырные молоточки и кружится голова. Но надо! Они доходят с Антоном до какой-то двери, Антон робко стучится и приоткрывает дверь, растягивая большие ржавые пружины, на которых она держится. В открытую дверь она видит учителя с лицом реаниматора, только одет тот почему-то в чёрную рясу священника. Ей становится страшно. У доски она видит лысого мальчика, того самого, чья рубашонка была залита кровью в тот день, когда она бежала из больницы. Мальчик что-то пишет фломастером на белой доске, но буквы исчезают, как будто чернила испаряются или не видимы для неё. Она стоит и смотрит из-за спины Антона на его старания. Мальчик замечает их – и приветливо им улыбается,

махнув рукой: «Заходите!» Но Антон неожиданно оборачивается к подружке и очень тихо говорит:

– Тебе не сюда!

Он отталкивает девочку – и ныряет в узкий проём двери, которая с шумом захлопывается, больно ударив её руку, так что из глаз её брызнули слёзы и она отшатнулась к холодной шершавой стене, покрашенной в бледно-зелёную краску цвета травы, закрытой от света. Стена нежно и щекотно колется, точно папина небритая щека или зелёный мох.

Через три часа всех детей собрали в коридоре и повели «гулять», чтобы вынести тело мальчика без свидетелей. Дети шли молча, как набрав в рот воды, не обращая ни на что внимания, сгорбившись, как маленькие лысенькие старички, опустив глаза, в которых у многих из них блестели слёзы. Они шли гуськом, как под конвоем по тюремному двору.

Владимир СОФИЕНКО

Родился в 1968 году в Темиртау Казахской ССР. Окончил Карельский государственный педагогический университет.

Автор трех книг прозы, публиковался в журналах и альманахах. Организатор международного литературного фестиваля «Петроглиф». Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

Живет в Петрозаводске.

НЕБЕСНАЯ КОБРА

В это замкнутое пространство с удушливым запахом пыли, старых вещей и человеческой плоти она угодила ещё до захода солнца. Казалось, с первыми лучами нового дня выход из него был найден, но невидимое препятствие встало на пути, разграничив пустоту, оно не пускало к свету. На мгновение она замерла, будто пытаясь угадать правильное направление. Её усики на голове чуть дрогнули, и она вновь закружилась в изящном танце, словно ощупывая вокруг себя пространство. Сделав заключительный крутой пируэт, оса на мгновение замерла. В нетерпении она взмыла вверх и вот уже в который раз, зло жужжа, врзалась в солнечный свет. Теперь он не был напоен дыханием луговых трав, дурманом цветов и тем нежным приторным ароматом вязкого нектара, который завлёл её в эту западню. Без этих запахов свет казался стерильным. Оса затихла, набираясь сил. Полосатое брюшко небесного убийцы нервно подрагивало на слепой поверхности света, будто пытаясь ужалить невидимого врага. Свет манил её, подсказывал направление домой, но правильной дороги оса отыскать не могла.

— Ну надо же, ещё одна! Откуда только берутся?! Вот уж действительно — мёдом намазано, — дед Семён отложил в сторону очки, аккуратно, чтобы не помять портрет нового хозяина Кремля, согнул только что прочитанные «Аргументы» вчетверо — до нужной упругости газетных листов, приоткрыл пошире форточку и, подпихнув под мохнатое брюшко осы газету, смахнул её на улицу. — Надо бы крышки на банках воском залить, а то от этих ос никакого покоя.

Дед заглянул под кровать убедиться, хорошо ли вчера расставил банки с мёдом. Кряхтя, выпрямил спину, снова развернул газету, в который раз рассматривая фото с надписью под ним «Б. Н. Ельцин».

— Да-а, — задумчиво протянул дед Семён, — вот так же и люди; бывает, всё бегает по белу свету, чего-то ищут, мыкаются, будто котята

слепые, в поисках своего, с ума сходят; от судьбы своей скрываются... А она вон где, рядом, – он махнул газетой в сторону окошка, – только пошире открой zenки свои – и на свободе.

С недавних пор ему нравилось говорить с самим собой.

Вчера деду Семёну внук привёз бидончик мёда. Деревня Елино, где он жил в сезоны заготовки мёда, находилась в шестидесяти километрах ниже по реке от дедовой деревни Листвянки. Дорога туда даже для «уазика» прижимистого внука не всегда была проходимой – опять же, бензин... Виделись они редко.

«Не за зря Стёпка ко мне наведался, – думал дед Семён, принимая от неожиданного гостя бидончик, – что-то выведать хочет, делец. Неужто бабий трёп уже до Елина дошёл? Может, Алексей чего сболтнул спяну?» – гадал он.

Объектом бабьего пристального внимания дед Семён стал совсем недавно. Много ходило кривотолков по сибирской деревушке о его походах в тайгу. Одна небылица сменяла другую. Дед всё молчал – только улыбнётся очередной байке, услышанной вполуха. И Лёху, помощника своего, он заподозрил понапрасну – в тайге всегда глаз хватает. В этих краях всем известно: человек и зверь – каждый своею тропкой шагает. Незачем виду показывать, особенно, когда человека встретишь: нету зверя страшнее, чем он... Кто ведает, что несёт путник в себе? Как тяжела его ноша? На то она и тайга – человек здесь меняется: сбрасывает маски, как змея весной кожу, становится самим собой. Всякого повидала тайга: жадность, трусость, зависть, досаду по утраченным мечтам и обиды прошлого. Прибирала потом за людьми, прятала следы слабости их и злобы, прикрывала хвоей да сучьями, приводила падальщиков на кровавое пиршество. Каких только басен в деревне про деда Семена не плели! Целую историю насочиняли! Судачил в деревне и стар и млад, а было ли, не было, в точности никто не знал. Лёха молчал как партизан. Болтали, будто видел деда охотник один с дальней заимки. Рассказывали, что было это на речке Змеёвке у заброшенной базы «Сибпромохота»...

Всё случилось этой весной. Как только стаял снег, все деревенские отправились в тайгу резать колбу. Уходили на полдня. Самые выносливые возвращались под вечер, волоча на себе рюкзаки, корзинки, ведра, набитые луком – победным и первым таёжным первоцветом – кандыками и ветреницами. Весной ни один стол сибиряка без колбы не обходится. Её добавляют в окрошку, в салаты, едят просто со сметаной, приправляют к шашлыку, солят на зиму, маринуют... Самые предприимчивые ещё успевают продать ленивым фирмачам пучок-другой, разложив свой нехитрый товар вдоль трасс. Молодёжь облюбовывает пригретые весенним солнцем полянки, и, пока собирается окрест колба – «на закусь», в стеклянные банки бодрой струйкой из полого стебля камыша или обломка шариковой ручки, вставленных в берёзу, стекает сок – «на запивку». У каждого сборщика этой таёжной травы есть свои заветные места. Было такое местечко и у Семёна Пантелеймоновича Семёнова – Семёнчика, как называли его в деревне. Туда и хаживал он так часто, как только ноги носили.

Семёнчик – невысокого роста, жилистый старик с не по летам сильными еще мозолистыми руками. Старуха его умерла пять лет назад. После её смерти потемнело его прежде улыбочное лицо,

как-то сразу расплылись тёмными пятнами веснушки. Плечи опустились, повисли, налились тяжестью руки. Всегда охочий перемолвиться словом, он теперь по большей части на людях молчал: пробубнит что-то себе под нос на приветствие, даже не взглянет. Пёс Умка – и тот приуныл. Давно никто не слышал его звонкого лая на вечерней переключке дворовых собак. Бывало, выйдет из будки, тявкнет о чём-то своём, собачьем, громыхнёт цепью и назад – морду высунет да так и лежит целый день. Уходил Семёнчик в тайгу ненадолго и всегда старался вернуться засветло. Отвяжет пританцовывающего Умку, махнет рукой дремлющей на солнышке соседке, мол, привет, Никитична, поправит старенькое ружьё за спиной, закроет на крючок калитку – и в тайгу. Солнце – в зените, а Семёнчик уже скрипит калиткой: бывай, мол, Никитична...

Дремлющая в дозоре у своего забора соседка встревожилась сразу же, как только в первый вечер не заметила привычного подрагивания электрического света за обтерханными, посеревшими от времени занавесками в окнах Семёнчика. Пару минут Никитична напряженно всматривалась в тёмную глыбу дома, в глазницы окон с покосившимися разъявленными ставнями. Её подбородок мелко затрясся от тревоги, она с трудом встала и, шамкая впалым ртом, пошаркала к забору. Ухватившись обеими руками за штакетник, Никитична скрипучим голосом покликала в темноту двора:

– Семёнчик, слышь, что ли?

Придерживаясь рукой за забор, она заглянула во двор, пытаясь рассмотреть нежилую сторону дома, куда после смерти своей старухи дед уже не хаживал. Дом молчал. Старуха вернулась к калитке.

Позвала:

– Умка! – Рядом с осиротелой будкой недвижно лежала железная змея цепи.

Старуха снова огляделась – ни души. Когда-то их с Семёнчиком дома стояли в самом центре деревни. Теперь к ним на косогор вела одна-единственная тропка.

Внизу, в струях тумана, заглотившего улицы одну за другой, перемигивались окнами старые приземистые домики, будто передавая друг другу на расстоянии свежие сплетни. В густом, щедром на весенние таёжные запахи воздухе, слышалось жужжанье уже проснувшихся ос, мух, покрикивали лесные птицы. Никитична посмотрела на тропку, круто ведущую вниз, вздохнула. «Может, к внуку своему подался? – подумала она. – Вот и Умки нет». Подул холодный ветерок. Соседка поправила на сгорбленных плечах телогрейку и решила оставить всё как есть до утра.

Утром, когда уже собиралась бежать к участковому, Никитична услышала привычный скрип калитки возле дома напротив. Она хотела было расспросить Семёнчика, что да как, но, пока обдумывала, как подойти к нелюдимому соседу, крючок с легким дребезжанием упал в ушко на створке. Умка занял пост у будки, а входная дверь в дом гулко хлопнула. С того времени Семёнчик стал часто уходить в тайгу на два-три дня. Дед сильно изменился – шагал по улице загорелый, подтянутый, на плече – лопата, глядел по сторонам – физиономия рыжей щетиной топорщится. В глазах – огоньки шальные,

будто знает чего-то, но уж точно не скажет никому. Рядом Умка голосит – соседских собак дразнит. Что за чудо?!

«К полубовнице, наверное, шастает на болота», – судачили старухи.

В тот самый день, когда Семёнчик в первый раз не вернулся домой, переполошив Никитичну, он, по обыкновению, пошёл на своё место собирать колбу. Но, задумавшись о чем-то по дороге, заплутал. Очнулся уже на зимнике. «Тьфу ты! – в голос ругнулся дед. – Занесла же меня нелёгкая в этакую даль! Ты бы хоть тявкнул, что ли, – сердито посмотрел он на вилившую хвостом собаку. – Теперь домой успеть бы засветло». Но тут Семёнчик вспомнил, что дорога эта вела на заброшенную базу треста «Сибпромохота». Когда-то трест активно занимался сбором ягод и дикорастущих растений. Он помнил, как ещё мальчишками они бегали по этой дороге, чтобы посмотреть, как возводятся корпуса. В юности Семёнчик даже успел поработать на ней помощником мастера. В середине девяностых трест обанкротился, а его имущество ушло с молотка. Остались лишь никому не нужные стены конторы и хранилища как памятник перестройке.

До базы было рукой подать. В том месте речушка Змеевка делала ещё один причудливый поворот. Её так и называли за то, что прямых мест в ней раз-два и обчёлся – кружила она по тайге серебряной змейкой туда-сюда. Звонко бежит между болотцами и озёрками, озорно перекачивается по пихтачам и ельникам. Такая речка – беда для путешественников. Держишься её левого берега, глянь – а она уже справа бежит. Наверное, и с дедом Семёном она сыграла недобрую шутку – погруженного в свои мысли, завела его подальше от заветного пихтача, будто жаль стало ей для деда таёжного лука. А ещё, как на грех, ружьишко своё дома оставил... Поразмыслив, дед решил переждать ночь на старой базе: «Пойдём, Умка. Знать, судьба нам ночевать в тайге. Авось обойдётся!»

Лес кончился неожиданно. На Семёнчика уставилась своими осиротелыми проёмами окон контора треста «Сибпромохота». Солнце уже касалось верхушек деревьев, вечерело, надо было готовиться к ночлегу. По дороге Семёнчик плотно набил рюкзак хворостом и, увидев под ногами подходящую деревину, схватив её за один край, поволок к месту будущего ночлега.

Асфальтовая дорожка, ведущая от решетчатых ворот вдоль покосившегося, наполовину сгнившего забора со следами отколупывающейся зелёной краски, заросла травой. Всюду валялись ржавые железки, болты, гайки, куски труб, согнутая в диковинные клубки проволока и всякий другой хлам, указывающий на полное запустение некогда процветающего предприятия. На первом этаже конторы когда-то находился гараж. Теперь сорванные с петель железные ворота валялись неподалеку от входа. «Черметовцы орудовали, – догадался дед Семён. – Как же они собирались вывезти такую громадину? Чудно!» Оставив рюкзак и деревину в гараже, он решил сделать ещё одну ходку за дровами. Острым охотничьим ножом нарезал лапника, поверх уложил толстую сухую ветку, хорошенько стянул один край ремнём и, ухватив за свободный край, поволок своё будущее лесное ложе в гараж. Уже на самом выходе из тайги, у глухого распада, Семёнчик приметил зелёную щетину колбы. «А вот и ужин!» – довольно думал он, когда аккуратно срезал зелёные побеги и набивал ими карманы куртки. Возле гаража Умка, крутившийся всё время рядом, вдруг насторожился, в глотке у него глухо заклокотало, но в голос не залаял. Он с тревогой смотрел туда, где тёмная лента реки,

тянущаяся прямо около километра, делала крутой поворот, скрывалась из виду. Дед Семён знал своего пса – Умка понапрасну тревожиться не станет. «Эх, ружьишко дома оставил...» – пронеслось у него в голове.

Через пару минут и до Семёнчика долетел низкий ровный звук. Что это?.. Из-за облаков вынырнул самолёт и, всё быстрее и быстрее увеличиваясь в размерах, стал приближаться к полуразрушенным постройкам «Сибпромохоты». Умка, приподнявшись на задние лапы, звонко, заливисто залаял. Выйдя из оцепенения, Семёнчик, повинувшись какому-то бессознательному внутреннему порыву, махнул крылатой машине. Темный силуэт самолета развернулся в воздухе и пошел на разворот. Снова зайдя в створ реки, машина стала снижаться. Почти задевая шасси верхушки деревьев, она долетела до начала плато и, нырнув вниз, коснулась темно-бурых плит каменистой поверхности пляжа, которые тянулись вдоль правого берега речки.

Из-под колёс взметнулось облачко пыли, двигатель надрывно взревел, и, замедлив ход, винтокрылая машина покатила вдоль речки в сторону базы. Забор в том месте уже окончательно сгнил, щерясь в небо редкими столбами пролётов, и Семёнчик мог видеть, как из кабины военного самолёта (именно военного!) вылез лётчик в кожаной куртке и шлеме. Спрыгнув на землю, он жестом подозвал остолбеневшего деда. Семёнчик не сомневался – перед ним стоял военный истребитель времён Второй мировой войны! Уж он-то насмотрелся этой техники на ремонтных площадках! В тот военный год их семья жила в Красноярске. Отец Семёна, Пантелеймон, был механиком, как говорится, от бога, мать сутками пропадала в госпитале, вот и болтался пятилетний Сёма то в госпитале, то на ремонтной площадке.

Там и приклеилось к нему на всю жизнь ласковое «Семёнчик». Ремонтники то и дело подзывали: «Семёнчик, принеси это! Семёнчик, подай то!»

Тогда основной американской машиной, идущей на фронт, был истребитель Airсobга, или просто «кобра», как её называли летчики. Самолёт неплохо себя зарекомендовал в бою, но к русским морозам был совсем не готов. Вот и приходилось ремонтникам в Красноярске адаптировать машину к российским широтам: меняли непригодную для студёной погоды резину, заморские антиобледенители на наши – морозоустойчивые, да трубки крепче ставили... Некоторые лючки на «кобре» были настолько малы, что в рукавице только детская ручонка и могла пролезть, а без рукавиц работать было невозможно – пальцы на морозе мигом деревенели. Вот и намёрзся тогда маленький Сёма, помогая взрослым, чем мог.

Именно туда по Красноярской воздушной трассе Уэлькаль – Сеймчан – Якутск – Киренск – Красноярск перегоняли американские самолёты наши пилоты по договору союзных государств. Там в короткие минуты отдыха механики передавали услышанные от летчиков истории об опасных, а подчас и гибельных перелётах через Черский и Верхоянский хребты, Оймякон, где самым страшным врагом наших асов были лютые морозы. Рассказывали, к примеру, про летчика Терентьева, как-то у Верхоянского хребта у его «кобры» отказал двигатель. Так вот, он сумел посадить машину в непроходимой тайге прямо на речку. Говорят, если бы не оленеводы – так замёрз бы. Накрепко засела в памяти маленького Семёнчика услышанная история, часто он представлял себе этого Терентьева, а по ночам и сам вместе с ним геройски сажал «кобру» в лесу и встречался с оленеводами.

Чего только ни передумал, чего только ни припомнил дед Семёнчик, пока приближался к истребителю, заодно и себя в очередной раз поругивал, что оставил дома ружьё. Потом и вовсе успокаивал себя, что самолет, дескать, принадлежит какому-нибудь историко-патриотическому клубу, да неопытный пилот заблудился. Дед не раз видел телепередачи с такими игровыми баталиями, когда участники, переодевшись в форму солдат разных эпох, а то и вовсе облачившись в латы, ходили стенка на стенку. Ну дети детьми! Чем только народ себя ни развлекает! Их бы удаль да на сенокосе... А самолет-то с каждым шагом становился всё ближе и ближе – пилота уже разглядеть можно. Что-то подсказывало деду: всё, чем он себя только что успокаивал, – выдумки. Настороженная поза, расстегнутая кобура, нервно подрагивающие кончики пальцев у рукояти пистолета, подозрительный взгляд усталых цепких глаз выдавали сильное напряжение человека.

Как ни старался Семёнчик идти твёрдо, колени его предательски подрагивали. Чую недоброе, вытянув вперед смолянистую морду с белым «бланшем» под правым глазом, будто перед ним добыча, рядом опасно шёл Умка. Истребитель картинкой из далёкого военного детства лачил глаза свежей краской. Нос самолёта опирался на длинную тоненькую стойку и в сгущающихся сумерках напоминал неуклюжего гигантского таёжного комара, впившегося жалом в камень.

– Лейтенант Терентьев, лётчик, – первым представился пилот.

– Дед Семён, танкист, – вспомнил Семёнчик былые армейские годы и даже как-то приободрился.

– Шутник ты, отец, – чуть улыбнулся лейтенант, – в русско-японскую танков еще не было.

После крепкого рукопожатия он как-то сразу обмяк – усталость взяла своё, снял шлем, обтер рукавом взмокший лоб.

– Совсем вымотал меня Верхоянский, двигатель забарахлил, думал, всё – конец. А тут гляжу: полосочка вдоль речки, что надо – ровная, гладкая. У этого коня чуть что – нога передняя подламывается, а сейчас ничего, выдержал. – Лейтенант ласково посмотрел на «комариное жало».

– Населённый пункт далеко?

– Да как сказать? – замялся Семёнчик. – Если вдоль реки – одно дело. Напрямки, через чащу – другое.

– По карте показать сможешь?

– Чего же не смочь. – Нижняя губа Семёна обидчиво оттопырилась. Лейтенант снял планшет, развернул карту.

– Вот здесь, – дед уверенно ткнул пальцем и, немного поколебавшись, заглянул лётчику в глаза:

– А ты откуда, сынок? – от былой настороженности деда, казалось, не осталось и следа.

– Бдительность проявляешь, отец? Правильно. Время сейчас такое. Посветить есть чем? – Лётчик зачем-то расстегнул нагрудный карман.

– Я сейчас костёр налажу – холодно уже, – засуетился дед.

– И то верно, заодно поужинаем. Как тут у вас с продуктами?

– Да есть маленько. – Семёнчик вспомнил о краюхе хлеба на дне рюкзака и душистом сале, предусмотрительно захваченных на всякий случай. С колбой это уже деликатес! Он в предвкушении вытащил из кармана добрый пучок таёжного лука.

– Ничего, отец, – увлажнившиеся глаза лейтенанта вдруг загорелись ненавистью.

Он смотрел, как на западе зарево цвета киновари уже залило своим огнём пики вековых деревьев, и отблески этого пожара трепетали в его глазах.

– Разобьём фашистов – заживём! – всё больше распалялся пилот. – За всё ответят сволочи! За товарищей, что в тайге лежат, за то, что вы тут травой питаетесь, за всё! – Пилот сжал кулак и угрожающе потряс им в воздухе.

«Нет, на любителя не похож, – подумал дед, – слишком натурально играет».

– Тебе там сверху виднее, сынок, когда войне-то конец? – решил подыграть дед, чтобы мысленно выдать окончательный диагноз заигравшемуся «лейтенанту».

– Скоро, отец, скоро. От американских лётчиков я слышал, что вот-вот второй фронт откроется.

Дед почесал затылок. Глянул на новенький истребитель, потом на лётчика, задержал взгляд на Умке и махнул рукой:

– Шут с ним, пойдём ужинать, – и про себя добавил: «Поедим – увидим».

– Ради такого дела отведем «второго фронта», – лётчик подмигнул, запрыгнул на крыло и, перегнувшись в кабину машины, покопался в своих вещах.

– Держи, дед! Чёрт с ним – с этим НЗ. – Он кинул вниз какой-то темный предмет.

Семён ловко поймал его и обомлел. В лучах заходящего солнца ещё можно было разглядеть на поблескивающей желтоватой поверхности жестяной банки надпись: «Свиная тушенка», ниже шли какие-то письмена на английском. Семёничик их не понял, а в самом низу, возле самого доньшка банки – уж никак не ошибиться – было выбито: New York, N. Y. Семёничик узнал её: точно такую же банку американской тушенки он как-то получил в свой день рождения от одного лётчика-истребителя на ремонтной площадке в Красноярске зимой сорок третьего года. Он уже не помнил, какая на вкус была тушенка, но блестящая банка с надписями на русском и английском языках ещё долго стояла на полке, напоминая ему о военном детстве. Дед зачарованно смотрел на банку. Лейтенант что-то эмоционально рассказывал, шагая взад-вперед рядом с оглушенным таким совпадением Семёничиком, но тот его будто бы и не слышал.

– ...Скажи там у вас в сельсовете, так, мол, и так, пусть людьми обеспечат, – потряс его за плечо пилот.

– Что? – встрепенулся Семёничик.

– Я говорю: людей бы сюда, чтобы пляжную полосу подровняли. Мало ли что. Мне вот повезло – приземлился. А я своим доложу, что есть на экстренный случай запасная полоса. Ну, договорились?

– Угу.

– Хворост имеется? – лётчик потряс коробком со спичками.

– Угу, – задумчиво ответил дед и вытряхнул из рюкзака хворост. Он взял протянутый в темноте коробок – на этикетке нарисованный истребитель с красными звездами преследовал горящий самолёт со свастики. Привычным движением Семёничик достал спичку и чиркнул о шероховатую поверхность серы. Спичка вспыхнула. Вдруг порыв ветра загасил огонь. Дед, наконец, решился: он чиркнул снова и полуласково, участливо спросил:

– А скажи-ка, мил человек, какой сегодня, по-твоему, год?

Семёнчик поднял спичку так, чтобы в сумерках можно было разглядеть лицо напротив. Никого не было. Дед вышел из гаража, огляделся – никого.

– Что за чертовщина?! – прошептал он пересохшими губами.

– Солдатик! – жалобно позвал он в темноту.

Тишина.

Он глянул на речку, и неприятный холодок пробежал у него по спине. В наступившей темноте ещё можно было разглядеть, что никакого самолёта там не было – даже следов. Речка была, черная стена тайги по-прежнему прикрывала пляж, где еще недавно стоял истребитель, но сама машина как в воду канула. Семёнчик, в глубине души сожалея о своём партийном прошлом, три раза выразительно перекрестился:

– Царица небесная, спаси и сохрани!

Всю ночь дед не сомкнул глаз. Полная луна присматривала за Семёном огромным жёлтым глазом, заливая серебром ровную дорожку пляжа. А дед палил деревину, и ему мерещилась всякая нечисть: то тень отделится от деревьев на том берегу реки, то сама река вдруг оживет причудливыми тварями, то вскрикнет в тайге кто-то жалобно. Умка тоже не спал. Отойдёт от костра недалеко, прислушается, мордой поводит – запахов тревожных соберет и – назад, к огню, под защиту хозяина. С первыми лучами Семен засобирался в обратный путь. Только дома, плотно закрыв за собой дверь и зашторив окна, он заглянул в рюкзак. Вынуть банку сразу не решился, всё ощупывал, рассматривал в темной утробе рюкзака, словно не верил холодку под пальцами, а потом, вытащив банку с тушенкой на свет божий, постановил по центру стола и долго глядел на нее.

– Хорошо, – сказал он, наконец, сам себе, – посмотрим.

На следующее утро Семёнчик был во всеоружии. В рюкзаке уже лежала нехитрая снедь с расчетом на три дня, коробка с патронами, тёплый свитер и другие нужные в тайге вещи. Задержавшись в сенах, дед выхватил из груды сложенных в углу огородных инструментов лопату, возле крыльца отвязал радостно прыгающего Умку.

– Где пропадал, Семёнчик? Я вчера уже хотела к участковому идти, – окликнула возле калитки соседка Никитична.

– Ты лучше приставь его к Лёхе, внуку своему. Опять рулады ночью под окнами выводил, – отрезал дед, пресекая расспросы.

Крючок на калиткебрякнул, и хозяин, не оборачиваясь, поспешил в сторону леса – Умка не отставал. Теперь дед шёл короткой дорогой и к полудню был на месте. Набрал хвороста, наломал ещё лапника, оборудовал место для ночлега и стал ждать. Самолёт появился неожиданно, как и накануне. Махнув звёздными крыльями, пошёл на посадку. Притулив в угол ружьё, Семёнчик теперь сам вышел навстречу лётчику.

– Лейтенант Терентьев, лётчик, – первым снова представился пилот, будто и не виделись они вчера.

Тот же тревожный взгляд, нервные пальцы у кобуры...

Семёнчик тоже представился.

– Что за строения? – поинтересовался лётчик.

– Да вот... Охраняю, – уклончиво сказал дед.

Пошли к кострищу, разговорились: «Вот – второй фронт... Надо бы полосу подготовить... Хворост есть?». Семенчик добросовестно отвечал на все вчерашние вопросы, внимательно слушал будто заученную

речь пилота о пригодности полосы. А в полночь сказочной Золушкой снова исчезли и летчик, и самолёт.

К середине июня в кухне на столе у Семёнчика красовались пятнадцать банок американской тушенки и пятнадцать неполных коробков спичек. Дед Семён всё так же исправно ходил в тайгу, счищал лопатой мох с каменистой поверхности пляжа, срезал кусты, встречал самолёт. Он давно перестал терзать себя вопросами и разными думами: что за самолёт, откуда он берётся, кто такой этот лётчик Терентьев? Всё равно ничего не надумаешь. Работы было много, и дед, как когда-то маленький Сёма, так же помогал своим. Вновь после смерти своей старухи он радовался жизни, ему нравилось встречать самолёт, «удивляться» второму фронту и даже слушать заезженную речь пилота. Дед как-то попытался сменить тему разговора, но лётчик словно не слышал Семёна, гнул своё: надо, мол, полосу делать – и всё тут. И Семёнчик делал. Только вот силы у него были уже не те. Это раньше, в молодости, он мог на себе целые небольшие стволы деревьев таскать. Теперь же ему нужен был помощник, чтобы свалить пару пихт. Работника следовало подобрать неболтливому и в руках чтобы сила была – не на прогулку идти. После недолгих раздумий выбор пал на Лёху-десантника – внука Никитичны. Было ему под тридцать. Лёха этот после армии в город подался, в деревне говорили, что там на него то ли братки наехали, то ли он сам в братках ходил. В общем, сбежал он из города от кого-то – может, от властей, а может, от бандитов. История тёмная, но Семёнчика не это заботило. Лёха сильно пил. Бывало, вечером начнёт песни орать – спасу нет. Утром ходит по дворам – работу ищет, где за деньги, где за пол-литру, а вечером снова заводит «Ан-12 набирает высоту», и под конец песни какой-то паренёк, «не найдя купола над головой», в очередной раз разбивался насмерть. Последний куплет всегда шел вперемешку с рыданиями Лёхи и диким воем Буяна, собачки Никитичны.

– Ну что, пихту завалить сможешь? – спросил дед Лёху.

– Для тебя, дед, хоть слона завалю, – Лёха возвращался с халтуры и был навеселе. – Я, Семёнчик, всегда правофланговым был. – Двухметровый детина самодовольно улыбнулся и сильнее заломил на голове замасленный голубой берет.

– Ты сегодня свою шарманку не заводил бы...

– Какую еще шарманку? – мутные глаза Лёхи подозрительно уставились на соседа.

– Ту, из-за которой десантник всё падает да никак разбиться не может. Выспаться надо. Пойдём спозаранок.

Наутро изрядно помятый Лёха зашёл к Семёнчику.

– Дед, аванец бы мне...

– Какой ещё «аванец»? – сурово поднял бровь Семёнчик.

– Граммов сто...

– Ничего, на месте опохмелишься, гвардеец. Жди меня во дворе, – дед был непреклонен.

Перед выходом Семёнчик открыл шкаф в спальне, извлёк из-под всякого тряпичного хлама огромную бутылку с коричневатой жидкостью, с усилием вытащил пробку, поморщился от самогонных паров, ударивших в нос и, наполнив жидкостью поллитровку, сунул её в рюкзак.

Всю дорогу Лёха молчал. На его красном от ночного веселья, взмокшем лице были видны следы похмельных страданий. Он плёлся, плохо разбирая дорогу, тяжело дышал перегаром в спину Семёнчику. К базе вышли, как говорится, по графику – как планировал дед.

– Не томи, Семёнчик, – заскулил Лёха, мешком рухнув на лапник в гараже, и жалобно поглядел на деда.

Тот неторопливо развязал рюкзак, достал бутылку.

– Смотри, Лёша, – деловито предупредил дед, кивая на пузырь, – эта штука очень сурьёзная – я сам гнал и на травках нужных выстаивал. От неё таких правофланговых вытягивало, не чета тебе.

– Не переживай. Здесь всего тридцать три «булька». Я и не столько держал. – Лёха с силой дунул в граненый стакан и честно, бульками, отмерил сто граммов.

– Смотри, как бы к вечеру к тебе твой «десантник» не прилетел. – Семёнчик хитро улынулся: кто поверит пьяному Лёхе, что он самолет видел в тайге?!

Дело зашпорилося. Лёхин тельник мелькал повсюду: хворост собрать, дров нарубить, пихту завалить, кусты кое-где подрезать. К вечеру всё было готово. Каменистое плато теперь было не узнать – снова ровная, как доска, полоса.

– Семёнчик, для чего тебе это? – Лёха махнул свободной от стакана рукой в сторону полосы.

– Пил бы ты меньше, Лёша, – переменял тему дед, избегая объяснений.

Лёха опрокинул в глотку содержимое стакана, крякнул и потянулся к закуске. В то же мгновение над тайгой появился самолёт. Лёхина рука так и застыла в воздухе, не дотянувшись до куска сала. Махнув крылом, «кобра» пошла на второй круг. Лёха, сидя с открытым ртом, ткнул пальцем в самолёт, только что севший на полосу, и что-то промывчал.

– Я предупреждал тебя, Алексей, – строго сказал Семёнчик и направился к самолёту.

Поздоровались. Дед получил очередной гостинец. Пошли к гаражу. Всё – как обычно, да не совсем. Вдруг пилот сказал Семёнчику:

– Хорошая полоса получилась, спасибо, отец. Может, и к награде тебя представят. Теперь можно садиться.

– Кому садиться? – дед, надеясь, что сейчас ему скажут что-то важное, затаил дыхание, ловя каждое слово.

Лётчик тряхнул головой, словно сбрасывая с себя какое-то оцепенение, но вместо ответа дед услышал:

– Хворост имеется? – И очередной коробок лег в грязноватую мозолистую ладонь Семёнчика.

В сторонке, затаившись, на куче мусора сидел Лёха, сверкая из темного угла белками глаз. Он с недоумением уставился на человека в кожаной куртке, а тот, в свою очередь, сурово зыркнув на верзилу в изодранной тельняшке, ткнул в него пальцем, словно с плаката времён Отечественной войны, и грозно спросил:

– Дезертир?

– Контуженный он на всю голову, – беззаботно махнул рукой дед на Лёху и опустил глаза, – комиссовали недавно. Вот вожусь теперь.

По тому, как Лёха удивленно вскрикнул, закрывая лицо руками, будто защищаясь от удара, Семёнчик понял, что пилот снова растворился в воздухе.

– Налить ещё? – ухмыляясь, улыбнулся дед, протягивая на четверть наполненную бутылку.

Лёха испуганно замычал.

– А я тебя предупрежда-ал – серьёзная штука! – назидательно протянул дед, а затем опытным глазом отмерил в стакан сто грамм и залпом выпил. Семёнчик был доволен. И не столько его радовало, что лётчик посулил ему награду (зачем она ему?), сколько радостно было от того, что он смог помочь своим, как в детстве, когда в замерзших ладошках держал стылый инструмент, когда бежал встречать каждый самолёт, с завистью глядя на усталые, но счастливые лица пилотов; радовался, что здесь, в этом укромном таёжном месте, как и раньше, люди живут вместе, когда человек человеку друг, и что всё, как и в детстве, по-честному – здесь не было дельцов и бандитов, заживевших банкиров и лохов. Там, на западе, был враг – и он будет разбит! Так было всегда, когда они играли с ребятами в войнушку.

Дед сел у костра, смахнул с щеки счастливую слезу и во все горло грянул:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны,
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.

На следующий день Семёнчик доставил притихшего Лёху домой. Рядом с дедовой избой стоял «уазик» Степана. У внука был свой кооператив в городе. С ранней весны ездил он по деревням, договаривался с пасечниками о ценах на мёд. У старика он был редким и недокучивым гостем. И никогда не заезжал в разгар заготовки мёда, а тут – случай неординарный, прикатил в июле. Дед любил своего внука, но занятие его никак не мог принять. Вот и сейчас начал внуку мораль читать:

– Тебе, Степан, твоё богатство глаза застило. А человек, он для того и есть, чтобы внутрь себя заглянуть, понять, кто он таков и для чего чадит на свете белом. Вот если поймёт он это, тогда каждый божий день будет для него дороже злата-серебра...

Так и уехал Степан, не выведав, чего это дед в тайгу с лопатой шастает.

А на следующий день Семёнчик слёг. Вытянула тайга силы из деда, забрала сырыми ночами. Не знай Никитична новую привычку своего соседа уходить надолго в тайгу, наведалься бы к старику, но случилось так, что деда поздно хватились. А виной всему гражданский самолёт, что с начальством из области как снег на голову сел на дедову полосу. Много шума наделала эта аварийная посадка. Самолёт тот в город летел, когда в пути что-то случилось с двигателем. Пилот АН-28 сразу смекнул – кто-то приводил в порядок пляж у реки. «Сесть негде – тайга. Гляжу: речка чёткой блесит и пляж – ни кустика, ни деревца, чистый, ровный, как подгадал кто! Я на круг, а потом на глиссаду», – рассказывал он потом журналистам.

Не случись этого – не спас бы он ни машины, ни пассажиров, что летели этим рейсом. В деревню репортёры из города понаехали. Местные газетчики подняли шум: что да как, кто герой? Тут Лёха про деда Семёна и вспомнил.

Очнувшись от горячки, дед удивлённо поглядел на скопление народа вокруг него, казалось, лопнет его изба от такого количества людей. У кровати хлопотали врачи в белых халатах, репортёры с фототехникой, чиновники в строгих костюмах, деревенские... Но पुше всего он удивился человеку в лётной форме, что сидел напротив, и его тревожным, цепким глазам. Эти глаза он узнал бы из тысячи других, когда-либо виденных им за всю его долгую жизнь. С каким нетерпением каждый раз он ждал, когда этот усталый недоверчивый взгляд серых глаз из-под лётного кожаного шлема засветится приветливо и хриплый голос весело скажет: «Ради такого дела – отведаем «второго фронта».

– Терентьев? – слабый голос Семёна был едва слышен.

– Терентьев, – в свою очередь, удивленно пробасил пилот. – Откуда известна моя фамилия, дедушка?

Семён окинул потухшим взглядом комнату, стараясь не пропустить ничего лица, посмотрел на Лёху, репортёров. Вдруг глаза деда осветились догадкой.

– Посадил? – одними губами спросил он пилота.

– Посадил, дедушка, посадил! Скольких людей вы спасли!

– Мы спасли, – шептали губы Семёнчика, – и ещё дед твой – лейтенант Терентьев.

– Вы знали его? – от удивления пилот даже привстал со стула.

– Знавал, – слова давались Семёну с трудом, – он тебе гостинца передал: второй фронт. Там, на столе...

Деда увезли в районную больницу. После врачи говорили, что на день бы раньше... «Кто ж знал?» – разводила руками Никитична, утирая кончиком платка накатившую слезу. Сердобольная соседка хотела взять к себе Умку, но пёс куда-то пропал. Как-то осенью охотник, тот, что с дальней заимки, рассказывал: в тайге, аккуратно на той речке, где самолет недавно сел, видел он черного пса с белым «бланшем» под правым глазом – бока впалые, одна кожа да кости. Тощий пёс сидел недвижно. Вытянув вперед черную как смоль морду, прислушивался. Будто ждал чего-то...

Емельян МАРКОВ

Родился в 1972 году в Москве. Окончил Литературный институт (семинар Александра Рекемчука). Сменил ряд профессий: от дворника до журналиста, от рекламного копирайтера до охранника и помощника звонаря в храме. Работал в издательстве «Эксмо», в Московском художественном академическом театре им. М. Горького.

Публиковался в газете «Литературная Россия», в журналах «Юность», «Москва», «Литературная учеба» и других периодических изданиях. Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

Живет в Москве.

ЧУДОВИЩЕ

Она сидела возле церковных ворот. Можно было угадать, что не так давно, буквально позавчера, она была красавицей. Когда она по диагонали пересекала церковный двор от ворот до калитки, в ее походке читалось сознание собственной позавчерашней красоты.

– Анюта, – говорил ей, проходя мимо, звонарь с живыми глазами и седой длинной бородой, – ты бы вывеску обновила. Что ж у тебя полгода уже написано, что ребенку твоему семь месяцев.

Она послушалась, написала, что ребенку год, хотя детей у нее пока не было. У нее был «дядя». Она его представляла как дядю, а он ее – как племянницу, на самом же деле они не состояли в родстве.

...Родители Анюты разошлись, когда дочке было годика три, и всё жонглировали ею. Кидали один другому. Мать Анюты имела такой невообразимый нрав, что Анюта лет с десяти постоянно убегала от нее к отцу. А когда Анюта подросла, стала красавицей с большой тугой грудью и узкой гибкой талией, в ней стали обнаруживаться черты характера матери. Совсем слегка обнаруживаться, во взгляде, в какой-нибудь невинной бытовой реплике. Но папа сразу в ужасе сбежал жить на дачу: обжегшись на молоке, дуют на воду. Осталась Анюта в квартире одна. Учиться она нигде не училась, куда податься, не знала, офицерская пенсия отца уехала на дачу вместе с ним. Зашла Анюта к матери, посоветоваться. Мать вроде хорошо встретила, посадила обедать, а как Анюта стала о своей жизни рассказывать, в сердцах ударила дочь лицом об стол. Понятное дело, Анюта старалась навещать буйную матушку сколь можно реже. Взялась она что-то вязать, шить: мать хоть и чумой была, но рукодельницей, к чему и дочку сызмала приохотила. Вязаньем да шитьем зарабатывала Анюта крохи, заказов появлялось катастрофически мало. Анюта заскучала одна в квартире, стала ходить по компаниям. Там пили, покуривали травку, она пила

вместе со всеми и покуривала. А то и поесть перепадало. Но сверстники были какие-то рассеянные и суетливые и не давали Ане полноты счастья. Аня сама быстро наскучила им сговорчивостью – что ей не предложишь, даже в шутку, она соглашается, но при этом и в разгар веселья остается отчужденной, как-то страшно, пусто смотрит большими темными глазами перед собой. Говорили ей смышленные люди, что с ее данными вовсе и не обязательно так неумно валандаться, а нетрудно заработать серьезные деньги. Но Аня как не слышала их, одновременно и крайне доступная, и совершенно непреклонная. Скоро ее стали избегать.

И тогда объявился «дядя». Он шел по скользкому зимнему тротуару. Аня стояла возле фонарного столба и, косясь взглядом в сторону, криво улыбалась. Дядя подошел, взял ее за плечи и положил навзничь в снег. Когда он тяжело навалился, она посмотрела ему в глаза. Тут дядя сразу слез, с решительным видом взял Аню за руку и повел за собой, она плавно выгибалась в тонкой талии, как верба на ветру, и неизменно криво улыбалась. «Вы настоящий мужчина...» – шептала она.

И вот с дядей она стала счастлива. Отец съехал на дачу навсегда, они поселились у Ани, потому что «дяде» жить было негде. В прошлом «дядя» служил в милиции в чине майора, но проворовался и полетел под гору.

Устроился «дядя» дворником. Худо-бедно убирал двор, зрелищно размахивал лопатой, сморкался в одну ноздрю, поблескивая глазом. Двигал снег к бордюру с таким нахрапом, что, казалось, никакая сила не могла его остановить, а через мгновение исчезал с территории с моментальностью потухшего света. Аня поначалу тоже приспособилась было хозяйничать: вставала рано, распустила старые кофты, затеяла вязать «дяде» свитер, но потом отложила вязание и просто сидела дома: с прямой спиной, глядя в одну точку, на табурете или с ногами на диванчике в позе Аленушки с картины Васнецова. Меньше стали пить, и Аня резко похорошела, она быстро восстанавливалась. «Дядя» приходил с заиндевелой бородой, веселый.

– Аня, – говорил он, – встречай кормильца, стягивай сапоги.

Аня стягивала сапоги, но она больше не была рада «дяде», и он, резвый от природы человек, терял вдохновение. «Ты скучноват», – сказала ему Аня как-то. А вечером, когда он вернулся с работы, ее дома не оказалось. Он не стал ее искать, пошел в дворницкую, чтобы переночевать там. Но не спалось. Ночью он вышел на улицу, чтобы купить чекушку. Побрел через двор. Тут увидел Аню. Она шла расхристанная, со сбитой набок юбкой. Точнее, она не шла, а, подаваясь вперед, плыла над сугробами.

– Ты где была? – спросил «дядя».

– У друга. Ты скучноват...

Он, как первый раз, взял ее за руку и повел домой, она не сопротивлялась.

Дома она опять уселась неподвижно.

– И что это за друг такой бесценный? – спросил «дядя» мрачно, для затравки, он собрался бить Аню.

– Такой друг, что если он скажет: «убей», я убью. Он женат, его надо было пожалеть.

У дяди почему-то отпала охота Аню бить, опять пропало напрочь всякое вдохновение.

На следующий день он на работу не вышел, и Аня опять полюбила его. Он уже и бил ее за «друга», но она терпела, только улыбалась криво.

Практически единственным источником их доходов стала церковная милостыня. Просили здесь и другие нищие, но Боря (так звали «дядю»), не утративший правоохранительную хватку, забрал среди них главенство, собирал дань. Составилась небольшая нищенская община. Так что, если Боря и не стоял сегодня у церкви, процент он все равно получал, делая раза два на дню неспешный обход. И от этих легких денег Боря быстро занемог, у него опухли ноги, так что еле мог ходить, и он весь опух, набряк, посинел, глаза вылезли из орбит. Однажды он куда-то исчез, и Аня осталась одна опять. Она продолжала пить, но без Бори она пила меньше, быстро засыпала у церковных ворот в позе тициановской Данаи.

Церковные сторожа нечасто менялись, но – то уволят одного за нарушения устава, то другой сойдет по старости, то третий уйдет в монастырь. И вот взяли нового молодого сторожа Ярослава, он не терпел, когда его называли Славой, требовал, чтобы обращались Яр.

Яр взялся за дела яро. Положено было выгонять нищих за ограду. Другие, обтесавшиеся, сторожа смотрели на вылазки голытьбы сквозь пальцы или, образно говоря, сквозь обильную связку ключей, которую степенно носили в руках. Яр же, чуть нищий ступит на подворье, сразу летел к нему и требовал выйти. «Упрямый ты», – сказал ему чернобородый Гена, бывший, а может, и настоящий уголовник, появившийся недавно, но уже норовящий свергнуть Борю. Но Яр и его не испугался: «Да нет, это ты упрямый», – ответил. Потом они даже подружились. Как-то ни свет ни заря Яр вышел открывать храм (ворота он открыл, когда еще не рассвело) и встретил Гену, идущего в сортир. На Гене были белые брюки и черный кожаный пиджак, в ушах наушники плеера. Гена приветливо выдернул наушники.

– Какой ты, Ген, нарядный, – сказал Яр весело.

– А как ты хотел, праздник сегодня, 8-е марта, – сдержанно ответил Гена.

– А что слушаешь? Моцарта?

– Нет, «Битлз».

...«Ухожу, ухожу, Ярик, – высоким голосом говорил синеглазый Коля, отвоевавший в Афгане, – я только крест зашел наложить». Яр стоял перед ним в задумчивости. Коля долго, неверной рукой, накладывал крест. Казалось, яркая синева его глаз сейчас плеснет на тротуар. А потом Яр находил Колю в уборной спящим на сиденье.

Была одна, которая никогда не заходила на территорию, не старая совсем женщина, стройная, в длинном облегающем черном пальто, она протягивала узкую ладонь и смотрела исподлобья большими измученными глазами; привел ее и курировал люто-спокойный Гена. Куда ей заходить на территорию – она была пуглива как лань.

Аню Яр тоже гонял, но как-то невольно смягчал голос: «Аня, милая, будь добра, выйди за ворота». Аня медленно вставала и, чуть изгибаясь в талии, чуть двигая своим безукоризненным станом нигерийской принцессы, выходила за ворота. «Если б рожка не такая опухшая...» – думал Яр.

К единственной нищей Яр был полностью снисходителен – к пожилой Татьяне, в прошлом главной смотрительнице Дарвиновского музея. Она подходила с маленьким целлофановым пакетиком в руке к самой паперти, и Яр ее выводил, только если начинал уже ругаться староста. Опустилась Татьяна из-за сына Саши, наркомана. Он бил ее, отнимал на наркотики пенсию. Когда Саша попытался завязать с наркотиками и обратился к водке, Татьяна, чтобы поощрить менее пагубную привычку, стала с ним выпивать и очень быстро встала возле храма. Саша и эти деньги у нее отнимал, бил мать еще сильнее: сломал ей нос. Яр подошел к нему раз и сказал:

– Ты это что, дорогой?

– А что... – растерялся Саша, который был выше высокого Яра на полголовы.

– А то. Ты что бьешь мать?

– Да он не бьет, – вступилась Татьяна, – не бьет.

Тут уж несколько растерялся Яр.

– Ты вот что знай: мы ее в обиду не дадим, она при храме, она наша, понял?

– Понял.

В следующий раз Татьяна пришла настолько побитой, что глаз видно не было.

– Опять он вас бил?... – спросил Яр.

– Не надо... пожалуйста, не надо, – моляще потянулась к нему Татьяна, – не вмешивайтесь...

Яр и перестал вмешиваться. Другое дело, Аня. Гена в отсутствие Бори затеял забирать у нее деньги. Она съездила к отцу на дачу, с ним не ужилась, но вернулась опять прежней красавицей. Гена такую вовсе не допустил ее просить. «Ты здоровая молодая девка, иди работай», – говорил он со злобой. Чего, казалось бы, стоило ему напоить ее, превратить в свою любовницу и усадить на прежнее место с табличкой. Но он, похоже, готов был скорее убить ее.

Аню стали кормить в трапезной, за что она ухаживала за цветами. Яр наблюдал ее работу через окно сторожки и силился созерцать бескорыстно. Яр не знал, как для других мужчин, но для него всегда влечение к женщине было мучительным, всеохватывающим, поэтому он дичился женщин, они легким своим появлением вызывали в нем восторг, страдание и стыд. Он и решил для себя, что следует относиться к женщине бескорыстно и наглядную красоту ее воспринимать бескорыстно, и тогда сделается возможным глубокое чистое общение с женщиной, которое, в конце концов, когда-нибудь приведет к чаемому счастью, о котором Яр мечтал с детства. Но сначала надо вымуштровать себя, приучить к такому бескорыстию. «Вот, к примеру, за окном скребет граблями прошлогоднюю траву удивительно, немыслимо похорошевшая за последние дни Аня. Вся в черном, длинная юбка, только платок с сиреневыми и синими узорами по голубому полю, да белеет поясница через тонкую полоску под фуфайкой, когда нагибается за жухлой травой. Буду любоваться, – думал Яр, – но совершенно бескорыстно». Они столкнулись в дверях, когда Аня ставила грабли.

– Я поставлю тут...

– Правильно, здесь им и место.

Аня вышла, Яр устремился за ней.

– А вы давно здесь работаете? – спросила Аня.

– Аня, ты же меня всю зиму видела.

– Да... видела. Правда, я зимой ничего толком не видела, у меня было какое-то грустное настроение зимой.

Яр шелкнул себе пальцем по шее. Аня подняла и опустила глаза.

– По-моему, у тебя и сейчас грустное настроение, ты и сейчас меня в упор не видишь, – посетовал Яр.

– Нет, сейчас мне весело. А как тебя зовут?

– Яр.

– Странное имя, никогда не слышала.

– Ярослав.

– Ярослав сокращено ведь Слава.

– Я не люблю это сокращение.

– Зачем из себя изображать? Яр! – вспыхнула вдруг Аня. – Слава – и всё.

– А ты зови меня все-таки Яром.

– Хорошо, – опустила глаза Аня.

– Ты семечки любишь грызть?

– Да так, иногда... редко, – Аня улыбнулась, – вообще, люблю, – она подставила ладонь.

Яр отсыпал ей семечек.

– Меня звонарь угостил, – объяснил он.

– О! У него волшебные семечки, – подхватила Аня, – он мне дал в карман, я грызла, а они все не кончались. Одну я оставила себе на память.

Они разговаривали долго, священники и все работники храма разошлись. Раиса Павловна, казначей, «железная леди», как называли ее сторожа, оставшаяся сегодня ночевать, уже пристально наблюдала за ними. А Аня всё не уходила, стояла перед Яром, то опуская, то поднимая на него матовые черные глаза, и когда поднимала, Яр напряженно улыбался.

– Анюта, тебе домой пора! – громко напомнила наконец Раиса Павловна.

Возле ворот они опять было остановились, но Аня обронила взгляд и сказала:

– Ну ладно, холодает что-то, я побегу.

– Сейчас не так холодно, чтобы бежать, – возразил Яр.

– Я побегу не столько от холода, сколько от страха замерзнуть, – ответила Аня.

Яр поддался преувеличенному восторгу от этой фразы, сколь возможно смотрел через решетку Ане вслед, ждал, что она оглянется, но она смотрела себе под ноги, ступала ровно и стремительно.

– Ты не очень-то с Аней, – сказала ему Раиса Павловна, когда он вернулся от ворот.

– Да я просто поговорил с ней.

– Да, – властно посмотрела на него казначей, – не очень-то, ты же знаешь, кто она.

– Она исправится, она же еще молодая.

– Какой же ты, Ярослав, наивный. Если молодая, то сразу и исправится...

Распустились ирисы. Седобородый звонарь внимательно косился на них темными глянцевыми глазами и рассказывал Яру, как в бытность светским художником увлекался он модерном, рисовал такие вот лиловые ирисы. Блик на его широком серебряном венчальном кольце

перекликался с бликами в глазах. Боря не появлялся, стали предполагать, что он отдал богу душу где-нибудь в подземном переходе. К Ане переехала тетка, сестра матери, она была портниха, и вместе они что-то шили на дому. Раз, когда Аня пропалывала ирисы, Яр зазвал ее пить чай к себе в сторожку.

– Вот, смотри, какое платье пожертвовали, явный эксклюзив, канадское.

Он показал Ане длинное узкое платье в крупных маках по теплому кремовому полю.

– Красивое, – сказала Аня.

– Не то слово! – подхватил Яр, – я для тебя его приберегу, возьми.

– Спасибо, – Аня взяла пакет с платьем.

Сели за чай.

– Ты скучаешь по Боре? – спросил Яр.

– Да, без него скучно.

– А с ним весело?

– А с ним весело.

– Как ты себе представляешь свое будущее?

– Надо бы на работу устроиться, выйти замуж, но кому я такая нужна.

– Какая – такая?

– Ну, вот такая, – Аня расправила подол юбки.

– Мне нужна.

– А ты возьмешь меня замуж?

– Нет, погоди... – смутился Яр.

– А-а, ну вот! – горько вздохнула Аня, подняла ладони и плавно опустила их на колени.

– Нет, погоди. Вот сейчас мы сидим и пьем чай, так? А дальше видно будет. Тебя, по-моему, и убивает мысль о будущем, а надо жить настоящим.

– Мы так и жили с Борей – настоящим.

– Нет, вы жили будущим, светлым будущим, все алкаши живут светлым будущим, – Яр засмеялся.

– Ты умный, – грустно сказала Аня.

– Да какой я умный, я просто боюсь с тобой расстаться, каждую нашу встречу я боюсь с тобой расстаться.

– Я тоже...

Яр блаженно смотрел на нее, рядом с Аней он испытывал умиротворенное счастье, неизвестное ему раньше с женщиной; раньше женщины вызывали или досаду, или болезненный восторг, и Яр твердил, что любовь по природе своей мучительна, но теперь рядом с Аней он отдыхал от мучений. Было душно, и Аня по-простому скинула босоножки.

...Она так прекрасна, так странна, все представления о красоте смешаются, когда смотришь на нее. У нее какая-то нехорошая улыбка, но это физиологическое: когда она улыбается, становится заметно, что у нее слегка выдвинута нижняя челюсть, если не улыбается, совсем незаметно. Сложена она безукоризненно, только ступни – на одной косточка выпирает рядом с большим пальцем, как у старухи, на другой ноге – нет. Глаза большие, с одинаковыми верхними и нижними веками, то печальные, то совершенно пустые, до жути, лицо в свете настольной лампочки так играет поразительной красотой и некрасивостью, что это сильнее всякой однообразной красоты. Нос, губы со странным изгибом. Сфинкс, умиротворяющий неразрешимостью улыбки. А то стало

что-то скучно жить. Старик-физик, сменщик, говорит, что они, ученые, до всего докопались: и бытие Божие доказали, и бессмертие души тоже доказали. Странно, тянет их к бесконечно малому и бесконечно большому, а перед собой они ничего не видят.

– ...Пойду сейчас и найду себе мужика, – мрачно проговорила Аня.

– Зачем?..

– А просто так.

– Не надо.

– Хорошо, не буду.

– Любите вы, то есть ваше поколение, молодая поросль, – разозлился Яр, – нагонять тень на ясный день, строить из себя что-то крайне демоническое, а это все от неразвитости и, как следствия ее, заикленности на себе.

– Ну ладно, я пошла.

– Иди, – Яр с отчаянием смотрел перед собой.

– Хорошо, я останусь.

– Нет, ты уж иди, уже темно, а в том доме напротив наши работники храма живут и все видят.

– Пусть видят.

– Нет, не пусть.

На следующий день Яр не работал. Он выспался и не находил себе места. Когда стало совсем невмоготу, он выскочил из квартиры и ринулся в сторону храма. Возле церковных ворот он оглядывался, как человек, желающий быть незамеченным. Аня полола цветы. Она была в его платье с маками. «Аня!» – приглушенно позвал ее Яр. Она не слышала. Он позвал громче, но тщетно. Тогда он как можно непринужденней подошел к ней.

– Привет.

– Привет, – бросила на него взгляд Аня.

– Идем погуляем.

Аня выпрямилась.

– Пошли, – сказала она, – сейчас я только тляпку положу.

– Я буду ждать тебя за воротами.

Когда она вышла, он взял ее за руку и стремительно повел за собой. Возле храма стоял двенадцатизэтажный блочный дом, Яр завел Аню за угол этого дома, где разросся густой кустарник, и обнял ее, она с готовностью подняла подбородок. Яр припал к ее губам.

– Пошли к тебе... – в самозабвении прошептала она.

– Нет, сегодня не стоит, сегодня... постный день, – сказал Яр.

– Как хочешь...

– Завтра.

– Когда хочешь. Ты всегда можешь позвать меня, я всегда приду, сладкий ты мой...

– Нет, не когда хочешь, а именно завтра, в десять часов утра я буду ждать тебя здесь же, в десять часов и не позже, если позже – я умру.

«Излечила!» – так думал Яр вечером. Смысла старую скорбь, все прошло, будто и не было. А может, ничего и не было, а только сейчас начинается. Какая женщина, какая удивительная девушка! Да, в наше время только в омуте можно найти такое чудо. Яр уже страшно жалел, что перенес на завтра, допустимо ведь уговориться и на сегодняшний вечер, но телефона Аниного он не знал.

Утром в десять он, бледный, не выспавшийся, стоял возле куста и ждал. Аня не приходила. Он прождал час. Аня не пришла. Днем он выслеживал ее возле церкви, но Аня исчезла.

Спустя несколько дней Яр, привычно обходя подворье, встретил Боря.

— Как ты помолодел... — сказал Яр приветливо.

Боря действительно похудел, помолодел, его крупным светло-голубым глазам вернулась откуда ни возьмись красивая форма, он был чисто выбрит, обнаружился маленький аккуратный рот.

— Да... в больнице пролежал два месяца, — с полуулыбкой, немного снисходительно ответил Боря.

— А где твоя хромота, липовая была?

— Почему липовая? Ноги пухли, теперь не пухнут.

— Вылечили?

— Вылечили.

— А как твоя племянница?

— Племянница-то? Хорошо, свитер мне вяжет.

Яр понимающе усмехнулся, пошел в сторожку, взял с полки пузырек корвалола, выпил половину и подумал: «Все-таки я чудовище, и никуда мне от себя не убежать».

Александр ЕВСЮКОВ

Родился в 1982 году в городе Щёкино Тульской области. Выпускник Литинститута 2007 года. Публиковался в журналах «Дружба народов», «День и ночь», «Homo Legens», «Вайнах» (Грозный), «Бельские просторы», «Звезда Востока» (Ташкент) и др.

Участник Форумов молодых писателей России, I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде. Победитель российско-итальянской премии «Радуга» (2016). Проза переведена на итальянский язык. Живет в Щёкине.

ПОВОРОТ

(Пять историй)

Колючка

В третий раз баба Маша проснулась поздно. До этого очнулась вдруг в аспидной черноте. По ней, по давно усохшей груди, бокам и ниже, до узловатых коленок, елозили липкими лапами мелкие и шустрые твари. Забрались в самый жар, под ватное и войлочное одеяла. А она хлопала себя ослабевшими руками и тоскливо думала: извела-ведь-тараканов-под-чистую-и-опять... Но вот утихли, перестали бегать. И баба Маша обессиленно провалилась в дрему.

Потом – было, не было? – а кольнуло снизу, и со двора донеслось тонкое бление.

– Сейчас, Дунька, выйду, задам тебе корма, – беспокойно зашептала старуха, – в огород не ходи только. Не ходи...

И стала уже подниматься, но тут заметила – у печи копошится кто-то большой и серый. Холод пробежал от ног по спине. Боясьдохнуть, баба Маша осела и притянула одеяло к глазам.

Пригляделась – просто тень утренняя, сослепу померещилось неведь что. И не стала вставать – опять утрелась, заснула.

В третий раз – солнце било сквозь пыльную занавеску. И доносился стук со двора – голодная коза бодала стену дома. Вставай-вставай-залежишься-Дуньку-покорми-и-сама-чего-нибудь...

И баба Маша приподнялась на локте и двинулась уже спустить вниз ноги. Но перед печкой как ни в чем не бывало сидела и, никуда не торопясь, покуривала фигура в пестром платке и в выходной кацавейке. Как зашла-то? И как она, Маша, табачного духа не учуяла?

– Ты кто? – хрипло спросила.

– За лейкой я. И так – поглядеть.

– Какой еще лейкой?

– А брала ты по весне у соседей, да не отдала. Вот они и ругаются. Мужа твоего видала, сперва не скучал, а сейчас – извелся весь.

Да как же – деда уж который год нету, и двое сынов раньше матери прибрались, – а эта болтает, что видала его?

Но не спросила, а только:

– Да кто ты? И чего отдавать – леек у них мало?

Но та кончила курить и подошла ближе.

– Колючка, колюченька, – ласково огладила по седой голове, по щекам. И вдруг так спокойно ей стало и мирно. Поняла, кто... А та взяла и надавила сильно.

– Ма-мочка!

Но тут голова в пестром платке повернулась и с другой стороны оказалась тараканьей, и пристально смотрела теперь маленьким бесцветным глазом.

Раздался грохот – это коза проломилась сквозь штакетник в желанный огород.

Тело бабы Маши неподвижно лежало на сундуке в опустевшей комнате.

После лета

Мальчик по имени Юлий с жестяной банкой в руке подошел к своему участку – небольшому клочку земли за дачным домом. Внимательно, как взрослый, оглядел эти пять грядок зацветающей картошки. Этот участок он старательно вскапывал большой и неудобной лопатой. Потом закладывал в лунки клубни ростками вверх. Несколько раз поливал и дергал сорняки. И кусты тянулись вверх быстро и мощно.

А теперь надо было собрать колорадских жуков, засевших с тыльной стороны листьев. И Юлий взялся за дело. Он подносил банку снизу и легонько встряхивал зелень над ней. Жуки падали и стучали о дно, как мелкие градины.

Так Юлий прошел одну грядку и свернул на вторую, как вдруг от неосторожного движения жуки осыпались с куста сами, мимо банки. Мальчик наклонился, чтобы сразу их подобрать, но рука замерла. Все жуки беспомощно лежали брюшками вверх с поджатыми лапками и, казалось, умоляюще смотрели на Юлия своими крохотными глазами.

Он отступил и сел на траву. Он клял себя за эту всегдашнюю жалость и ничего не мог с ней поделать. Так и в школе – он жалел других и не мог дать им сдачи.

Перед самыми каникулами рыжий вихрастый Леха притормозил в коридоре: «Юлик! И звать тебя, как девчонку. Косу отрати, что ли?» – и помчался дальше.

А Юлий тут же вспомнил его у доски, затравленно заикавшегося на самом первом уроке. И ничего не ответил.

И сейчас вздохнул, перевернул банку и выпустил всех пленных жуков.

Вечером отец взял Юлия с собой на рыбалку. Вернулись утром, пропахшие костром, тиной и рыбьей чешуей. Спали полдня. Проснув-

шись, Юлий вышел к своему огородику и остолбенел. Вместо пышных кустов торчали голые обглоданные стволы. На них в закатном солнце сверкали рыже-черные панцири.

Отцовская рука легла на плечо.

– Зачем они так? – задыхаясь, выговорил Юлий.

– Не могут они по-другому. Жалей, не жалей.

* * *

Леха бил штрафной и не попал. И физкультура, и матч заканчивались. – Смешно, да? Ссыкотно аж? Может, и тебе смешно? – подскочил он к стоявшему чуть в стороне Юлию. – А-а? Юлька, смотри мне, – и ударил его по загривку, как стукнул бы парту или перила.

Правая рука Юлия сжалась в кулак, и он ударил в ответ. Изумленный Леха отшатнулся и от неожиданности чуть не упал. Встряхнув головой, он обрушился на Юлия с частыми, но бестолковыми ударами. Юлий ответил еще дважды. Потом физрук с кем-то из старших их разняли. Леха, снова заикаясь, выкрикивал все угрозы, какие только знал.

На голове и груди Юлия больно горели ссадины, но теперь он смотрел на площадку, на школу и улицу за воротами другим, уверенным взглядом.

Сука

С утра зарядил было дождь. Потом опомнился, сменился снегом. Ночью у всех Новый год – это совсем доканывало.

Иван с тоской поглядел на груды пустых бутылок на полу, на паутину в углах, на ее забытые босоножки в прихожей: одна – чуть стоптана на левую сторону.

Плотно прикрыл форточку. Крутанул горелки – газ тихо зашипел. Сел у окна, опустил голову на скрещенные запястья.

«Найдут дней через пять, после праздников... – мелькнуло, – нет, раньше – запах учуют».

Деньги на все, отсчитанные, лежали на комод, так чтобы сразу было видно. Не любил оставаться у кого-то в долгу.

Газ наполнял комнату. Веки набрякли, вид за окном помутнел.

Из двери соседнего дома прошмыгнула с мусорным ведром тетя Зося. Скажет потом: «Дурак, молодой еще...» Дверь она прикрыла неплотно – до помойки рукой подать.

И следом в оставшийся зазор сквозануло рыжее пятно. Иван чуть приподнял голову, и вот – с длинной палкой колбасы наперевес из дома вылетела Броша.

Он вдруг особенно ярко вспомнил ее – последнюю из большого помета, крохотную и жалкую, из-за вечного голода готовую сметать соленые огурцы вперемешку со снегом. Ничью. Она выжила и даже прибилась к его соседям, но охотничья прыть никак ее не оставляла. Выжила.

И тут на всю улицу, так что стекла задрожали, поднялся крик. Броша проскользнула под ногами у тети Зоси и понеслась дальше.

– Тварь! Сука!.. Новый год я справить хоте-ела!

Она бежала за собакой, но отставала на несколько шагов и все никак не могла ее догнать. И вот нога поехала на припорошенном льду, и тет-ка растянулась. Швырнула вдогонку пустое ведро, как гранату. Броша уклонилась, и ведро загрохотало по склону.

Иван, шатаясь, поднялся, сгреб с комода несколько купюр. Толкнул дверь и вышел.

– Мразь! Гадина! – не поднимаясь с обочины, рыдала тетя Зося.

Он дышал-дышал-дышал, его лицо на ходу оживало. Шагнул к Зосе, подал руку и, едва уняв это свое новое дыхание, спросил:

– Ну, сколько там твоя колбаса?..

Один

Настоятеля вызвали на Большую землю, и послушник Артемий на две зимних недели остался в скиту совсем один. Вечерами казалось, что и на всем острове. Среди обледеневшего моря.

Связи не было. Бушевала метель. Каждое утро Артемий протапты-вал тропинку к поленнице, а чтобы добраться до отхожего места, каж-дый раз становился на лыжи.

– Голгофа – Берегу. Голгофа?.. – запрашивал Артемий без особой надежды. Разбуженная рация раздраженно потрескивала. Ни звука в ответ.

Он обходил склады, топил пять печей и молился. Никого, даже мы-шей не слышно. Выглядывал в крошечное небо, с которого безудержно сыпал и сыпал снег.

«Для кого это все?» – настойчиво стучало в голове. Заученные мо-литвы не помогали.

«Господи, если ты правда меня слышишь?! Покажи мне хотя бы одну звезду. Всего одну. Если слышишь...»

Артемий подошел к двери, помедлил, как бы давая Господу еще не-много времени, а потом рывком дернул дверь и впился взглядом в небо.

Оно осталось непроглядно черным, от края и до края. Никто его не слышал.

Артемий вернулся в комнату и завалился на кушетку, бессмысленно глядя в потолок.

Утром метель утихла. Он надел лыжи и впервые за эти дни двинулся дальше отхожего места. Пошел по берегу длинной губы, глядя на льды и снега. Вдруг заметил круглую полынью. Но пробивать проруби было некому. Он поспешно скатился к ней и, приблизившись, замер.

В единственной полынье подо всем видимым небом покачивалась огромная морская звезда.

Персик

Снова, спустя четверть века, перед глазами – дом в затерянном си-бирском поселке. В самой просторной комнате гудит праздничное за-

столье. Из-за приоткрытой двери входит пушистый полосатый кот. Он давно возмужал и сменил окрас, но кличка, дурашливая и нежная, к нему прилипла. Кот мягко ступает и исподволь примечает множество незнакомых людей.

Интересно, что они все делают в его доме?..

В самом центре, отставив стул и скрестив на груди руки, восседает посланец Большого человека, которому стала нужна эта земля. В его сторону тревожно посматривают, ожидая чего-то значимого и веского. А он подносит стопку к губам и наслаждается моментом.

И тут наглый котище останавливается рядом и целится пометить стул под ним. И тогда, на перекрестье взглядов, посланец лихо поддевает кота ногой под брюхо:

– А ну пошел, скотина!

Все невольно замирают.

– Че?.. Пляшем! – посланец зычно командует.

Кот оглядывается на пнувшую ногу, нюхает воздух и неспешно выходит.

* * *

На ночлег захмелевших гостей уложат на полу. Они очнутся, когда самый раскатистый храп сменится вдруг удушливыми хрипами.

Кот, как взъерошенный демон мести, упрется лапами в грудь ошалевшего посланца и беззвучно вопьется ему в кадык.

Разом загалдят. В углу кто-то передернет затвор пистолета. А кот вспрыгнет на рамку открытой форточки и исчезнет в ночи. Посланец останется лежать бледный и выпученный. Кое-как прижмут раны и остановят кровь. Потом будут говорить, что пришлось накладывать швы.

Кота в поселке никто не увидит еще полгода. Злость на него пройдет. Мысленно с ним давно прощаются.

И вот летним утром он предстанет на пороге.

– Персик... – все встанут, обомлев.

Он понюхает воздух и потрется лбом о каждого, начав с детей.

Дом стоит на месте, и все люди в нем – свои.

Владимир ШПАКОВ

Родился в 1960 году в Брянске. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар А. Приставкина).

Проза публиковалась в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Нева», «Аврора», «Урал» и др. Автор девяти книг прозы и ряда пьес. Лауреат литературной премии Н.В. Гоголя за 2010 год. Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

Главный редактор литературного журнала «Зинзивер». Живет в Санкт-Петербурге.

НА КАРНИЗЕ

Окно в мансардном этаже даже издали выглядело грязным, закопченным, абсолютно непрозрачным. Рамы были старые, краска на них облезла, обнажив иссохшую древесину, а стекла держались, похоже, на одной замазке. Но самое главное: окно никогда не открывалось. И свет в нем не зажигался, что означало: в комнате никто не живет.

Зато жизнь бурлила на старом проржавевшем карнизе, который под наклоном отходил от окна, образуя небольшую площадку. По этой площадке разгуливали коты, на ней передыхали голуби; даже чайки там приземлялись, хотя от залива досюда было далеко. Понятно, что оккупировали карниз по очереди: если там коты, то голубям ловить нечего, даже большущие чайки с крючковатыми клювами предпочитали в этом случае перепорхнуть на соседний балкон. Когда же на ржавом железе появлялся человек, любая живность кидалась врассыпную – царь природы, как никак.

Впрочем, «царь» в обликии кровельщика вел себя боязливо он пробирался по карнизу с осторожностью, придерживаясь за стеночку, потому что – шестой этаж. А поскольку дом был тоже старый, то шестой этаж – это метров двадцать высоты, сверзишься – мало не покажется. Зимой на карнизе можно было увидеть тех же голубей (чайки и коты на это время куда-то исчезали), а еще людей в оранжевых жилетках, что сбрасывают с крыши снег и лед. Эти ходили без опаски, потому что на привязи были: привяжется такой за трубу или антенну длинной веревкой и давай киркой махать, обивать с карниза ледяной панцирь. Передыхая, оранжевый доставал сигарету и, закулив, что-то пытался разглядеть за грязным закопченным стеклом. Бывало, что и ладонь козырьком ко лбу прикладывал, чтобы не мешал отблеск стекла, но долго туда не смотрел, наверное, ничего интересного за окном не было. И для кровельщиков там не было ничего интересного, хотя они и не

пытались заглядывать внутрь: без привязи ведь ходили, а тут не до чужих секретов.

Она появилась в окне летним утром: створка медленно распахнулась, открыв черный оконный проем, и из этой черноты выплыла белая фигура. На самом деле халат (на ней был халат) имел лиловый цвет, но на фоне оконного проема он казался белым. Она вроде как горбилась, не помещаясь в проеме; лишь когда нога ступила на карниз и фигура распрямилась в полный рост, стало ясно: это высокая и стройная женщина. А еще курящая, потому что она сразу же достала сигарету и закурила. Волосы у женщины были светлые, коротко подстриженные, но челка оставалась, и она постоянно откидывала ее со лба. А как иначе, если с такой высоты глядишь вниз? При таком взгляде челка, понятно, свешивается, мешает обзору, значит, надо откидывать свободной рукой. В другой руке у нее была сигарета, а под ноги она поставила какую-то простецкую пепельницу. Изящно изгибаясь, она приседала едва не на корточки, чтобы стряхнуть пепел, потом выпрямлялась во весь рост, и было даже удивительно, что она не боится. В одной руке сигарета, другой она челку откидывает, и надо бы третью, чтобы за створку или за стену держатся. Так не держалась ведь! Курила, приседала, выпрямлялась, поглядывая вниз, видно, совершенно не страдала головокружением. Бывало, и вовсе голову запрокидывала и гладела на облака или на стрелу башенного крана, недавно установленного рядом с домом. Слегка покачиваясь, стрела скользила высоко над крышей (еще метров двадцать прибавьте), легкая и ажурная, она чем-то напоминала вышедшую на карниз женщину...

Вскоре окно просветлело: грязные разводы были убраны с помощью газеты, вначале изнутри, потом снаружи. Было видно, как хозяйка рвет газеты на клочки, после чего, встав на стул, совершает кругообразные движения руками. А спустя несколько дней она вылезла на карниз с баночкой и кистью, чтобы выкрасить старую иссохшую раму в белый цвет. Почему в белый? Нравилось человеку, наверное, хотя по нашей погоде цвет, конечно, непрактичный, утрачивает девственность за сезон. Потом в окне появились шторы. Там никогда не было штор; учитывая грязь и копоть, в них и нужды-то не было, а теперь появились, голубые и воздушные. Их выдувало сквозняком, когда женщина выбиралась на карниз, и колыхало на ветру. Видя это, женщина прекращала заниматься челкой, упрятывала шторы внутрь комнаты, после чего прикрывала створку и отправлялась гулять по карнизу.

Ну да, иначе это и не назовешь: гулять. Кровельщики, как вы помните, боялись здесь ходить, чистильщики снега — надеялись на страховочную веревку, а эта прохаживалась, как по бульвару! Ладно прохаживалась бы в хорошую погоду, так она ведь и в дождь вылезала! Когда с зонтиком, когда в накидке поверх халата, только проблема-то в другом: под ногами скользко, того и гляди... Но она почему-то совсем не боялась. Наоборот, ей нравилось на карнизе, как некоторым людям нравится стоять на балконе. Отличие в том, что на балконе есть перила, а на карнизе их нет. И установить нельзя, потому что дом, как уже говорилось, был старый, то есть — памятник архитектуры, и если каждый начнет перила устанавливать — что останется от памятника?

Правда, цветы запретить нельзя даже на памятнике, и она это знала. Вскоре она выставила на карниз три продолговатых пластиковых ящика, разместив их прямо у окна. Там колыхалась какая-то розоватая растительность, скорее всего, петунии; а вскоре на карнизе появилась

парочка кашпо с фиолетовыми цветами. Теперь она приседала не только для того, чтобы стряхнуть пепел, но и для полива своей карнизной клумбы. Если долго не было дождя, она выходила на карниз с маленькой зеленой лейкой и, присев, аккуратно поливала насаждения, как-то буквально кустились (сторона была солнечная, да и лето выдалось жарким).

По вечерам в освещенном квадрате окна иногда возникал силуэт. Тонкий и ломкий, он постоянно двигался, так что можно было догадаться: женщина развешивает белье на протянутой через комнату веревке. Или гладит его. Или делает какие-то физкультурные упражнения, типа, домашний фитнес. Иногда силуэт приближался к окну, штора отодвигалась, и хозяйка озидала клумбу: как, мол, мои цветы? Не поникли без солнечного света? Не завяли? В вечернее время она редко выбиралась на карниз, предпочитала курить, высунувшись едва ли не до пояса из окна. Но иногда и вечером (а то и ночью) появлялась на своем обычном месте, накинув поверх халата шаль.

С тамошним зоопарком она наладила отношения быстро. С ее появлением коты на время исчезли с карниза, выбрали для своих хождений другие маршруты. Птицы, правда, по-прежнему использовали площадку для отдыха, но тут же взмывали, если створка открывалась. Между тем хозяйка карниза (назовем ее так) помимо сигарет имела в кармане лилового халата то ли хлебные крошки, то ли пшено, которое щедро раскидывала по ржавому железу. Голуби и чайки кружили в отдалении, но, когда хозяйка скрывалась за окном, тут же слетались на карниз клевать угощение.

Потом между кашпо и ящиками была установлена кормушка с кошачьим кормом. Первым халаяву оценил юркий рыжий замухрышка, с жадностью сожравший содержимое кормушки и улегшийся неподалеку ждать добавки. Хозяйка подсыпала корма, но тут из-за угла показался серый толстый котяра, отогнавший рыжего дистрофика и устроивший пир в одиночку.

Вскоре коты уже позволяли себя гладить. К рыжему и серому прибавилось еще пара белых грациозных кошечек, для которых тоже не жалели корма. Четвероногие друзья терлись о ноги женщины, прохаживались перед ней, стараясь заглянуть в лицо, она же смотрела на облака, на стрелу, что кружила в небе, отбрасывая ажурную тень... Когда стремительная тень, изламываясь на неровностях кровли, пробегала по карнизу, казалось: она готова смахнуть хозяйку вместе с ее зверинцем. Однако не смахивала; и женщина гладила вначале рыжего, затем серого (это наглец по-прежнему норовил оттереть слабосильного замухрышку).

В одну из ночей загорелась расположенная в центре двора помойка – жильцы давно хотели ее перенести, и кто-то постоянно поджигал содержимое. Помойка горела хорошо, пламя доставало до второго этажа, а отблески достигали шестого; даже стрела крана, зависшая над домом, выхватывалась из темноты. Выхватывалась и фигура на карнизе, застывшая у самого (так, во всяком случае, представлялось) края. Вероятно, женщина опять откидывала челку, глядя вниз, но в ночном мраке жест был незаметен, только крошечный огонек сигареты чертил в темном воздухе замысловатые траектории; хотя, возможно, то была всего лишь взлетевшая искра от пожара. Искр было много, ага; и пожарных было много, целых четыре машины, что для одной помойки – явный перебор.

В эту озаренную пожаром ночь показалось: в ее комнате кто-то есть. Вроде бы из окна иногда появлялась рука, энергичным жестом увлекая сумасбродку обратно: давай, дескать, в комнату, нечего дурью маяться! Рука могла быть, конечно, тоже отблеском пожара (ну очень сильное было пламя!), да только в последующем так и вышло. То есть за голубыми шторами появился еще кто-то, похоже, мужского пола.

В белой майке, а может, рубашке, он мелькал где-то в глубине, но никогда не показывался наружу. Мужчина тоже курил, судя по клубам дыма, нередко сопровождавшим мелькание белой рубашки (майки?). На карниз, однако, новый обитатель комнаты выходить не желал. Ну никак не желал, хотя женщина его явно приглашала. Обернувшись к окну, она жестом показывала: да выходи же ты, посмотри, какие здесь цветы! А мои четвероногие друзья?! Коты, уже привыкшие, терлись о ее ноги, тоже служа аргументом: присоединяйся, мол, к нашей компании! Но ответом был красноречивый жест: нет (ноу! нихт!), я еще не сбрендил, чтобы гулять по карнизу, как по бульвару!

Наверное, мужчина страдал головокружениями. Или высотобоязнью, или у него была аллергия на кошек. Но факт остается фактом: карниз оказался ему не по плечу, извините за неуклюжее выражение. Что никоим образом не говорит об этом человеке отрицательно: очень многие боятся прыгать с парашютом, но не боятся оказывать помощь заразным больным. Дело вообще в другом – если, конечно, мы верно дешифровали язык театра теней, что давал представления в голубом квадрате окна. Ранее в театре был один актер (точнее, актриса) теперь же разворачивались постановки на двоих: с бурными жестами, сближениями и расходом по углам, иногда даже казалось: с поцелуями, а также с рыданиями, поскольку тень актрисы иногда застывала, горбилась и вроде как вздрагивала. Хотя на рыданиях и поцелуях мы, конечно, не настаиваем, тень – она и в Африке тень, а нам живого человека подавай, в трехмерном, так сказать, измерении.

А в трехмерном было вот что: она по-прежнему выбиралась на карниз, только теперь курила по две, а то и по три сигареты подряд. И на стрелу башенного крана совсем не смотрела, хотя стройка шла интенсивная и ажурная конструкция крутилась туда-сюда, как пропеллер. Она даже о котях редко теперь вспоминала, и тем приходилось с обидой, тычась в ее коленки, напоминать: наполни, мол, кормушку! А еще она стала чаще появляться на карнизе вечером и ночью. Причем без шали, что в конце лета (а лето махало ручкой) было чревато – синоптики уже пугали надвигающимися ночными понижениями температуры вплоть до заморозков.

Потом она вообще исчезла с карниза, возможно, приболела. Или в командировку уехала, или в отпуск – мало ли причин? Ничего экстраординарного, одним словом, если не считать голубей, сердито ходивших по карнизу и, за неимением хлебных крошек, яростно клевавших ржавое железо.

Оказалось, ярость пернатых была оправдана, то есть не уехала она ни в какую командировку (как и в отпуск). В один из осенних дней, когда карниз уже расцвелили кружащие в воздухе желтые и красные листья, из окна вылезла женская голова. Голова была большая и круглая, с прической, которую называют: «химия». Потом появилась женская рука, толстая, но проворная, и быстро втащила в окно ящики с цветами. А вот кашпо к тому времени сползли к самому краю карниза, так что достать их толстая, но, увы, короткая рука была не в силах.

Поэтому вскоре появилась еще одна голова, совсем без волос, а спустя несколько минут и сам обладатель головы, массивный дядя в спортивном костюме, возник на карнизе. Точнее сказать, он выполз на него на четвереньках, обмотанный вокруг пояса веревкой. Другой конец веревки держала толстая женская рука, а голова с прической «химия», надо полагать, командовала: давай, мол, хватай! А теперь – тащи!

Это был смешно: наблюдать, как дядя, пятась (вы представляете: что значит: пятиться на четвереньках? да еще если тянешь груз?) увлакивал свою добычу в нору. Шторы в норе вскоре заменили на ярко-желтые, цвета яичного желтка, а перед ними на подоконнике поставили те самые ящики с цветами, так что сразу радости прибавилось. И за желтыми шторами радости было неспорно, если судить по многочисленным теням, что мелькали в какой-то ликующей пляске, наверное, по случаю новоселья. Кровельщик тоже, надо полагать, радовался: в новоселье он не участвовал, но ходить по карнизу ему стало легче. Грустили разве что коты, чьи кормушки без жалости сбросили вниз. Но какое нам дело до котов?

КАРТИНА

Уставив в пространство невидящие глаза, слепые работали на ощупь. Руки ритмично протягивались к горкам щетины, обмакивали ее в клей и быстро вминали в деревяшки; тела при этом мерно покачивались, и казалось: в цеху функционируют некие человекоподобные машины. Художник наблюдал за ними через окно, держась за карниз. Ноги соскальзывали с уступа, затекшие от долгого стояния, а он никак не мог оторвать взгляд от незрячих роботов, перед каждым из которых росла куча готовых щеток. Так и не привык к этому зрелищу, хотя уже неделю ходил к щеточной фабрике: запоминал характер операций, режим работы и успел неплохо узнать здешние порядки. Не отрывая рук, художник скосил взгляд на часы – подходило время обеда. За стеклом прозвенела дребезжащая трель, слепцы дружно подхватили палки и, поднявшись, двинулись на выход.

По пути домой он считал повороты. Углов было семь, один поворот по дуге, чтобы обогнуть круглую площадь, и еще надо было миновать арку проходного двора. С поребриками он запутался, решив запоминать переходы через дорогу; а перед самым домом заметил вдруг зияющий провал люка. Он поискал глазами крышку – та валялась на другой стороне улицы. Стайка девиц с портфелями захихикала, видя, как неуклюжий долговязый человек катит через дорогу тяжеленный кругляк и пытается пристроить на место. Художник едва не отдал палец, после чего подумал: «Глупо. От всего не застрахуешься, поэтому глупо и нелепо».

Недавно он пробовал дойти до кухни с закрытыми глазами и ни на что не наткнуться: почти наизусть выучил коридорную географию. Рельеф коридора, однако, меняла то разобранная кровать супругов Кашиных, которая норовила отпасть от стены и придавить, то ими же купленная мебель. Сегодня возле туалета высилось что-то новое – огромное, в досках и картоне. Обогнув очередное приобретение, художник хотел прошмыгнуть к себе, но задержала реплика из кухни:

– Опять этот скипидаром навонял! Все, в исполком пойду!

– Надо, надо! – одобряюще отвечал Кашин, – Правил проживания не соблюдает, на письменные сигналы – ноль внимания, тогда что ж? Найдем управу!

Художник на цыпочках пробрался в комнату, тихо прикрыл дверь и перевел дух. Если приходилось мыть кисти в комнате, он тщательно проветривал; просто соседи боролись за дополнительную площадь, с прицелом на которую и покупали гарнитуры. Неоплаченные счета или невыключенный свет аккуратно фиксировались теперь в записках: первый экземпляр «честно» клали на кухонный стол, второй же подшивался к делу в жилконторе, откуда прибегали дамочки с угрозами выселить. Супруги прошли в комнату, и, хотя слов было не разобрать, художник долго, с напряжением вслушивался в глухой бубнеж. И вне-

запно поймал себя: «А я ведь заранее слух тренирую!» – после чего вымученно усмехнулся.

Он стащил с мольберта ситцевую накидку, затем долго всматривался в собственное творение. Замысел едва проступал на холсте: как будто вид из окна, но за окном не улица, не лес, не море. Что? Он не мог бы точно ответить, хотя холст тянул, заставлял себя прописывать, что всегда было признаком будущей удачи.

Это была последняя и единственная теперь работа. Заключение офтальмологов погребальным звоном прозвучало два месяца назад, а казалось, с той поры минула вечность. О, какие истерики устраивал он в кабинетах: сделайте, ну сделайте же что-нибудь, какое к черту омертвление сетчатки, я ведь художник! Но в кабинетах лишь разводили руками, мол, мы не боги. Вот тогда работы и упорхнули, как птички: что-то сам сдал за бесценок, а чему-то «приделали ноги» «друзья», которые по какому-то странному закону появляются, если в загуле человек при деньгах. Он, впрочем, не жалел – все потеряло смысл перед грядущим погружением во тьму. Соседи настроили тогда целую подшивку «сигналов», не раз была милиция, но всегда робевший перед властями художник испытывал лишь скуку, когда люди в фуражках составляли протоколы и забирали в вытрезвитель.

Когда был продан последний этюд, «друзья» куда-то исчезли, а осталась гудящая с похмелья голова и вопрос: как жить? Но оказалось, живут и в темноте, причем неподалеку, где через дорогу от щеточной фабрики находился дом слепых. Теперь художник нередко заворачивал туда, подстегивая себя кнутом здравого смысла: надо же думать о будущем! И в то же время вопреки здравому смыслу писал эту лебединую песню, свою последнюю картину.

Он закончил работать, когда стало темнеть. Осенние сумерки вползли в комнату, в углах густела темнота, только яркие, бьющие в глаза краски не меркли, словно картина в полумраке фосфоресцировала. Или ему мерещилось? Когда-то он читал письма Ван Гога и знал, что в кризисе бывает гипертрофированное видение цвета – до болезненности, до глюков. С ним, наверное, было что-то подобное, иначе как объяснить необычную яркость того мира, что оживал на холсте? Наконец фосфоресцирование угасло, художник встал и пошел согреть чай.

Составленные у двери банки гулко покатались по коридору, и тут же распахнулась кашинская комната:

– Убирайте ваши посудины из мест общего пользования! Развели тут свинство!

– Да, да, конечно... Извините.

Он ползал на коленях, собирал в темноте банки, а внутри билось и согревало трусливое: мол, нет худа без добра, зато слепого выселить не посмеют!

По утрам к фабрике неспешной вереницей тянулись люди с тросточками. В утренней тишине дробно цокали палки по асфальту, темнели очки на бесстрастных лицах, и только у перехода слепцы теряли отрешенность и начинали беспокойно суетиться. Водители иногда притормаживали, иногда нет, и слепцы переходили с опаской, а самые боязливые просили помочь прохожих. Там художник и познакомился со Свинтицким, когда помог тому перейти, и они разговорились.

Свинтицкий был сухонький и бледный, но с неожиданно цепкой ладонью. Вцепившись, как клешней, в локоть, он сетовал, что совсем нет уважения, – а почему?! Они же полноценные члены общества! И пе-

речислял, какие на фабрике выпускают щетки (сам он был учетчиком готовой продукции). Когда дошли до проходной, художник рассказал о себе, и Свинтицкий почему-то обрадовался:

– И вы пугаетесь? Уверяю вас: ничего страшного! Приходите-ка сюда почаще, я вас, так сказать, введу в курс.

Теперь после работы у ворот фабрики маячила сухонькая фигура, и, когда появлялся художник, Свинтицкий издали бодро кричал:

– А я вас по шагам узнал! Удивляетесь? Ну, это еще что!

Когда шли к дому, он то и дело вставал, прислушивался, после чего вопрошал:

– А ну-ка, кто там свистит? Что за птичка? Не знаете? А, вы даже не слышите – вот то-то!

И он самодовольно хихикал, мол, кой в чем я вам сто очков вперед дам! Слух у него был отменный, а нюх еще лучше: иногда он задирали остренький носик, втягивал воздух, а затем безошибочно тыкал палкой туда, где валялась дохлая кошка в кустах или чернела пролитая грузовиком солярка. Станный мир, без красок и света, открывался художнику через восприятие этого человека. Потом подходили к лавочкам, где на солнце грелись слепые, и Свинтицкий представлял художника: наш будущий работник. И было тоже странно, когда слепцы понимающе похлопывали по плечу, интересуясь: скоро к нам? Ага, еще несколько месяцев... Ничего, время быстро летит! Он был как Одиссей среди теней, с той лишь разницей, что античный герой мог вернуться к свету, ему же путь предстоял один – в царство вечного мрака.

В сущности, его ожидал покой. Кончится вечный надрыв, попытки превозмочь себя, суета с пробиванием выставок, – а будет обеспеченный кусок и спокойное прозябание в компании подобных. Он теперь часто вспоминал Ярошенко, его известную вещь «Всюду жизнь». Да, всюду жизнь: и за тюремной решеткой, и на щеточной фабрике. Смущало лишь то, что Свинтицкий чуть ли не торопил его и откровенно радовался, что в их полку скоро прибудет.

Картина между тем простаивала под ситцевой накидкой. Иногда художник откидывал ее, смотрел на холст, но тогдашнее свечение куда-то ушло, да и было ли оно? Скорее всего, это была последняя вспышка, агония зрительных рецепторов. Художник задвинул картину в угол, чтобы незавершенка не смущала, и все свободное время проводил у будущих коллег. Однажды он побывал в квартире Свинтицкого, где поразил пустые патроны на месте люстр. В остальном жилье было хоть куда, и Свинтицкий, вцепившись в лацкан, учил:

– Если ушами не хлопать, вы тоже получите! Оформитесь на работу, и сразу – заявление в местком! Скоро у вас, кстати?

От таких вопросов художник вздрагивал и что-то мямлил в ответ, будто был виноват в том, что еще не ослеп.

Потом зарядили осенние дожди, художник как-то вымок до нитки и слег с простудой. Ветер трепал старый клен за окном, так что ветви хлестали в стекло и скрежетали по карнизу. А метавшемуся в жару художнику казалось: пришли из исполкома и стучат в дверь, чтобы выгнать его на дождь. Шатаясь, он добрел до двери, запер ее, после чего свалился на два дня.

В одну из ночей стены комнаты странным образом изогнулись и сузились. И художник со страхом обнаружил, что под ним уже не продавленный диван, а челн, который несется в потоке воды по длинной темной трубе. Труба изгибалась, журчала вода на поворотах, и челн

било о стенки с гулким металлическим звоном. Художник молил: хоть каплю света! Впереди зареяло серое, как промозглое ноябрьское утро, пятно, но в нем вдруг возник Свинтицкий, который хихикал и махал рукой: мол, добро пожаловать! «Нет, нет, не хочу!» – художник раскидывал руки, чтобы затормозить, однако с отчаянием нашаривал пустоту...

За время болезни клен обсыпало красным, и в парке, куда художник выбрался после заточения, буйствовала охра берез и карминно пламенели осины, особенно яркие на фоне темно-зеленого спокойствия хвойных. Он любил это время года, когда небесный живописец баловал природу, чтобы потом раскрасить ее в скупую зимнюю гамму. Дойдя до любимой скамейки, художник присел. Вокруг звенели голоса детей, которые смеялись, бегали и швырялись друг в дружку листьями. Дети были одеты в разноцветные, под стать осеннему парку, комбинезончики, и вдруг сжалось сердце: неужели он никогда этого не увидит?! Тоска по этому прекрасному зримому миру выдавила слезы, они обильно текли по щекам, и старушка со скамейки напротив приковывалась узнать: не случилось ли чего?

– Нет, нет, все в порядке... Все хорошо.

Он медленно уходил, не видя из-за слез дороги, а старушка с недоумением глядела в спину: и чего молодые плачут?

Еще слабый, он сам не знал, зачем пригласил в баре угловатую молчунью, которая без уговоров согласилась к нему пойти. Боялся одиночества? Но там было сколько угодно веселых и говорливых, с кем разговоришь любую тоску. Когда она разделась в темноте, художник включил бра, чем привел женщину в замешательство:

– Зачем? Выключи.

– Постой там. Я тебе объясню потом.

Когда-то он немало отработал с натурщицами и хорошо знал женское тело, его потаенные изгибы, ложбинки и выпуклости. Но тут впибал глазами нескладную фигурку, будто впервые видел, в то время как женщина переступала ногами, прикрывая грудь. «Боже, как глупо!» – внезапно очнулся он. Предательские слезы были рядом, фигурка расплылась, и он отвернулся к стене.

– Мне холодно, – сказала женщина. – Я оденусь, ладно?

Каким-то чутьем она угадала несчастного и, когда натянула старенькое джинсовое платье, устало проговорила:

– У тебя умер кто? А? Ну, не хочешь говорить, как хочешь. А это твое? Накидку сдуло сквозняком, и женщина приблизилась к холсту.

– Странно... Откуда этот свет?

– Что?!

Он тоже подошел и – о, радость! – увидел всё как прежде.

Никогда цвет и композиция не ловились так сразу, без мучений, заставив забыть и Свинтицкого, и грядущее кротиное существование. Кого он хотел обмануть? Неумолимую жизнь, что обесценивает любое вдохновение? Наверное, хотя думать не было времени: убегающее к горизонту пространство оживало, наполнялось деталями, словно художник хотел заново воссоздать мир, но не в обыденной тусклости, а просветленный, пронизанный горным светом. Скажи ему год назад, что будет писать при искусственном освещении, он бы рассмеялся; но теперь работал ночами, не фальшивя при этом в цвете! Итогом ночных походов за чайником стала очередная эпистола: «За общее пользование платить вдвойне!» Платить было нечем, и вскоре грянул обещанный гром.

Кашины व्यонами вились вокруг плотной солидной дамы, по очереди докладывая, указывая, а та кивала и поджимала губы, дескать, безобразие. Художник с тоской ожидал, когда оставят в покое. Такой наплевизм почему-то обидел даму, она потребовала квитанции за три года, когда же их не нашли, лицо служительницы выразило понимание всего и вся:

– Что ж, будем ставить вопрос. Мы не позволим превращать коммунальный фонд в черт знает что! И у нас есть, есть на это основания!

Последнюю фразу она чуть ли не прокричала, потрясая объемистой рукописью.

Визит исполкомовской дамы забылся, как и все остальное. Художник перестал бриться, щеки у него ввалились, словно жизненные силы перетекали в картину, и, когда он с видом сомнамбулы появлялся в кухне, за спиной презрительно шептали: «Морфинист!» Но он не обращал внимания, как не замечал и того, что склад мебели уже подступил к его двери, и та открывалась лишь наполовину. Когда на пороге однажды появился Свинтицкий, художник сидел, вперясь в картину. Чего-то там не хватало, это мучило третий день, и он вполуха воспринимал укоризны: мол, куда же вы пропали?! Я анкеты взял, жду, а вы не идете! Чем это у вас пахнет? И гость шмыгал носом, нащупывая спинку стула. Он принес бумаги, их требовалось заполнить, а затем отнести фабричному начальству.

– Обычно заполняют со слов, но вы пока сами можете... Или уже нет?

Художник приблизился к окну, за ним полыхали оранжево-багровые тона заката. Вытягивались тени, гасли медные отблески в стеклах, и внутри радостно трепыхнулось: нашел! Да, именно этого прощального вечернего света не хватало! Чтобы выпроводить гостя, художник обещал в ближайшее время оформить бумаги. Повеселев, Свинтицкий перед уходом опять принялся и покачал головой:

– Запашок тут у вас... Как в красильной. На воздухе надо бывать! Будем вместе совершать прогулки, не отвертитесь!

Спустя неделю в коммуналке опять возник человек в темных очках, долго стучал к художнику, после чего вызвал в коридор соседей. Те всю неделю художника не видели. В конце концов обратились в милицию, но за взломанной дверью обнаружили лишь старый диван и стоящую посреди комнаты картину.

Старшина нашел какие-то бумаги на подоконнике, и слепец на шест повернул голову:

– Наверное, мои анкеты. Посмотрите, они заполнены?

– Чистые.

– Как же это? Обманул, выходит? Бумаги не заполнил, сам, понимаете ли, исчез...

– Я всегда говорила, что он симулянт! – вставила Кашина, переглядываясь с мужем. Когда возмущенный слепец удалился, она увела старшину на свою территорию – у художника не нашлось даже стола, где можно было бы составить акт. А Кашин задержался. По-хозяйски обошел комнату, прикидывая, войдет ли мебель, затем приблизился к картине. Это был вид из окна, за которым открывался осененный закатным светом мир. Внезапно то ли в комнате потемнело, то ли краски на холсте стали ярче, заиграли, как при удачной подсветке. Кашин протер глаза: что за чушь?! – и свечение тут же исчезло. «Ерунда, так не бывает! – подумал он, уходя. – А комната хорошая, светлая, только проветрить нужно».

Стихи по кругу

Михаил МУЛЛИН

Саратов

На месте разрушенного храма

Почти до начала шестой пятилетки
Тут в небо неслась вдохновенная речь.
Здесь Богу молились счастливые предки,
Мы – место обходим, чтоб туфли сбережь.

И точно земли незажившая рана,
Провал котлована – и пусто кругом,
Но воздух хранит очертания храма,
Пойдѐшь и упрѐшься в незримое лбом.

Однажды поверив в нелепую ложь
В красиво слепящих «научных» убранствах,
Бездумно рванѐшься в пустое пространство –
И вскрикнешь от боли, и лоб расшибѐшь.

Покупка счастья

На виду у пропойц и ветреников
Просит, требует и блажит:
– Дайте счастья на тридцать сребреников! –
Заработавший их мужик.

Люд сбежался на улицы скользкие,
Краснощёк, разухабист, испит, –
Кто хохочет от удовольствия,
Кто от гнева зубами скрипит.

– Дайте счастья, хотя бы скромного
Или крохотного, наконец!
На кровавые эти, кровные...

Не дают, но один продавец,
Крючконосый и обаятельный,
Всех встречающий по уму,
Отмеряет – по сумме, тщательно –
До вершка... верёвки ему.

Вера

Трещит сорока,
Земля парит.
Лицом к востоку
Сидит старик.
Старик убогий,
Один, как перст,
Не видел Бога,
А верит – есть!
Старик был ранен
В плечо и в глаз –
Уж так ли странен
Его намаз?
Ведь сам я часто
Готов с ним сесть:
Не видел счастья,
А верю – есть!

Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Нижний Новгород

Тишина

Все меньше хочется тишины.
Отсутствие сына, собаки, жены
Рождает тревогу, но не восторг,
Что время потратишь на то и на то,
Чего не сумел, когда рядом они, –
Пугают такие дни.
Страшает проклятая тишина:
Что, брат, достиг уже в жизни дна?
Не молод, нет денег, не знаменит,
Никто не заходит и не звонит.
Сиди вот в своей тишине и гоняй
С конца до начала дня.
Ты ж, брат, художник, чего не творишь?
Небось, хочешь в Лондон, Нью-Йорк, Париж
Иль Рим? А вокруг тебя тишина...
Такая, дружок, досталась страна.
Черпай тишину, черкай на листе –
Выдохни в пустоте.
Нет, лучше уж грохот на кухне посуды,
Из комнаты кашель случайной простуды,
Ворчанье собаки в углу на полу.
И стихотворительному помелу
Из-за зубов станет лень вылезать.
Лежать и молчать. Не писать.

* * *

П.Г.

Утро и дождь. Уже сентябрь.
Гадкая дрожь. Время простуд.
Снова встаешь, ничего не хотя.
Теплится свет, но почти потух.
Вижу других, говорю, друзей.
Вот Паша идет, за Пашей смерть.
Не подпускайте ко мне людей,
Я не хочу никого жалеть.
В детстве все просто – встал и пошел.
Просто пошел, понимаешь, Карл?
Нехорошо это, нехорошо.
Ведь не пришел, не нашел, не стал.
Кончилось лето, и в этом суть.
Выхода нет, но держись за нить,
Вот и придешь хоть куда-нибудь
Как-то, наверное, может быть.

Ярослав КАУРОВ*Нижний Новгород*

* * *

Может быть, за то, что ищет славы,
Или с этим он рождён на свет –
Только привкус тающей отравы
Получает от стихов поэт.
И, взыскав каторги подённой,
Хороши они или плохи,
Ни согреть, ни дать воды студёной
Не способны автору стихи.
Времени, внимания и заботы
Требуют они, как человек.
Жизни, крови требуют и пота,
Всё отдаст им бедный имярек.
А стихи под незнакомым небом,
Мёртвому наградой за труды,
Будут для кого-то в голод хлебом,
А кому-то в зной глотком воды.

* * *

Все наши муки – это счастье,
Как ощущение бытия,
Как состояние участия,
Но мера каждому своя.

Бесценно каждое мгновенье,
Как достижение вершин,
И переходит то в мученье,
Что непосильно для души.
Окраска радостью и горем
Любого мига только в вас.
Вы воспаряете над морем,
И буря сразу улеглась.
Кто знает грань, где наслажденье
Вдруг переходит в страх и боль?
У каждого свои виденья
И увлечения, и роль.
Когда расширится твой разум,
Вмиг всю картину охватив,
В нем красота возникнет сразу,
И ты почувствуешь, что жив.
Прозренье радостное брызнет.
Раскроется душа твоя.
Есть наслажденье этой жизнью
И пустота небытия.

* * *

Ни упасть, ни даже накрениться
Самолёт, взлетающий, не мог.
В двигатель его попала птица,
Белых перьев ангельских комок.

Авиакомпания буржуев
Стали иски подавать в суды:
«Кто там в небе, кроме нас, дежурит,
Выгоды лишая без нужды?»

Мы купили небеса и горы,
Мысли и желания толпы!
Кто еще стучится в наши норы,
На законов посягнув столпы?»

Крик взорвался звёздами в зените:
– Птице молодой неведом страх!
Небо обречённое верните!
Нечего вам делать в небесах!

Павел КЛИМЕШОВ

Нижний Новгород

* * *

Средь размеренно бедного быта
И немерено бранных пустот
Сколько милых имён позабыто,
Как забвеньё тенёта плетёт.

Но случались счастливые встречи,
Сладкой близостью ночи цвели...
Только вышло, что полниться нечем,
И стезя убывает вдали.
Где-то лёгкими метит стопами
Юность светлые, нежные дни, –
Только тьмою ослепшая память
Застилает – и гаснут они...

* * *

От трескотни ораторов досужих,
От шума телешоу записных
Себя я начинаю мыслить вчуже
И жажду раздражителей иных;
И все утраты поступи духовной,
Все язвы обесценившихся чувств,
Все непотребства самости греховой
Превозмогаю – Пушкиным лечусь.

Елена СОМОВА

Нижний Новгород

* * *

Маленький ёжик в публичном тумане,
Что ты найдешь, кроме эха, в кармане?
Вплавь по салону надменных картин
Дважды один.
Что ты найдешь или что напророчишь
Гордым сорокам – наседкам обочин
В смерче витрин?
Смерч, отрывающий древо от корня
В адский полёт, попросту в мукомольню
Жизнь отпускающий пласт,
Просто спаси: тонкой ниткой над плахой
Вынеси выдюжить певчую птаху,
Чтоб не разбиться о наст.

В каменоломнях бездушных поганцев
Сдавленный плач искромётного танца
Из безнадежности нот
В старом подвале, набитом ежами, –
Танец о том, как витриной зажали –
Выжали небо и пот.
Ёжик пищал по-щенячьи, ногами
Топая, маму искал. Сапогами
Рядом топтал землю полк
Страшных людей из мультфильмов о монстрах.
Фильм наяву делал граф Калиостро,
В скуке плюя на песок.

Петр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

Сказание о Ветлуге

Олегу Рябову

Вдоль по берегу Ветлуги баньки топятся
К ивам ластятся дымы, в русле копятся.
Ветры-гусли заиграли над деревнею,
Заиграли-загудели повесть древнюю:
— Как стеною лес дремучий здесь стоял века,
Многоводной и могучею была река.
Ни полька и ни починка — только зверь лесной,
Только ветер слово молвил с вековой сосной.
Люди пришлые в чащобах появлялися,
Красоте реки Ветлуги удивлялися.
Городища возводили, жильё ладили,
И медведи рады были — в борти лазили.
В святых рощах черемисы духов славили,
Пришли русичи, крестились, избы ставили.
Лес палили, гарь пахали и рыбачили —
Обживать места глухие люди начали.
Здесь вот кузенка была, а там — мельница,
На угоре в тень манила крыша-сенница.
Красовалася беляна рядом с пристанью.
Промышляли ветлужане лесом исстари.
Убежавшим от царя да не отказано,
Привечала всех Ветлуга — спето-сказано.
Облюбован был шихан* Степанидою.
Кто царя стрельцам-воjakам позавидует?
Где разбойников им взять да без пушки?
С атаманшей в бой вступать — не игрушки.
Много минуло рассветов с закатами,
Гору Бабьей нарекли под Раскатами...
Вот и солнышко скатилось за околицу,
За притихшую деревню, к лесу клонится.
Гусли времени гудят над деревнею,
Напевают-говорят повесть древнюю.

* Шихан— курган, гора.

Из будущих книг

Александр ЛОМТЕВ

Родился в 1956 году в с. Пуза (ныне Суворово) Нижегородской области. Работал инструктором служебного собаководства, киномехаником, мастером по сложной бытовой технике, электромонтером, корреспондентом газеты. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт. Как журналист, специализирующийся на «горячих точках», неоднократно бывал в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Косове, Южной Осетии.

Прозаик, публицист. Член Союза писателей России. Живёт и работает в г. Сарове Нижегородской области.

САРОВСКИЕ ХРОНИКИ

* * *

Воскресенье – хороший день. Вставать спозаранку не надо, завтракать наспех и на работу бежать не надо, делай, что хочешь. Столько всего можно сделать, на что в рабочие дни времени не хватает!

В то воскресенье я встал часов в девять. Да и дольше бы в постели провалялся, если бы соседский пацан «Битлов» не завёл на своей шарманке. «Йестуде-е-ей...» Растудей его с его «Битлами».

Ну ладно, на завтрак маманя яичницу сделала с колбасой и кофе с цикорием. И где она это кофе достаёт? А хорошо с утречка кофейком побаловаться. Юрка Столяров, правда, смеётся – какое, мол, это кофе. Ну, правильно, у него папаша в главке работает, у них кофе из зёрен – и запах другой, и вкус... Мы с Колёсиком у него однажды даже виски настоящее попробовали. Бутылка у его папани в серванте стояла початая, вот Юрец нам по полрюмашечки и налил. Ну не водка, конечно! А всё же таки кофе с цикорием лучше, чем грузинский чай.

Потом я к Колёсику пошёл. Тот уже возле сарая покрышку от ЗИЛа, наполовину вкопанную в песок, молотом обрабатывал. Босиком и в одних тешах, вспотел уже весь. Где-то он прочитал, что и Брюс Ли, и Мухаммед Али так резкость удара нарабатывали. Вот и молотит покрышку каждую свободную минуту. Может, и правда помогает – удар у Колёсика дай бог каждому. А мне больше плавать нравится: и мышцы укрепляет, и они не дубеют при этом, не закрепощаются, эластичными остаются.

Колёсик надел футболку и сказал, что сегодня нужно сходить за реку. Тамошние оборзели совсем, нашего парня избили. За то, что ходит на их территорию. А как ему не ходить, если там его ПТУ? В общем, нужно разобраться.

У моста нас уже ждали Гена, Папуля и Юрец. Ну и Саня – парень, которому навалили.

Говорит: никого не трогал, ничего не говорил, шёл себе в профуру. Налетели, окружили и наклали. Человек семь. Главный, как всегда, Красавчик.

Красавчик этот мне особенно не нравится. Приятель его старшего брата – боксёр-перворазрядник. Вот он и кичится. Сам-то дерётся так себе. Можно сказать, никак, но связываться с ним не любят. Знают, что этот знакомый его брата скоро камээса получит.

Но у нас тоже кое-кто за спиной есть. Витя-боец. Он уже камээс, и тот перворазрядник на нас из-за Вити не полезет. Скажет Красавчику: сами разбирайтесь. Такой политес.

Я так думаю, если бы Красавчик знал, что Саня из наших, не стал бы на него тянуть. Потому что заречные если кого и побаиваются – так это наших. Как-то на танцах Красавчик полез было на Колёсика, но тот ему свет быстро выключил. А брат, зная про Витю-бойца, вместо чтоб заступиться, ещё и отвесил ему: лезешь, так дерись, да и вообще – знай, на кого лапку задирать.

Саня что-то в последний момент заочковал, говорит Колёсику: не маловато нас? Но Колёсик даже и не ответил. Просто говорит: пошли. За мостом мы собрались, так внутренне поджались. Не шутка, эти заречные совести не знают. Могут и ножичком.

Они, как всегда, на стадионе болтались. На трибунах. Увидели среди нас Саню и всё поняли. Двое-трое даже сразу слиняли так незаметненько. Но Красавчик – он наглый, улыбается: о, какие люди в Голливуде, какими судьбами?

Папуля прямо с ходу влепил ему в челюсть, он тоже этого Красавчика терпеть ненавидит. Красавчик, правда, готов был, и удар вскользь пришёлся. Ну, и тут началось махалово. Даже Саня разошёлся, хотя, по правде сказать, трусоват он. Но за компанию все смелые.

Я с Борьком схватился, с дружкой Красавчика. И сделал глупость: вместо того, чтобы кулаками работать, сцепился с ним бороться. А он меня головой как боднёт в лицо! Я такой подлости не ожидал, а лобешник у него крепкий, ну я и поплыл. Хорошо, не свалился. Отпустил его, вспомнив, как Витя-боец учил, и стал кулаками по печени бить. Тут и он остановился, видно, удалось пробить печень-то. Ну, и пока мы с ним так стояли, в себя приходили, всё кончилось. И Красавчик, и другие побежали, а Колёсик подскочил к нам и двинул Борьку боковым, так что тот сразу рухнул. Хотелось мне очень пнуть его пару раз, но сдержался, мы лежачих не пинаем. А Красавчик вот сдерживаться не стал бы, это точно.

В общем, отметилили мы заречных и усталые, но довольные, пошли в «Снежинку». Саня говорит: угощаю. У Сани, как и у Юрца, всегда деньги есть – у него родители богатые: мать экономист в управлении, а отец начальник цеха. Он и Саню после ПТУ к себе забрал и заставил в вечерний техникум поступить. В «Снежинке» мы встретили Веру. Колёсик аж зарделся весь, когда её увидел. Ну, посидели, поели мороженого, поболтали. Я, как всегда, шоколадное с грушевым сиропом взял. Саня Вере про заречных рассказал, и так всё вывернул, поросёнок, что будто бы только благодаря его стойкости мы и отметилили заречных. Но никто не обиделся, посмеялись вместе с Верой и договорились, что после обеда вместе купаться пойдём.

За обедом маманя опять завела волюнку, что, мол, в техникум поступать надо, вон Саня... Ну, понятно... Я ей не сказал ещё, что пред-

ложили мне идти проводником спецвагонов. Зарплата там – в три раза больше, чем в моём цеху, нафиг мне техникум. Только вот командировки месяца по два-три. Даже не знаю: с одной стороны – деньги, а с другой – от ребят оторвёшься, тренировки придётся пропускать. Да и скучно две недели в дороге, там в основном дядьки пожилые – лет по сорок. О чем с ними...

На пляж я пришёл, когда все наши уже были там и играли в карты. Вера в карты не играла, и Колёсик тоже не стал, да и я карты не уважаю. Я бы лучше повалялся с книжкой, да неудобно как-то. Не принято. Колёсик принёс гитару и пел для Веры. Песен он знает – до черта. И Высоцкого, и эмигрантов, и старые наши дворовые. Эмигрантов Вера, правда, не любит, мата там много, и Колёсик при ней их не поёт. Так, в основном весёлые или жизненные, там «Друзья, купите папиросы», «У ней следы проказы на руках» или «Там, где речка, в речке козий брод, плотает воду по утрам колхозный скот...», в общем, разное.

Она Колёсику как-то сказала: ты бы выучил Визбора или Окуджаву. Ну, он послушал однажды Батонов, и сказал, что это не то. Хотя Батоны хорошо на гитаре играют, лучше Колёсика, честно надо сказать, но песни... Нет, кое-что мне даже понравилось, но большей частью уж очень занудно, не то, что Высоцкий. Батоны, они вообще странные. Не пьют совсем, не курят. Но и спортом не занимаются. Хотя и не трусы вовсе. И подраться могут. Смешно смотреть, когда они встают спиной к спине, похожие, как два батона, и отмахиваются хоть от целой толпы. Даже тем, кто нападает, смешно становится – и уже не до драки.

После реки мы с отцом разбирали погреб. Хорошо, когда есть около дома сарайка с погребом. Вон Папуле приходится на автобусе в гараж за картошкой ездить. А тут вышел из квартиры – и вот, пожалуйста, – хоть велосипед поставить, хоть картошку, капусту, соленья всякие хранить.

Вечером, как всегда, пошли на танцы. Опять эта дурочка из ДК пела под Пугачёву. Неужто самой не ясно, что не тянет. Позорится только.

Увидели в толпе Красавчика с его шоблой. Я подумал, опять придётся схлестнуться. Но нет, мы на одной стороне танцплощадки топтались, они на другой. Среди танцев подошёл ко мне Борёк, я напрягся – он подлый, чего хочешь может. Но он мирно так поздоровался и говорит: здорово ты мне по ливеру настучал, умеешь. Я из вежливости ответил: да и ты мне по калгану зазвездил не слабо. Но тут он увидел, что Красавчик смотрит на нас неодобрительно, кивнул и отошёл. Я оборачиваюсь, а ко мне уж Колёсик с Папулей пробираются сквозь толпу: ну, чего? Я им говорю, ничего, всё нормально.

Колёсик спрашивает: Веру не видел? Нет, не видел. А сам подумал: пойдёт тебе Вера на танцплощадку. Жалко его, ясно ведь, не его она поля ягодка. И как она вообще в нашу компанию затесалась? Кажется, всё-таки не из-за Колёсика. Хотя улыбается ему, песни слушает и вообще... Институт закончит и уедет, конечно...

Потом, когда мы уже сидели в беседке у реки, Вера вдруг пришла. Тут наши материться стали пореже и как-то поделикатнее, что ли. А Вера даже выпила вермута прямо из горла, чем нас всех удивила. И сразу ближе как-то стала. Ну, в каком смысле ближе. По-настоящему-то не ближе, конечно, но всё же...

Тут я зачем-то ляпнул, что мать пристаёт с техникумом, а есть возможность в депо перейти на хорошую зарплату. Все начали спорить.

А Вера говорит, деньги не главное, с образованием будут и деньги. Тут все ещё сильнее заспорили, прямо гвалт поднялся.

Я вышел из беседки, посмотрел на небо, а там звёзд – пропасть! Слышу, Вера за спиной говорит: Млечный Путь сегодня – загляденье. Тут и Колёсик вышел. Ребята в беседке как с цепи сорвались, спорят, кричат, а Вера нам с Колёсиком созвездия показывает: это Кассиопея, это Андромеда, левее Большой Медведицы – Гончие Псы, а там вон, на западе, белая яркая – Венера. Уже совсем низко, скоро зайдёт... А самая яркая звезда в нашем полушарии во-он та, ниже Гончих Псов – Арктур, смотрите, как мерцает...

Действительно – красиво. А я кроме Большой Медведицы да Полярной звезды ничего и не помню, хотя в школе в шестом классе в кружок астрономии ходил...

Потом Колёсик пошёл провожать Веру домой, и, уходя, она сказала мне: поступай в техникум, обязательно поступай.

Дома все уже спали, я напился из-под крана холодной воды, потихоньку разделся и лёг. В окно тыкалась сирень, сквозь листья были видны звёзды, но не так много, потому что на углу горел фонарь.

Какой хороший день получился, думал я, пытаюсь разглядеть сквозь сирень Арктур. Всё-таки воскресенье – это здорово. И уже засыпая, подумал: правда, что ли, в техникум податься?

* * *

Слишком рано иногда жизнь подбрасывает нам ситуации, выходить из которых без потерь мы не умеем. Но ей – жизни – всё равно. На вот тебе, и что хочешь, то и делай...

Было это мне лет, помнится, шесть или семь. Лето солнечное, сирень в окно тычется, где-то вдалеке город несильно шумит, жили-то мы на окраине... Родители на работу ушли, братья у бабушки в деревне... И вот слышу: за окном кошка кричит, и даже сказать, не кричит, а воет как-то. Посмотрел в окошко – не видать. Умылся, позавтракал, гулять вышел. Слышу – воет. Полез я в сирень – посмотреть. А там, в самой гуще, лежит кошка. Живот распорот, кишки на земле, а в кишках черви белые копошатся. Я так и застыл. А кошка смотрит на меня, глаза уже потухшие, с гноем, но я понимаю, что она меня если и не видит, то чует.

Кто её так? Может быть, под машину попала, может – собака порвала, а может и мальчишки... Мальчишки ужас какими жестокими бывают. Видел я однажды (подростком уже) как сверстники мои такую вот кошку бензином облили и подожгли. Дрался я с ними до выбитых зубов.

И что же мне было делать? Даже в семь лет я понял, что помочь ей уже ничем нельзя. Невозможно, хотя и мелькнула попервоначалу мысль о ветеринарной лечебнице. Везили мы туда свою кошку, когда она лишай подцепила...

Кошка воет, агония у неё, и мне кажется, что она от меня ждёт помощи. А до неё дотронуться страшно...

В общем, убежал я в соседний двор и тамошних приятелей своих подбил на речку идти, купаться. Да так целый день в воде и пробултыхались. Очень мне хотелось забыть про кошку в сирени. И забыл. До вечера.

Вечером шёл домой и всё боялся, что услышу вой из сирени, но нет, не услышал. То ли сдохла кошка, то ли унёс кто-то на лопате на помойку. В общем, кошка забылась.

А вспомнил я её подростком, классе в восьмом, когда открыв для себя Бабеля, наткнулся в его «Конармии» на эпизод с раненым в живот конармейцем. Тот, где автор-герой не стал достреливать смертельно раненого, и его, чтоб не мучился, дострелил другой конармеец...

Конечно, конечно, тут человек, а там какая-то кошка, но ведь и было-то мне тогда не больше семи лет.

Вот что надо было бы сделать, думал я, сидя над раскрытой книгой, нужно было кошку быстро добить. Хотя бы камнем что ли. А я не догадался...

* * *

День был совершенно обычным. Саня расслабленно брел по весенней улице, шурился на ошалелое апрельское солнце и всем телом ощущал, что именно в девятнадцать лет начинается настоящая жизнь. Он уже забыл, что ощущал подобное в четырнадцать почти в такой же вот апрельский денёк; и не знал, конечно, что снова почувствует это и в двадцать пять, и в тридцать, и даже в сорок.

Знакомая улица, родной городок, всё равно – по улице идёшь или по коридору из кухни в комнату в собственной квартире. Из окон бодрое радио, на потеплевших ветвях городских тополей бодрые воробьи. «С бодрым утром!» – мысленно улыбнулся Саня, но шагу не прибавил и не взбодрился, вливаясь в общий трудовой срединедельный ритм. Быть полусонно оглушенным солнцем и тополиным клейким запахом было хорошо... К тому же теснилось в лёгких что-то непонятное, подстерегающее впереди – хорошее или плохое – неясно.

Оно появилось буквально через десяток шагов... У тротуара остановился автобус с траурной каймой по серому борту, и водитель деловито распахнул створки задних дверей, которых не бывает в обычных автобусах. Из переулка вышли люди и Саня невольно остановился. Несли гроб. В гробу лежал некрупный покойник с чистым, светлым, слегка небритым и очень спокойным лицом. Нос индифферентно смотрел в голубенькое небо, а губы были сжаты в тонкую, едва улавливаемую ироническую усмешку. Знаю, мол, кое-что, что вам всем еще только предстоит узнать.

Саню давно задевало это событие – смерть. Даже не сама смерть, а что-то трудно понимаемое, что она за собой влечет. И даже не так. Куда уходит то, что наполняло человека, когда он был жив, куда всё это девается – мысли, чувства, идеи, страсти. Куда? Не верилось, что всё просто исчезает. Нет, конечно, Саня не верил ни в какие загробные жизни и реинкарнации, о которых любили рассуждать некоторые его начитанные, тяготеющие к романтическому диссидентству приятели.

Люди с черными повязками ловко погрузили гроб в автобус, и через минуту улица опустела. Саня побрёл дальше. Ощущение полноты жизни не пропало, и даже не потому, что покойник из переулка был для Сани никем. Просто каким-то седьмым чувством Саня понимал, что всё это естественно и не страшно. Хоть, может быть, и слегка печально. Да и то лишь потому, что до конца не понятно...

И вдруг Саня остановился. Его осенило. Он даже и не представлял, что такое сильное чувство вообще возможно. Осенило удивительно – сильно, но парадоксально спокойно, без экзальтации и какого-то особого потрясения. Но чувство было таким глубоким, что он забыл, куда и зачем шёл. Он вдруг понял, что тоже умрёт. Нет, конечно, он всегда

знал это. Но знал как-то отстранённо, холодно – умом: все умирают, и он умрет. Но сейчас он понял это совсем по-другому, всем своим существом, всей душой, всем своим молодым телом. И это опустошило его, оглушило. Что теперь с этим делать? Для чего ему вдруг дали это понимание? И кто дал? Бог? Но бога нет! Или есть?!

Саня брёл по знакомой улице, не замечая ни апрельского веселого солнца, ни миниатюрной листвы тополей, ни воробьёв, митингующих на усыпанном крошками батона канализационном люке. Ему стало ясно, что для него началась новая, неведомо куда уходящая жизнь. Ясность и чистота этого дня ушла, он смотрел на город словно через осколок зеленоватого бутылочного стекла, почти ничего не слышал, потому что прислушивался к тому, что эхом отдавалось в груди и в голове после того короткого озарения.

Через несколько дней Саня уволился с работы, тайком сжег в ванной комсомольский билет, выбросил студенческий своего вечернего техникума и уехал из города; и только через год его городские приятели узнали, что он поступил в семинарию. Шёл тысяча девятьсот семьдесят девятый год...

Что главное в окрошке

В окрошке главное что? Главное – делать всё с охотой, с предвкушением, можно сказать, с любовью. Август, солнце в зените, и жара звенит. Муха размлела между рамами и лишь изредка взжужживает. Время к обеду, и в желудке поурчивает. А мы на скорую руку, но не торопясь. Берём зелёный лучок, неторопливо промываем его под холодной водой. И лук моем, и удовольствие получаем. Тяпаем его острым ножиком – хрум-хрум-хрум – на деревянной доске, а потом кладем в ёмкость и смешиваем с крупной солью. А потом толкушкой, опять же деревянной, тщательно разминаем его. В столовых и ресторанах этого, как правило, не делают. Поэтому окрошка там не настоящая, не живая, не такая духовитая, какой ей положено быть. Оставляем размятый лук пропитываться солью и берёмся за другие ингредиенты.

Заранее сваренную картошку в мундире – чуть-чуть, самую малость недоваренную, чтобы не разваливалась, режем кубиками, крупными или мелкими – это уж на вкус индивидуума. Потом огурчики. Потом сваренные вкрутую (и чем круче, тем лучше) яйца.

Это основа. Дальше – изыски. Есть, например, любители рубить в окрошку квашеную капусту. Можно? Конечно, можно – не противоречит. Дальше ещё интереснее. Самый простой вариант порубить варёную колбасу – такой нехитрый вариант «мясной» окрошки. Кто-то скажет – фи, колбаса! Правильно! Лучше нарезать куриное филе или отварную телятину. Всё, конечно, хорошенько перемешать, наслаждаясь огуречно-луковым запахом, пробуя на соль. И дать этой смеси немного постоять, пропитаться луковым и огуречным соком.

Да – чуть не забыл! Есть любители крошить в окрошку помидорчики. Хоть классическая окрошка такого ингредиента не предполагает, я не против и даже – за. Помидоры украшают окрошку и зрительно, и вкусово. Но не настаиваю, не настаиваю...

Теперь что? Теперь – квас. Какой квас? Это тоже дело вкуса. Но окрошка на магазинном «бутылочном» квасе – это перевод продукта. Есть можно, но – от безысходности. Бочковой квас – другое дело. Это

уже более или менее – зависит от того, как квас изготовлен. Но самый смак – это квас домашний, и лучше всего по деревенскому рецепту – ядрёный, крепкий, настоянный, ароматный. И тут тоже – дело вкуса; кто-то любит окрошку сладковатую, кто-то с кислинкой, а кто-то и с горчинкой даже.

Не надо заливать всю приготовленную смесь сразу. Положить сколько нужно в тарелку и уже в тарелке залить квасом. Несъеденную смесь – в холодильник; правда, долго она там всё равно не простоит, будет съедена в ближайшие двадцать четыре часа. И всё же большие объёмы – про запас – готовить не стоит, главная прелесть окрошки – в её свежести.

Итак – квас, заключительный штрих – ложка сметаны и – вперёд!

Вот она – тарелочка с голубой каёмочкой. Стоит на белой скатерти или на неструганном дачном столе, или на алюминиевом пикниковом шатком столике под шелестящей берёзой, или... да какая разница, на чём и где. Стоит и манит – ну давай, зачёрпывай разноцветное лето деревянной – непременно деревянной! – ложкой. Хлебни со всхлипом, со смаком, со стоном, с вожделением, зажмурь глаза – м-м-м. И зубами в горбушку ржаного – чем чернее, тем лучше, – хлеба. Да не забудь в спешке желания посыпать эту прелесть – окрошку, конечно же, а не горбушку – укропчиком и петрушкой. Мама моя, что за чудо... Блаженство...

Нет-нет, ещё не всё.

Есть ещё один вариант. И не воротите нос, пока не попробуете. Нет, попробуйте, распробуйте, вникните и проникнитесь, осознайте и только потом решайте – нравится или всё же нет. В моей деревне вместо колбасы или мяса в окрошку кладут... кильку в томате. Правда-правда!

Знаю, как-то это необычно, как-то... И даже не знаю, как вас убедить, что – не противоречит. Да просто попробуйте! Возьмите обычную, банальную, полузабытую, советскую (она ещё продаётся, как ни странно) банку «Кильки в томатном соусе» и выложите содержимое в тарелку с окрошкой. Всё изменится – и цвет, и запах, и вкус. Но это по-прежнему будет окрошка. Другая. Но оччень вкусная. И главное, ни в одном ресторане вы такую окрошку не попробуете. Это аутентичная окрошка. Эндемичная. Это вам не космополитичный фастфуд.

А главное ещё что? Пока готовишь это летнее чудо, столько всего вспомнишь – и детство, и деревенских друзей, и набеги на чужие огороды за первыми огурчиками-пуплятами, и бабушку, подливающую квасок из запотевшей кринки в общую большую тарелку с той же окрошкой на деревенском столе, и цыпки на ногах, смазанные сметаной, и острый запах дедовой махорки, и утомлённые взмыки коров, с тяжёлым выменем возвращающихся с пастбища, и щёлк пастушьего кнута, и алую герань на окне, и пронзительный крик ласточек-касаток, и блики августовского солнца на ряби пруда, и грустный отъезд в город накануне сентября, и прощание с летом...

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами внеземных цивилизаций), облкниготорге, «Нижполиграфе».

Директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки». Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – ЭТО НЕ ДВОРЯНСТВО

Последнее время всё большее недоумение и досаду вызывают разного рода скандалы, связанные с выступлениями публичных и замечательных деятелей культуры и науки, да и других областей интеллектуальной деятельности, с их неожиданными и малообоснованными заявлениями, а порой и требованиями. Эти скандалы вспыхивают, разгораются, потом их кто-то умело тушит, а может, они и сами хорошо гаснут.

А недоумеваю я не оттого, что кто-то, видите ли, имеет право на высказывание собственного мнения, чтобы потом с убеждением, а иногда и упоением отстаивать его, а у кого-то таких прав нет. Нет, тут всё нормально. У всех это право есть – просто не все им умеют пользоваться. А кто умеет пользоваться, те больше молчат, потому что не верят в эффективность всего этого базара. Потому и получается, что «единственно правильное» мнение в конечной инстанции как бы приватизировано определённой группой лиц с определёнными требованиями и запросами.

И приватизировали они это право давно, а кому-то оно досталось даже по наследству. Вот так они и выросли – «гордые дети маленьких ответственных работников» по Ильфу. И они прекрасно отличают «своих» от чужих, и они давно знают, где проходит граница их территории и готовы её отстаивать. Только...

Почти полтора столетия назад вышла русофобская книга маркиза де Кюстина о его путешествии по России, на которую любят ссылаться современные либералы. Хотя в книге этой совершенно четко именно в их адрес сделано маркизом замечание: «...высочки в кругу власть

имущих, они претендуют на роль просветителей народа, но в действительности являются мишенью для насмешек».

Это про них он пишет: «...послал в Петербург, под предлогом желания помочь, целую плеяду политических работников – нечто вроде переодетой армии, которая должна была тайком расчистить путь для наших солдат. Эти искусные интриганы получили задание втереться в администрацию, завладеть, прежде всего, народным образованием и заронить в умы молодёжи идеи, противные политическому символу веры страны...»

У меня и у самого имеются на некоторые спорные предложения к местным, да и к центральным властям свои претензии, которые я высказываю, а иногда и горячо защищаю. Не буду их в данной заметке перечислять.

Конечно, это обязанность интеллигенции – указывать властям на их ошибки и недоработки. И тут хочется перенацелить сентенцию из памфлета Кузьмы Пруткова «Проект о введении единомыслия в России», которая гласила, что «...многие признаны злонамеренными единственно потому, что им не было известно, какое мнение угодно высшему начальству». Так вот, осмелюсь предположить, что руководящим работникам нашей страны самого разного уровня интересно знать мнение образованной и мыслящей части общества. Хотя бы и не для того, чтобы тут же идти ему навстречу, а для того, чтобы оценить уровень сопротивляемости и предвосхитить обвинения в злонамеренности.

Но вот почему-то часть нашей творческой интеллигенции стала вдруг себя считать новым дворянством, по крайней мере, вести себя подобным образом, с претензией, что ли. Тут не только кастовость, но и ощущение своей значимости и силы в момент предъявления требований к властным структурам. А ведь отдельные деятели этой части общества требуют ещё и привилегий, и преференций.

Это нелепая ошибка и даже недомыслие представителей этой социальной прослойки! Дворянство – по определению и с момента возникновения этого класса – опора государства и власти в любой стране. Так было в России XVI века, и в XIX веке, и в XX в СССР, когда функции дворянства выполняли члены КПСС. Да-да, именно так. В XIX веке дворянство составляло 6–8% от общего населения России, и в советское время членов партии в нашей стране был примерно тот же процент.

Я не сторонник того, чтобы создавать какую-то новую касту или новый орден, снабжающий своих адептов отличительным маркером. И все «патриоты», и все «либералы» прекрасно знают друг друга, и объединить их под одной крышей уже не удастся. Хотя, кто знает, если начать платить приличные деньги, кто-то может и перекрасится.

Уже созданы и выстроены партии типа КПрФ или «Единой России», и существует президентский список кадрового резерва: хотя реально в нем не более тысячи человек. Но это же всего лишь политика и экономика. И я не уверен, что только на них должно будет опереться государство в трудный момент.

Я сейчас – о людях, готовых Родине служить, независимо от их идеологических симпатий.

Явно и тайно таких людей всегда были миллионы, только о них никто громко не говорил и это не больно-то афишируется. Ведь и генерал Слащёв (он же Хлудов из романа Булгакова «Бег») возвращается из эмиграции по просьбе Дзержинского и преподаёт в Академии военные дисциплины будущим победителям Третьего рейха. И кроме него

в Красной Армии служили тысячи царских офицеров. И не случайно у директора колбасного комбината Бабичева из романа Олеши «Зависть» на спине была дворянская родинка.

Правда, не будем забывать, что дворянин дворянину рознь: и Манилов гоголевский был дворянином, и тракторист из колхоза «Красный луч» был членом КПСС. Но оба всегда помнили об этой своей принадлежности, гордились ею и готовы были служить. Служить Родине и государству – обязанность дворянина, а руководство страны по мере возможностей эту службу отмечало и поощряло. И лишали дворянства за преступления против государственности (я имею в виду не только декабристов), и из партии исключали, и из творческих союзов. Возможность такая – и поощрить и наказать – у государства всегда есть!

Вот поэтому те литераторы, которые вспоминают хлебные советские времена с дачами в Переделкино, квартирами от государства, домами творчества и приличными гонорарами, не должны забывать, что члены Союза писателей в любой момент должны были быть готовы выполнить социальный заказ. И едет Леонид Леонов на строительство Балахнинского бумкомбината, чтобы написать роман «Соть», и пишет Фёдор Гладков роман «Цемент», а Мариэтта Шагинян – «Гидроцентральный», и спешит Евгений Евтушенко в Сибирь и пишет свою «Братскую ГЭС». Потому и получали они дачи в Переделкино, и гонорары у них были приличные, и поликлиники свои были, и в Дома отдыха бесплатно ездили, и в командировки заграницные. Все они были советскими дворянами и служили.

Хотя были в советские времена талантливые поэты и прозаики, которых не принимали в Союз писателей СССР по идейным соображениям – безусловно, СП был идеологической структурой. Были и хорошие писатели, которых исключали из СП, но не за бездарность или утрату таланта, а за идеологические проступки, и перечислять их всех по именам – не к слову.

Уже несколько лет раздаются громкие и уверенные голоса о том, что там, наверху, надо бы пересмотреть отношение к творческой интеллигенции, творческим союзам и начать полноценное финансирование этих и профессионально взаимодействующих с ними структур: театров, студий, издательств, журналов и так далее. Но наверху молча обходит стороной этот вопрос и делают вид, что не слышат этих голосов.

Я уверен, что слышат! Но не хотят повторения пройденного.

Тем, кто считает себя творческой интеллигенцией и считает, что государство им должно, не надо забывать, что в 1929 году опубликована знаковая статья Сталина «Год великого перелома». В тот же год была проведена большая чистка и взята под полный партийный контроль Академия наук СССР. И тут же была проведена серьезная работа по анализу творческих сил и в один год, в 1932-м, объединены в стране все мастера искусств в государственные союзы: Союз писателей СССР, Союз художников СССР, Всесоюзное театральное общество, были запрещены все частные студии, все негосударственные издательства и так далее.

Лично мне этого не хочется.

Мне вспоминается рассказ моего друга Анатолия Мироновича Смелянского, бывшего ректора школы-студии МХАТ, про то, как однажды к Олегу Табакову пришли два майора в штатском и попросили его подписать какое-то письмо в духе «не читал, но осуждаю». Олег Павлович посмотрел на них с укором и произнёс: «Ребята, ну что вы делаете? Ведь я вам ещё пригожусь!» Ребята посоветовались, позвонили руко-

водству, и там решили, что не подписавший письмо Табаков может ещё пригодиться, а вот подписавший уже не пригодится. Хотя Олег Павлович тоже понимал, что если настаивать будут, то подписать придётся: он же государственный человек.

Многие претензии творческих людей к руководству страны, которая хотя бы в какой-либо мере финансирует проекты этого художника или коллектива, возглавляемого им, неуместны, смешны и презренны. Так смешон и неприятен избалованный ребёнок, которого с ложечки кормят манной кашей, а он капризничает и бьёт свою няню по лицу. Не имеет морального права творческий человек с устоявшимися принципами пользоваться помощью, а тем более финансовой помощью, государства, если считает его своим антагонистом. То, что деньги не пахнут, – чушь, ох, как ещё пахнут!

Наше государство тратит миллиарды на поддержку издательских проектов, на постановку новых спектаклей, на создание кинокартин, на фундаментальные научные исследования, и мастера, использующие эти средства, фактически выполняют государственный заказ. И хотя это нигде отдельной строкой не оговаривается, все об этом помнят. А следовательно, должны помнить и то, что государственность надо укреплять и защищать, а не подтачивать.

Также солидное финансирование различных культурных и научных проектов производится из наших отечественных и различных международных фондов, пропагандирующих либеральные ценности. Я ничего не имею против идей либерализма: права человека закреплены в конституциях. Но вот откуда проблемы, с которыми уже столкнулась Европа? А начиналось всё с курения марихуаны, нудистских пляжей, однополых браков и отрицания тысячелетних христианских традиций (церкви!).

Вседозволенность, которую явно и неявно навязывают обществу современные любители либеральных ценностей, разрушила основы христианской морали и нравственности, на которых стояла в течение тысячи лет европейская культура, растворила государственность стран Европы, превратив её в невыразительное болото. И неудивительно, что мигранты из традиционных канонических ортодоксальных исламских стран, нахлынувшие в эту объединённую Европу, считают её жителей варварами, не имеющими моральных устоев. Они и относятся к современным европейцам, как к невежественному народу, и неудивительно, что они Европу очень быстро ассимилируют под себя.

Так совсем в недалёком прошлом сами европейцы относились к африканцам и, не видя ничего зазорного, вывозили их в Америку для работы на плантациях. Эта работорговля развернулась уже в обратную сторону, и белокурые девушки начали заполнять гаремы и публичные дома в южных и арабских странах. Но я сейчас не об этом.

Помнится, однажды мой охотничий пес цапнул меня за руку, когда я пытался подвинуть его миску с едой – как же он потом извинялся, вылизывал эту руку, как же стыдно было ему!

Художник свободен по рождению, и вдохновение ему даёт небо, и ответственен он только перед небом. Но если художник выполняет социальный заказ, то всем известно, кто этот заказ финансирует: какой-то частный фонд, преследующий вполне определённые цели, или государство, выполняющее свои функции.

И нельзя кусать руку, подставляющую миску с похлёбкой.

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Урал». Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия». В 2015 году роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга».

Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

Живет в Екатеринбурге.

У ВСЕХ ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Несмотря на многократные опровержения, которые демонстрирует действительность, я до сих пор уверен, что каждый человек способен написать по крайней мере одну настоящую книгу. У каждого случается такое, чем нужно поделиться с другими людьми. И, как мне кажется, самый лучший способ для этого – записать.

Довольно часто я встречаю прекрасных рассказчиков. Они повествуют так красочно, сочно, с такими меткими и важными подробностями, что, вроде бы, перенеси это на бумагу, и получится великолепное литературное произведение. Но, оказывается, записать устный рассказ, инстинктивно построенный по всем законам рассказа литературного, – впрочем, литература все-таки возникла из устного творчества, – для большинства людей дело непосильное.

Я не умел и не умею устно рассказывать ярко и увлекательно, но лет с двенадцати почувствовал тягу записывать. Сначала пытался продолжать сюжеты книг Жюль Верна, Майн Рида, Стивенсона, сочинять приключенческие или исторические вещи. Мне в то время нравились история, география. Помню, я придумал персонажа, который успел поплавать и с Колумбом, и с Магелланом... Лет с четырнадцати мне стал интересней окружающий меня мир, люди, которые были рядом; я увидел, что и в реальной – для меня реальной, сегодняшней – жизни есть то, о чем можно и нужно писать.

Конечно, огромное значение имела атмосфера в семье. У нас была большая библиотека, часто по вечерам устраивалось чтение вслух. Читали «Преступление и наказание», «Мартина Идена», «Тиля Улен-

шпигеля», многие другие книги... Прозу писал мой отец. К сожалению, из-за жизненных неурядиц, склада характера, темперамента он бросил писать. Точнее, на это занятие у него постепенно оставалось все меньше времени, сил, энергии...

Кстати сказать, узнавая биографии своих литературных сверстников, я видел, что почти у всех отцы сочиняли стихи, прозу, песни, очерки... Это никак не писательские дети, но дети тех, кого можно назвать поздними шестидесятниками – молодежью 60-х. Читать, дискутировать, писать было у них принято. И у рабочих, и у сельских жителей, у потомственных интеллигентов.

Я не очень-то верю в гены, в наследственность, а вот в атмосферу – да. И пусть мы не такие шумные и горячие, не настолько романтики, как наши отцы, но, может, это и к лучшему. Они были кипящим штормом где-то в центре океана жизни, а мы стали упорным, долгим прибоем, порожденным тем штормом... Такая вот, может, и не очень-то удачная попытка метафоры.

О том, как появляется идея произведения, так называемый замысел, я читал в мемуарах, статьях многих литераторов. У всех по-разному. Я не силен в вымысле, фантазия, воображение развиты слабо. Поэтому, как правило, сюжеты берутся из жизни. Что-то происходит лично со мной, что-то со знакомыми, что-то я узнаю из газет, телевидения, интернета. В СМИ как источнике сюжетов я не вижу ничего плохого – от газетных заметок, криминальной хроники отталкивались зачастую и такие величины как Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Леонид Андреев.

Вообще жизнь, реальная действительность, это, на мой взгляд, бездонный колодец для сюжетов всех возможных жанров литературы, для любого произведения. И для «Метели» Пушкина, и для «Метели» Толстого, и для «Метели» Сорокина...

Сюжет у меня складывается в голове целиком – с завязкой, кульминацией (какой-никакой), развязкой, набором персонажей, – и кажется, что записать его – дело недель, месяцев. Но если рассказ можно написать быстро, на одном порыве вдохновения, то большая повесть, роман требуют терпения. Часто приходится заставлять себя садиться за стол. Никакого желания вроде бы нет, но после некоторого времени над тетрадью (прозу я пишу от руки, в тетрадях) оно почти всегда появляется.

Я не могу писать часами, и когда слышу от некоторых, что они работают по десять, двенадцать, а то и шестнадцать часов в сутки, не могу поверить. Если я свободен во времени, то пишу в день в два-три приема по часу, полтора. Прерывать занятие стараюсь, зная, какой будет следующая фраза. Бывает, выплескиваешься до полного опустошения, и дальше продвинуться не можешь много дней, да и не хочется продвигаться. Поэтому стоит оставлять кое-что на следующий раз, какую-то зацепку-фразу, носить ее в себе. И с ее помощью двигаться дальше...

Многие начинающие авторы стремятся или подражать своим любимым писателям (расширение вселенной Толкина – самый распространенный пример подражательности последних лет), или сразу создать главную, окончательную книгу в истории человечества.

О первом случае говорить, наверное, не стоит – из юных подражателей часто вырастают в настоящих, оригинальных литераторов (нередко в критиков, литературоведов) или же в серьезных, думающих читателей. А вот второй случай сложнее.

Может быть, к сожалению, но писательство не только талант, жизненный опыт, воображение, вдохновение, а еще и ремесло. Сесть и написать с ходу сильную книгу – невозможно. Как это ни цинично звучит, нужно набить руку. Для этого требуется время и терпение.

Дворянам было легче – их с детства учили стихосложению, заставляли писать и писать сочинения. Недаром сохранилось огромное количество дневников, воспоминаний, «записок», не уступающих по исполнению лучшим образцам русской прозы.

В советское время была широчайшая сеть юнкоров, стенгазет и так далее. Нынче ничего подобного нет. В школе несколько лет вообще не писали сочинения (ввели снова то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году). Юных людей, способных связно выражать свои мысли, впечатления, переживания письменно, не так уж много. Краткость доведена до предела – молодежь нередко обходится смайликом. А потребность поведать о происходящем с тобой или о том, чему ты оказался свидетелем, огромна. И девятнадцатилетний человек выбирает форму такого моноромана. Подробного, длинного, от первого лица, в котором «Я» повествователя-автора собирает всё – от натурализма до философии.

Девяносто девять процентов авторов подобных произведений терпят неудачу. Нет, нередко основа очень интересная, важная, сильная, но исполнение... Штампы, клише, языковые нагромождения, неуклюжесть... Люди попросту не умеют писать.

Кроме всего прочего, в таких вещах заметно усилие. А видимое усилие, как справедливо заметил Белинский, то же, что и бессилие. Читатель не должен замечать, как сделано произведение, он, в идеале, должен с первых же строк погрузиться в него, а потом, после последней строки, вынырнуть и пожалеть, что оно закончилось.

Утверждать, что я научился писать, не решаюсь. Постоянно чувствую, что способность соединять слова держится на какой-то тонкой ниточке, и некая сила в любой момент может эту ниточку перерезать. И всё – ужас безъязыкости. Иногда бывают периоды – недели, месяцы, – когда эта способность действительно пропадает. Желание, потребность гложет, а способности нет... У Льва Толстого есть такая запись в дневнике: писать не могу, а хочется. Очень точно!

Периодами тот же Толстой погружался на месяцы в состояние, которое он называл «духовный сон». Но дневники показывают, насколько этот сон был для него мучителен и беспокоен!

Кризисов, состояния полного бессилия не избегает почти никто из писателей. «Пишущий *perpetuum mobile*» (выражение Чехова), это нечто не то чтобы редкое, а неестественное, подозрительное. Если пишешь по-настоящему, пусть даже обделен талантом, – неизбежны эмоциональное выгорание, духовный сон.

Но лелеять их, слезно любоваться ими, жалея себя, выгоревшего, нельзя. Нужно внушать себе, что это отдых, подготовка к новому. Что впереди скачок на следующий уровень. И стоит готовить себя к этому скачку.

Например, самый, пожалуй, продолжительный духовный сон Толстого случился во время публикации «Анны Карениной». Лев Николаевич отдал часть романа в журнал «Русский вестник», с увлечением писал продолжение, и вдруг ему стало «противно» то, что он написал, и, отложив роман, Толстой стал читать книги по педагогике, экономике, в очередной раз увлекся сельским хозяйством. Почти полгода не

прикасался к «Анне Карениной». Зато когда продолжил писать, роман из камерной истории «потерявшей себя» женщины превратился в огромное, сложнее по смыслу, идеям, вопросам и попыткам ответов произведение мировой литературы.

Так что не стоит отчаиваться во время кризисов. Кризис – это предвестие расцвета. Но нужно помогать своему писательскому организму, а не уходить в многонедельный запой, не проклинать всех остальных, кто способен писать... Мне лично очень помогает во время кризисов чтение прозы моих литературных сверстников. Когда попадаются тексты, на мой взгляд, слабые, неудачные, унылые усиливается, а вот когда сильные... Раньше я боялся того, что завидую, скажем, Захару Прилепину, Илье Кочергину, Антону Тихолозу, Денису Гуцко, Дмитрию Новикову, написавшим отличную вещь. Но именно зависть нередко заставляла меня садиться и пытаться написать такое же сильное... Перестал я бояться и стыдиться этого чувства, наткнувшись в собрании сочинений Пушкина на такую мысль: «Зависть – сестра соревнования, следовательно, из хорошего роду».

Всем должно время от времени не писаться... Кстати, у Бунина встретился очень интересный совет, который дал ему Лев Толстой:

«...Он спросил меня, пишу ли я что-нибудь. Я ответил:

– Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать.

Он оживился:

– Ах, да, да, прекрасно знаю это!

– Да и нечего писать, – прибавил я.

Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.

– Как же так нечего? – спросил он. – Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать так, – сказал он твердо».

Нередко кризис, разочарование наступают после публикации произведения. Это вроде бы нелогично: публикация, особенно первая, должна быть праздником, но в то же время обнародование твоего текста – большое испытание. Опубликованный рассказ, или роман, или повесть нужно прочитать самому свежим взглядом, и наверняка откроется множество недостатков, иногда и нелепостей. От этого, конечно, можно прийти в отчаяние... Но, погоревав, стоит приниматься за следующую вещь и пытаться написать так, чтобы потом, читая ее в журнале или книге, удивиться самому: ох как здорово получилось!

Довольно часто приходится слышать презрительное и брезгливое по отношению к рукописям молодых авторов: «Опять о себе любимом!»

Я никогда не разделял этого презрения. Может быть, потому, что сам – особенно лет до тридцати пяти – писал преимущественно от первого лица, награждая главного героя своими именем и фамилией...

Это вообще естественно для начинающего автора – повествовать от «я», делать главным героем себя или близкого себе человека. О чем и ком еще писать в юности и молодости?... Третье лицо обязательно появится, но для него нужно созреть. Впрочем, есть отличные авторы, которые на протяжении всей творческой жизни предпочитают первое лицо. Ничего в этом страшного нет.

Практически все, знаю, почувствовав потребность писать, принимаются за дело так: берут чистый лист (реальный или виртуальный, компьютерный) и выводят название (оно будет меняться почти каждый

день), «часть первая, глава первая, I». Довольно большому числу людей удастся дописать до последней главы, а вот опубликовать удастся крайне редко. Читать такие вещи, как правило, невозможно.

Я, хоть и не абсолютным новичком (были уже публикации, в том числе и в журналах «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Наш современник»), тоже написал подобный роман – не роман, повесть – не повесть... В общем, огромный по объему текст, в который собрал всё, что увидел, пережил, узнал к тому времени – к двадцати семи – двадцати восьми годам.

Писал около четырех лет, потом отнес толстенную – тесемки у папки не завязывались – рукопись в редакцию одного из московских журналов. Там прочитали и выдвинули условие: напечатаем, если сократите на две трети. Сначала я потерял дар речи, потом разозлился, а когда, спустя несколько месяцев, остыв и постаравшись забыть, что я автор, стал перечитывать, понял, что вещь у меня совершенно нечитабельная.

Из трети этого огромного текста получилась повесть, которую заметили критики и довольно сильно спорили о ней в газетах и журналах (а отрицательные, даже возмущенные отзывы, скажу по секрету, делают для известности автора куда больше хвалебных); еще несколько кусков я переработал в рассказы, остальные эпизоды, персонажей, использовал в большинстве следующих своих повестей и романов. То есть, огромный, непригодный для чтения кирпич стал основой для целого ряда вещей. Ничего плохого я в этом не вижу. И мой случай – не уникальный. Не буду сравнивать себя со знаменитыми писателями, русскими и зарубежными, но некий текст-основа для будущих произведений имелся у многих.

(Тут стоит сказать два слова о пресловутых самоповторах. Чаше всего авторов за них ругают, говорят, что исписались, что они «писатели одной темы». Любопытно, что живописцам можно создавать картины на один и тот же сюжет, бесконечно запечатлевать на холсте или картоне один и тот же храм, парк, один и тот же букет, одну и ту же рыбу или яблоки, а писатель, решившийся обратиться во второй, третий раз к одному и тому же типу, исследовать несколько по-новому историю, обвиняется в самоповторе. По моему, подозрительней писателя, с равной готовностью берущиеся за разные темы, обращающиеся то к современности, то к далекому прошлому, то уходящие в будущее...)

Да, для большого и по объему и по смыслу произведения необходимо созреть, вырасти, повзрослеть. Но это не значит, что литературная молодость – время тихого ученичества, писание для самого себя в плане упражнений. Нет! Литературная молодость – важнейший период в жизни любого автора.

Никогда вам не будет так хорошо (не скажу легко, наоборот, часто мучительно, но все же – хорошо) писаться, как в молодости. Свежесть слога, динамику, не осознанную, а интуитивную смелость образов и ситуаций не восполнить позже никаким мастерством.

И если в большой форме молодость часто терпит неудачу, в рассказах она побеждает. Коротких, емких, быстрых рассказах.

И писать в двадцать – тридцать лет нужно много. Взгляните, как много и быстро писали молодые Гоголь, Достоевский, Лев Толстой... Публикация, особенно первая, книжка – важна, но не стоит отчаиваться, если не всё принимают в редакциях и издательствах. Положите в стол, если вещь стоящая – ее срок придет. «Главное, чтобы на складе было», – говорил поэт-редактор Александр Твардовский...

Встречаясь с писателями, которых узнал многие годы назад как авторов поразивших меня рассказов, я, бывает, отваживаюсь спросить: «Романы ваши читаю, а рассказы не встречаю теперь. Вы их пишете?» И эти авторы, кажется, искренне печалются: «Не пишутся теперь рассказы. Пытаюсь, не получается. Прошла пора рассказов».

Можно поспорить, что рассказы писали многие литераторы и в пожилом возрасте. Вспомнить «Затеси» Астафьева, «Мгновения» Бондарева, «Крохотки» Солженицына... Нет, это другое – это миниатюры умудренных жизнью людей. Я имею в виду те поистине горы жемчужин, что в очень короткий отрезок жизни добыли, например, Чехов, Гаршин, Леонид Андреев, Зощенко, Шолохов и вообще поколение 20-х годов, наши современники – Михаил Тарковский, Илья Кочергин, Дмитрий Новиков...

О Шолохове продолжают спорить – он ли написал «Тихий Дон» и остальное, действительно ли родился в 1905-м, а не раньше. Не буду рассуждать на эти темы, скажу лишь, что, по моим ощущениям, рассказы Шолохова 1923–1927 годов написаны очень молодым человеком. Видна бедность приемов, ограниченность стилистических возможностей, но это восполняется богатством материала и отвагой, с которой автор этот материал превращает в прозу.

Кажется, не всё он, юноша, способен осмыслить, художественно проанализировать, поэтому нередко словно бы уходит в тень, предоставляя полную свободу персонажу рассказать историю. Вывод должен сделать читатель. Таковы потрясающие и ужасающие рассказы «Шибалково семя», «Семейный человек», «Лазоревая степь», «Ветер», по тому же принципу созданы «Председатель Реввоенсовета республики», «О Колчаке, крапиве и капусте», «Один язык», некоторые другие.

Слышать людей необходимо. Из себя самого многого не почерпнешь, а окружающая жизнь, стоит только обратить на нее внимание, предоставит предостаточно материала хоть для рассказа, хоть для романа-эпопеи. И не стоит сетовать на якобы бесцветное время, в которое мы живем, отсутствие событий, настоящих героев. Обратите внимание, что большинство великих романов «золотого века» русской литературы имеют в своей основе «пустячок». Но к этому «пустячку» пристегивается одно, другое, третье, и в итоге рождается «Обломов», «Анна Каренина», «Идиот»...

Вдогонку еще несколько слов о рассказах и о молодости. Чехов, создав «Степь», «Припадок», «Скучную историю», «Гусева», «Дуэль», «Жену», «Попрыгунью», серию очерков «Из Сибири», то есть зарекомендовав себя как серьезный писатель, мечтал вернуться к «мелким» рассказам, которых написал в первые годы занятия литературой многие-многие десятки. В 1892 году Чехов вроде бы вернулся к этой форме, но хватило его лишь на три-четыре рассказа. При всем желании развития не получилось. Видимо, «прошла пора».

Начинать свой путь в прозе нужно, по моему убеждению, если не со стихотворений (хотя, как показывает история, почти все прозаики пробовали себя в поэзии, а кое-кто писал стихи всю жизнь), то с коротких рассказов. Это не только лучшая школа для будущих повестей и романов, но и отдельный, уникальный и неповторимый жанр литературы.

Вернусь к повествованию от первого лица. Есть мнение, что первое лицо в прозе – относительно новое веяние. До «исповедальной прозы» конца 50–60-х оно, дескать, было редкостью и чаще применялось в очерках, чем в прозе.

Но русская проза началась с «Я». «Житие протопопа Аввакума», в котором автор и главный герой – одно лицо; автор, как говорят нынче, подписывается под каждым словом и действием своего героя... Естественно, Аввакум не считал, что пишет прозу, просто – рассказывал историю своей жизни во всей ее полноте, и получилась проза.

Первое лицо использовали и Пушкин, и Лермонтов. А образ рассказчика в «Мертвых душах» Гоголя разве не первое лицо?... От первого лица написан «Подросток» Достоевского, первое лицо мерцает и в «Бесах». Вспомним литератора с «апатическим лицом», появляющегося в последних строках «Обломова»... Заблуждение, что в этих произведениях повествователь не влияет на сюжет, а лишь рассказывает о происходящем – дело в том, что мы видим происходящее глазами повествователя, невольно соглашаемся с его оценкой. На самом деле истории с Чичиковым, или Ставрогиным, или Обломовым, или Калиновичем из «Тысячи душ» Писемского, может быть, были совсем другими...

Повествование от первого лица дает огромные возможности. И обязательно оно – первое лицо – должно быть тождественно автору. (Такого и не бывает – даже если стараешься писать предельно документально, все равно выходит с изрядной долей вымысла.) Вспомним повесть Чехова «Скучная история». Он написал ее в неполные тридцать лет от лица старого профессора Николая Степановича. Если бы повествование велось от третьего лица, в авторе наверняка угадывался бы молодой человек, решивший показать человека другого поколения, и получилась бы некоторая авторская ирония, усмешка над этим влюбленным стариком. А так – вжившись в Николая Степановича – Чехову удалось создать повесть абсолютно достоверную, печальную, горькую... Тогдашняя публика никак не могла поверить, что это написал еще вполне молодой человек, да к тому же автор известных «юмористических» рассказов, над которыми года за три перед «Скучной историей» хохотала вся читающая Россия...

Чехов обладал поразительным писательским артистизмом. Впрочем, артистизм необходим любому литератору. Даже философская, филологическая проза должна быть в первую очередь прозой, то есть не научной, а художественной сферой литературы.

Необходимо помнить о деталях, мелочах. Есть такое выражение: «Бог в деталях», (вариант – «дьявол кроется в мелочах»). По-моему, очень точно. Фабула может быть какой угодно алогичной, абсурдной, фантазмагорической, но детали способны заставить читателя поверить в достоверность происходящего, оказаться там, внутри произведения...

Сегодня сюжет романа Герберта Уэллса «Война миров» должен по идее вызывать лишь саркастическую улыбку. Это произведение по всем статьям нужно бы уже лет девяносто как сдать в архив. Мало ли какие фантастические произведения литературы были созданы человечеством, и абсолютное большинство кануло в Лету. Даже те, что в свое время потрясали своей смелостью... Что может быть сегодня нелепее выстрелов с Марса по нашей планете из пушки, с помощью которых сюда доставляются захватчики-марсиане. Монтируют некие шагающие треножники и уничтожают землян световыми лучами, осыпают ядовитой пылью. И в итоге сами гибнут от вирусов... Да, в конце позапрошлого века – революционный прорыв, но зачем это читать нам, людям XXI столетия?

Но мы, поколение за поколением, продолжаем читать и перечитывать, а историки литературы продолжают относить «Войну миров» к великим образцам мировой литературы. А дело в том, что роман этот абсолютно правдоподобен: читатель вместе с героем книги испытывает любопытство, ужас, жажду, голод, отчаяние, радость; по сути, каждая мелочь в книге работает на достоверность содержания...

Осмелюсь утверждать, что произведение литературы живет и читается не из-за оригинального, сильного, глубокого сюжета, а из-за деталей, которыми покрыт сюжет. Поэтому – не пренебрегайте мелочами, относитесь серьезно к деталям. В них соль.

Вернусь к тому, с чего начал: писать может и даже должен – каждый. Хотя бы пытаться. И жанр в этом случае не так уж важен. Главное – искренность и достоверность.

Александр Герцен создал немало художественных произведений. Все они нынче почти забыты, интересуют в основном специалистов. Но что до сих пор читают, о чем нередко спорят, что цитируют – «Былое и думы».

Чаще всего эту толстенную книгу называют воспоминаниями. Формально – да, воспоминания. Но в то же время настоящая проза. Проза без примеси беллетристики. Мы не видим здесь необыкновенных приключений, сверхгероев и тому подобного. Сюжет книги – жизнь пусть замечательного, но вполне реального и нестарого (публикация началась, когда Герцену было 43 года!) человека.

Видимо, Герцен опасался усмешек в отношении своего «раннего мемуара», поэтому сопроводил начало публикации в альманахе «Полярная звезда» таким замечанием:

«Для того, чтоб писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, – для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать».

Всякая жизнь интересна; не личность – так среда, страна занимают, жизнь занимает. Человек любит заступать в другое существование, любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению... Он сравнивает, он сверяет, он ищет себе подтверждений, сочувствия, оправдания».

Очень точные слова, верные...

У всех есть жизнь. Каждая жизнь, если приглядеться, уникальна и достойна того, чтобы о ней рассказать.

Константин ВАСИЛЬЕВ

Родился в 1952 году, окончил Ленинградский государственный университет. Филолог-германист, автор многочисленных пособий по английскому языку.

Готовил к печати для петербургского издательства «Азбука» серии «Русская словесность» и «Наследие», редактировал и снабжал примечаниями такие произведения, как «История кабаков в России» И.Г. Прыжова, «Тайная канцелярия» Г.В. Есипова, «Остров Сахалин» А.П. Чехова, «Записки из Мёртвого дома» Ф.М. Достоевского, «Имена» П.А. Флоренского, «Витязь в барсовой шкуре» Руставели. Сотрудничает с философским изданием Vox, рядом литературных журналов. Живёт в Санкт-Петербурге.

ПРО ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ И ВОЛЕЙБОЛ

Хляби от лексикографов с подачи лириков

Что такое *хляби*, что значит сие слово? Если, глядя в окно, кто-то скажет: *разверзлись хляби небесные!* — смысл нам понятен: на улице сильный дождь. Объяснять слова по-отдельности вроде и нет необходимости: *разверзлись* значит *раскрылись*, а *хляби* — это... Я спросил и от разных людей получил разные ответы: это что-то мокрое, хлюпает; вроде как болото, трясина. Или: это облака; нет, это про водопад. Или: это о Всемирном потопе, из Ветхого завета. Начитанный человек привёл словарное объяснение: *хлябь* значит *бездна*. Любители поэзии обращаются к Евгению Баратынскому, к его стихотворению «Буря»:

Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревёт, и чёрные валы
Идут, до неба восставая...

Следует объяснение: *хлябь* — это *пучина*. В целом, *морскую хлябь* можно понимать как *море*; то есть морская стихия разыгралась. Лирику я тоже люблю, но не считаю её уместной при объяснении малоизвестных слов. Не хочу ли я привлекать алгебру для проверки гармонии, как это сделал пушкинский Сальери? Арифметическая точность в языкознании невозможна, но вдумываться в то, что говорится и пишется, осмысливать напечатанное — очень даже желательно. Исходя из поэзии, *хляби небесные* — это *небесные пучины*, они *разверзлись*? Не согласен: *пучина* применима к морю — к жидкой среде, в которой гибнут или покоятся утонувшие корабли. Что касается неба, оно в представлении древних иудеев было твёрдым куполом. Напомню: «И создал

Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом» (Бытия 1:7-8). На *тверди небесной* – ни пучин, ни бездн. Под *твердью* – воды рек, морей и океанов, над ней – дождевая вода, она-то и потекла на землю, когда открылись некие *хляби*.

Не хочу показаться всезнайкой, который иронически выслушивает догадки. Началось с того, что я спросил у самого себя: *хляби*, слово редкое, слово старославянское или, может быть, церковнославянское, должно иметь одно значение и однозначное объяснение, а у всех при упоминании *хлябей* рисуются разные образы – от разверзающихся облаков до морских пучин и хлюпающих болот.

Заглянем в словарь С.И. Ожегова, где короткие объяснения; в том числе и по нашему вопросу: *хлябь* (во множественном числе *хляби*) имеет значение *бездна, глубина*. Приводятся два примера: «*Хляби морские*. *Хляби небесные разверзлись* (о сильном дожде)».

Мне опять рассказывают про море, а я ищу ответ про небо. Глубина – у любого водоёма, но языковед Ожегов ограничился *хлябями морскими*. Под влиянием поэта Баратынского? Сейчас широко используется «Новый словарь русского языка», составленный Т.Ф. Ефремовой, и меня смущает, что в нём куда больше значений:

«*Хляби* 1. *ж. разг.-сниж.* 1) непогода с дождём и слякотью. 2) жидкая грязь, топь. 2. *ж. устар.* 1) а) бездна. б) водная глубина. 2) потоки бурлящей воды; стремнина».

Видите: опять *бездна*, опять *водная глубина*. Всё прочее, к ним добавленное, тоже про мокроту: *непогода, жидкая грязь, потоки*. Они под разными цифрами, так что идёт речь о разных значениях. А я-то думал, что значение одно!

Заменим *хляби* в библейском речении на какое-либо из предложенных толкований. Разверзлась *непогода, потоки бурлящей воды*? Из перечисленного разверзнуться может разве что бездна... *Жидкая грязь и топь* – стоячие, а *стремнина*, как я понимаю, – бурное течение воды в узком месте. И первое, и второе – одинаково *хляби*?

В числе расхожих сегодня и «Современный толковый словарь русского языка». Составлен он *той же Ефремовой*, но почему-то по поводу *хлябей*... Теперь по поводу *хляби* (в единственном числе) даются не совсем те же объяснения (и с другим набором циферок и буковок):

«*Хлябь* I *ж. местн.* 1. Непогода с дождём и слякотью. 2. Жидкая грязь, топь. II *ж. местн.* Место бурного и стремительного течения в реке, в потоке; стремнина I. III *ж. устар.* 1. Крутой скалистый обрыв; стремнина II 1. 2. Бездна, пропасть; стремнина II 2».

Смотрите, сюда ещё и крутые скалы приплетены... Простите, добавлены. С первого прочтения мне не вполне удалось вникнуть в суть и смысл. В глазах пестрит и от обилия цифр: и римские здесь, и арабские! Нас ещё отсылают смотреть дополнительно значения *стремнины*, тоже под разными цифрами. *Водную глубину*, правда, выбросили. Но вставили *пропасть*. Речная стремнина – тоже *хлябь*, но с оговоркой, что это местное употребление: значит, не по всей России *бурное и стремительное течение*, как и *непогоду с дождём*, называют *хлябью*. *Бездна и стремнина* числятся по какой-то причине в устаревших значениях... Явная новизна в том, что среди всего хлюпающего и текущего – *крутой скалистый обрыв*. Среди мокрых, так сказать, *хлябей* – *хлябь твёрдая и сухая*! Из прочитанного можно сделать вывод, что *хлябь* – не редкое библейское, а расхожее слово на многие случаи.

Мне вспомнилось одно стихотворение... Повторю: по большому счёту, не следует давать словарные определения, основываясь на художественной литературе. Сочинители, особенно поэты, всячески играют с языком, всячески выкручивают его – добиваясь оригинального индивидуального стиля! – но чуть ли не все составители словарей подкрепляют свои толкования именно стихотворными строками, с удовольствием и как-то *профессионально* ссылаются на Пушкина, цитируют Лермонтова, Баратынского или кого помельче. И получается, что нам не смысл того или иного слова объясняют, нам пытаются растолковать, в каком значении его следует понимать в употреблении того или иного стихотворца.

Мне зачитали Баратынского про море, а я вспомнил – в помощь своим рассуждениям – Вячеслава Иванова про зимнюю бурю:

Всё смешилось в тусклой хляби —
Твердь и зыби вьюжные.
Кто вас губит, кто вас грабит,
Вертограды южные?

В стихах – *пленительная сладость*, они завораживают, мы на слух всё принимаем и как будто понимаем. А если взяться за придирчивый разбор, тогда сильно озадачишься: что такое *тусклая хлябь*, в которой смешались каким-то образом *твердь* и *вьюжные зыби*? Обратившись к словарям, хотя бы к уже названному, мы не обнаружим в них подходящего объяснения для *тусклой хляби*. Это и не *бездна*, и не *глубина*, и явно не *жидкая грязь*. Говорится о непогоде, но в *словаре Ефремовой* утверждается, что *хлябь* – *непогода с дождём и слякотью, а здесь – с ветром и снегом*.

Давайте, *изоштрив ум, сообразим, что же имел в виду Вячеслав Иванов*, и вставим дополнительное толкование в словарную статью – под ещё одной цифрой, римской или арабской. Потом, встретив у Велимира Хлебникова *пламенные хляби*, снова обогатим словарь: после *вячеславо-ивановского* значения припишем *велимиро-хлебниковское*.

Преграда? А, может, окна?

Нет, всё-таки жидкая грязь!

Я иронизирую? Нет, я недоумеваю. В «Словаре Академии Российской», в первом издании, которое выходило в 1789–1794 годах, существительное женского рода *хлябь* объяснялось всего двумя словами, а нынче – сколько словес наворочано! Куда им до нас, академикам давно минувшего екатерининского века, не имевшим понятия о фонемах, лексемах... Для составителей означенного словаря *хлябь* была *преградой*. Откуда взялись *новые* значения – и *непогода*, и *бездна*, и *грязь*? Отчасти оттуда – из художественной литературы: прозаики и поэты, *тоской и рифмами томимые*, прилагали усилия, чтобы с помощью красочных метафор нарушить нормальный язык, а лексикографы переносили и переносят авторские неправильности в толковые словари, придавая им статус языковой нормы.

Да, *хлябь* толковалась как *преграда*. А потом кто-то из сочинителей, вроде К. Н. Батюшкова, красиво, но неправильно выразился, назвав

хлябями водные то ли просторы, то ли глубины. По Библии, когда *отверзлись небесные хляби*, на земле началось наводнение, и слово *хляби* перенеслось в сознании стихотворца, который *живёт поэзией и бредит рифмами*, на воды Всемирного потопа, а заодно и на водное наполнение морей и рек. Может быть, и до Батюшкова кто-то *переносно* называл водоёмы *хлябями*, но в словарях мы видим сегодня пример именно из названного пиита, который, живописуя в 1814 году развалины замка в Швеции, использовал *хляби* по отношению к воде:

Задумчиво луна сквозь тонкий пар глядит
На хляби и берега безмолвны.

Батюшков обмолвился, за ним обмолвился или повторил чью-то обмолвку Баратынский – в 1824 году, в уже упомянутой «Буре»: *хлябь морская клокочет и ревёт*. Благодаря их лирике появились и до наших дней повторяются в словарях *хляби морские*. А толкование *водные глубины*, которое мы находим в «Большом энциклопедическом словаре» и в «Большой советской энциклопедии», основано вовсе не на энциклопедических знаниях, а опять же на художественных высказываниях, вроде тех, которые у А. А. Фета в следующих строках:

Малютка, хоть твоя б одна
Ладья спастись успела,
Пока всей хляби глубина,
Чернея, не вскипела.

А уж если А. С. Пушкин *обмолвился*, то, само собой, его неточные высказывания переносились усердными лексикографами в толковые словари в виде показательных примеров. Хорошо, что географы не учат свой предмет по Пушкину или Гоголю! Прочитав в стихотворении «Кавказ» заявление *Кавказ подо мною*, можно сделать вывод, что Пушкин взобрался не иначе как на Эльбрус, самую высокую кавказскую вершину, у подножия которой *мчится Арагва* и тут же рядом *играет Терек*. Приняв к сведению гоголевское *редкая птица долетит до середины Днепра*, на географических картах стали бы изображать Днепр неимоверно широким; птицы летят часами без посадки, они океан способны преодолеть, а указанная река, по Гоголю, представляет для них непреодолимое препятствие. И физики с химиками, приняв за аксиому пушкинское *лёд и пламень не столь различны меж собой*, заговорят о молекулярном сходстве, если не идентичности, замёрзшей воды и огня...

В 1794 году наши первые официальные любители русской словесности в своём академическом словаре обошлись двумя словами для определения *хляби*: *преграда, оплот*. С единственным примером употребления, взятым из Библии: *И хляби небесныя отверзошася*. Филологи советской эпохи, знавшие Библию в общих чертах, в виде крылатых выражений и сказочных историй вроде Всемирного потопа, толковали *хлябь* по переносному или просто неправильному употреблению этого слова разными сочинителями, часть которых мы уже назвали. Следующее гнездо – словарное, не птичье! – взято из современного «Малого академического словаря»:

«Хлябь, -и, ж. (мн. в том же знач. хляби, -ей). 1. Устар. Неизмеримая глубина моря или неба; бездна. *Завыла буря; хлябь морская Клокочет и ревёт* <...>. Баратынский, «Буря». Малютка, хоть твоя б одна Ладья

спастись успела, Пока всей хляби глубина, Чернея, не вскипела. Фет, «Барашков буря шлёт своих». 2. Разг. Жидкая грязь. – Три часа по грязи туда да три обратно. Машины-то через эту хлябь не проходят, – добавила Ольга Петровна. Б. Полевой, «В тумане». Машины, по радиатор ныряя в хляби, ринулись по дороге. Леонов, «Взятие Великошумска». ♦ Разверзлись хляби небесные (шутл.) – о непогоде с проливным дождём и слякотью».

А преграда, оплот из «Словаря Академии Российской», они где? Их забыли, поскольку сам «Словарь» был задвинут на дальние полки, как нечто малонаучное из времён Очаковских и покоренья Крыма. Вместо преграды и оплота (в смысле забора, ограды) утвердилась в словарях поэтическая неизмеримая глубина – в том числе по отношению к небу, ведь стало смешным воспринимать его как твердь. Представители марксистского языкознания, узрев в литературе социалистического реализма хлябь в значении жидкая грязь, поспешили закрепить её в словарях.

Советские машины ныряли в хляби; если так ведущие литераторы выражались, то чего ждать от журнально-газетных подмастерьев? В словесном самовыражении быкам позволено то, что позволено Юпитерам, и – пошла писать губерния; в публицистике советского периода можно встретить какую угодно хлябь: болотную, чернозёмную, весеннюю, осеннюю, дорожную, снежную, тусклую, хмурую, зловонную, вязкую, непролазную, невылазную...

Разверзлись хляби небесные подаётся как шутливое высказывание о сильном дожде... Почему, собственно, все упорно повторяют разверзлись? В церковнославянской Библии было отверзлись: «Хляби небесныя отверзѡшася».

Под сильным давлением современных лингвистов можно и засомневаться: а что как в восемнадцатом веке княгиня Дашкова и её академики неправильно про хлябь объясняли? Какая-то преграда у них, какой-то оплот. Сомнения усиливаются, если заглянуть в лютеранскую Библию, где в рассказе о том самом Всемирном потопе по-немецки написано: «**Und taten sich auf die Fenster des Himmels**» (1 Mose 7:11). Нашему отверзлись небесные хляби соответствует небесные окна (die Fenster des Himmels) отворились. В одном из многочисленных переводов Ветхого завета на английский язык говорится, что шлюзы открылись в небе: «The floodgates of the sky were opened» (Genesis 7:11). Может, эти немцы и англичане, эти папезники, лютеры да кальвины (как сказано уничижительно у Кирши Данилова) тоже напутали или переврали, неправильно Ветхий завет перекладывая с древнееврейского? Какие же окна, какие ещё шлюзы, в наших словарях ведь чётко объясняется: бездна, глубина, слякоть. Жидкая грязь, опять же. Да, и стремнина – как водная, так и скалистая.

Хляби – не стремнины! И не реки.
И не единственные преграды...

Запутавшись, дадим себе отдохновение; полюбуемся видами дикой природы, как их запечатлел в 1751 году М. В. Ломоносов:

Там горы, хляби там, бугры, стремнины, реки,
Препятствия везде, неслыханны во веки...

Отдыха не вышло, наши мысли снова закипели, ибо нам встретились *хляби* и *стремнины* – два разных слова с разными значениями. А в наше время их свели в одну словарную статью. *Хляби* здесь не стремнины. И не реки. Неужели моря? Или болота? Объяснение следует искать, видимо, в первом академическом словаре. Он не при жизни Ломоносова составлен и напечатан, но в нём изобилуют цитаты именно из ломоносовских виршей – как образцы правильного русского языка. Тогда *хляби* будут некими преградами или оплотами (заборами). Во второй строчке, однако, о преградах отдельно сказано: *препятствия везде*. То есть *хлябь* – одна из преград, наравне с горами, буграми, реками... Но значение у неё своё. Его не объяснил нам пока ни один словарь.

Расхлябанность на базе хляби со сжатием до хлябы

В семидесятых годах прошлого века вышло пособие для учителей с названием «В мире слов» – где множество статей о разных словах и выражениях. Автор, Н. М. Шанский, доктор филологических наук, профессор Московского университета, действительный член Академии педагогических наук, считался светилом российской лингвистики: он специалист и по лексике, и по фразеологии... Указанное пособие не так давно переиздали под названием «Лингвистические детективы»: отдавая дань новым рыночным временам, надо прямо с обложки завлекать читателей чем-то мистическим, сакральным или детективным. Для нас главное, что статья Шанского о *хлябях* одинакова в обоих изданиях.

И чем *толочь воду* и *месить жидкую грязь*, я приведу авторитетное мнение, полагая, что всё насчёт хлябей сейчас прояснится.

«В качестве самостоятельной лексической единицы слово *хлябь* практически в нашей речи отсутствует. Оно живёт лишь как часть целой словесной семьи, и только в ней. Вспомним шутовское выражение *разверзлись хляби небесные* (пошёл сильный, проливной дождь). Мы видим, что в названном фразеологическом сращении архаично не только существительное *хлябь*, но и глагол *разверзлись*. Хорошо знакомо лишь прилагательное *небесный*. С чем же небесным и что же сделалось? Начнём с последнего. О глаголе *разверзлись* нельзя не упомянуть, если говорится об этимологии существительного *отверстие*. *Разверзлись* может значить *раскрылись*, *развязались*, *расшатались*, *ослабли*»...

Прямо-таки в словесный водоворот нас закрутило! По Шанскому, слово *хлябь* само по себе *практически отсутствует*. Но в тех словарных статьях, которые я привёл выше, составители описывают его широкое употребление, приводя по несколько значений под разными цифрами, с разными пометами и с примерами из художественной литературы.

Какую словесную семью имеет в виду автор? Почему он твердит *разверзлись*? В объяснениях подобного рода существительные приводятся в именительном падеже и единственном числе, глаголы должны быть в неопределённой форме, но Шанский как будто уклоняется от того, чтобы её назвать. Я цепляюсь? Нет, если разбираться, то давайте следовать правилам. Заявлено, что *разверзлись* – глагол архаичный, поэтому

не очевидно, что неопределённой формой будет *разверзаться*. Потом, у меня имеются сомнения, что *разверзлись* можно понимать как *развязались*, *расшатались* и особенно *ослабли*.

В «Словаре Академии Российской», в первой его редакции, не так-то просто найти неопределённую форму глагола, поскольку слова располагались не в алфавитном порядке, а по *гнездовому* принципу. Оказалось, следует исходить из *верзити* – с ударением на первом слоге и со значением *бросать, кидать, метать*. В большом словарном гнезде мы находим и *извергати*, и *изверг...* Здесь же глагол *отверзати*: «открывать, растворять то, что было затворено, закрыто»; приводится пример – смотрите, прямо-таки на нашу тему: «Двери небесе отверзе». Запомним, нам это пригодится: в 77 псалме сказано, что Иегова *открыл двери неба*.

Находим *разверзати* со значениями: *растворять, раздвигать, делать отверстие между тем, что было сомкнуто*. Любопытно: делать *отверстие* между тем, что было сомкнуто... Нет, вопреки утверждению Шанского, *развязались*, *расшатались* и *ослабли* не являются синонимами для *разверзлись*. Похоже, автор привёл их как бы *до кучи*. Чем больше слов, тем солиднее выглядит твой доклад. И тем труднее слушателям определить, есть ли в нём смысл...

Читаем дальше *детективную* историю про *хляби*:

«Чтобы понять, какое значение было первоначально у оборота *разверзлись хляби небесные*, нам осталось узнать, что значит слово *хлябь*. Это существительное имеет значение *простор, пустота, глубь; бездна, пропасть*. Таким образом, буквальный перевод выражения *разверзлись хляби небесные* даёт нам *открылись небесные просторы* (или *бездны* и т. д.). Тем самым становится яснее и оправданнее современное значение оборота, которое является как бы следствием исходной семантики. И всё же история нынешнего значения *пошёл сильный, проливной дождь* «разверзается» перед нами полностью лишь тогда, когда мы привлекаем тот контекст, из которого выражение *разверзлись хляби небесные* явилось на свет.

А извлечено оно было из библейского рассказа о Всемирном потопе: «Разверзошася вси источники бездны, и хляби небесные отверзошася. <...> Н. С. и М. Г. Ашукины (Крылатые слова. М., 1966) по традиции передают этот отрывок таким образом: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились <...>. Однако, как можно заключить, имея в виду уже изложенное, такой перевод неточен. Ни *великой бездны*, ни *небесных окон* здесь нет, а слово *разверзошася* требует перевода *раскрылись*».

Подождите, снова перечитаю... Ашукины, составители «Крылатых слов», точно процитировали Синодальный перевод, а не передали *по традиции* церковнославянский текст современным языком, но Шанский после путаных словесных наворотов, делая заключения из чего-то, им изложенного, вдруг чётко высказался: ни *великой бездны*, ни *небесных окон* здесь нет!

Статья на этом не заканчивается, Шанский *попутно* рассуждает о глаголе *расхлябаться*, который, как он уверен, *сконденсировался* из выражения *разверзлись хляби*: *гайки расхлябались, сапог расхлябался*; он упоминает существительное *расхлябанность* (*недисциплинированность* – от *расхлябанный*)... Скорее всего, учителя, которым адресована в качестве *пособия* книжка «В мире слов», не поняли, что во что *сконденсировалось* и *ужалось*, но они будут

скромно молчать, огорошенные подлинно *филологическими* фразами про исходную семантику, лексические единицы и фразеологические сращения.

Остаётся узнать, что значит слово *хлябь*. Ах да, автор в своём многословии... у меня чуть не сорвалось из-под пера: в куче словесного мусора... Он-таки произнёс, что *хлябь* надо понимать как *простор, пустота, глубь, бездна, пропасть*. Какой широкий разброс! Нечто ивширь, и вглубь, и бездна, и одновременно пустота... Это *исходная семантика*? А *небесные окна* и *великая бездна* – это как бы её следствие. Или наоборот?

Хляби подземные, палящие и смертные

Я бросил камнем в поэтов, обвиняя их в ненормативной лексике... Простите, в отступлениях от *нормативного языка*, но сейчас чувствую, что мне не обойтись без поэта Ломоносова. В его время, в 1751 году, была напечатана Елизаветинская Библия, откуда взяты *хляби небесные*, и Михаил Васильевич, современник, должен был чувствовать, что за сим кроется!

Напомню, Ломоносов пишет: *Там горы, хляби там, бугры, стремнины, реки...* Хляби противопоставлены горам, это впадины, ущелья, это провалы в земле. В его трагедии «Тамира и Селим» странник, убегающий от зверя, оказывается на краю стремнины, то есть над крутым склоном:

Но, вдруг увидев, что тут стрёмнина крутая
И должно в мрачну хлябь стремглав упасть с горы,
Оцепенев стоит...

Страннику грозит падение в *мрачную хлябь*, то есть в расселину, провал. Обратите внимание, что *стремнина* здесь твёрдая, каменная. А *хлябь* никак не связана с водой, это яма, отверстие в земле. Тогда *хляби небесные* – отверстия в небе? Да, лучше сказать – в *тверди небесной*. Дабы моё напористое напоминание о *тверди* прозвучало чётче и убедительнее, повторю про сотворение неба из Ветхого Завета, где в трёх строчках *твердь* звучит четыре раза. Я беру текст на латыни просто потому, что латиницу легче воспроизвести, нежели подлинную кириллицу из Елизаветинской Библии. Латинское *firamentum* (твердь) образовано от *firmus* (крепкий, прочный); все учили английский и сразу увидят сходство с прилагательным *firm*. Слово *deus* значит *бог*, *aqua* – это *вода*.

Итак, Книга Бытия, глава 1 стихи 7–8: «*Et fecit deus firmamentum divisitque aquas quae erant sub firmamento ab his quae erant super firmamentum. Et factum est ita. Vocavitque deus firmamentum caelum*».

После многословия, выше прозвучавшего, после неверных, неточных и отдалённо-приблизительных толкований хочется как-то резче определить значение *хлябей*, поэтому позволю себе выразиться грубовато: это *дыры*. Сродни дырам на земной поверхности – провалам, ямам, пещерам, дырам в строениях, где оконные и дверные проёмы, отдушины, продушины, дымоходы...

В 1739 году в оде, посвящённой победе над турками и татарами, Ломоносов пишет:

За хóлмы, где паляща хлябь
Дым, пепел, пламень, смерть рыгает,
За Тигр, Стамбул, своих заграбь,
Что камни с берегов сдирает;
Но чтоб орлов сдержат полет,
Таких препон на свете нет.
Им воды, лес, бугры, стремнины,
Глухие степи – равен путь...

Не возникает вопросов по поводу *орлов* – это русские солдаты, и для них не существует препон, то бишь преград. Под *Стамбулом* следует понимать Османскую империю, от Стамбула автор требует: *заграбь*, то есть заberi, *своих* (своих солдат, людей, войска), отведи их за Тигр, за ту реку, что своим быстрым течением *сдирает*, смывает камни с берегов.

Я не вижу здесь великой поэзии, но нам важны грамматика и смысл. Туркам советуют уйти за Тигр и – за некие холмы, где *паляща хлябь* изрыгает дым, пепел... Это о вулкане. *Паляща хлябь* – жерло вулкана. Дыра в кратере, из которой вырывается огонь и течёт лава.

В большом стихотворении о великой пользе стекла Ломоносов использует *хлябь* в значении *ход*, *проход*, *канал*. Главный герой здесь – (подземный) Огонь:

Во мрачной глубине, под тягостью землею,
Где вечно он живет и борется с водою,
Все силы собрал вдруг и хляби затворил,
В котыры Океан на брань к нему входил.
Напрягся мышцами и рамена подвинул
И тяготу земли превыше облак вскинул...

Если в библейской истории о потопе *хляби отворились*, то здесь Огонь, собрав силы, их *затворил*: он закрыл подземные ходы, проходы, отверстия, через которые *входил на брань Океан*, то есть попросту вода проникала по разным дырам и огонь заливала, тушила. Таким образом прекратилась борьба с водой, и, напрягшись мышцами и двинув плечами (раменами), Огонь выбросил наружу расплавленную подземную породу – произошло извержение вулкана.

Разве не убедительно? – с *хлябями* в значении *ходы*. Ходы, кои можно отворять и затворять.

Но, боюсь, я не всех или мало кого убедил. Ломоносов, знаете ли, с его аллегориями, которые не сразу распутаешь, с его тяжеловесными виршами и старинными словами, смысл которых то ли так следует понимать, то ли не так... Может, здесь у Ломоносова *хляби* как раз и есть *бездны*, *глубины* или, может, подземные *стремнины*? Тем более, что в первом «Словаре Академии Российской», где, как вы говорите, Ломоносова часто цитируют, почему-то не объяснили *хлябь* как *ход*, *отверстие*, как *дыра*, по вашему выражению! Там написано: *преграда*.

Жерло, ставшее оплотом

Делая в 1806–1822 годах второе издание академического словаря, составители переработали и расширили статью со словом *хлябь*. Они сохранили первое толкование: *преграда, оплот*. А к библейской цитате *хляби небесныя отверзошася* добавили показательный пример... Из М.В. Ломоносова! Какой же? Который мы только что разбирали:

За холмы, где паляща хлябь
Дым, пепел, пламень, смерть рыгает,
За Тигр, Стамбул, своих заграбь,
Что камни с берегов сдирает. Л. М.

Как, исходя из этого, понимать *палящу хлябь*? Судя по всему, как некую *преграду*. Которая дым с пеплом изрыгает. Мы же установили, что это *жерло* вулкана. Или не установили?

Кроме этого, *хлябь* получила ещё одно толкование. Оно приводится со звёздочкой, которая указывает на *переносный* смысл. С цитатой из того же Ломоносова:

« 2.* То же, что бездна. Таков был сей Апроний, который не токмо житием, но и телом и лицом показывает, что он неизмеримое есть жерло и хлябь всех пороков и скверностей. Лом: Ритор: кн. I, гл. 4».

Составители второго издания привели ломоносовское четверостишие ни к селу ни к городу, они ввели в оборот толкование *бездна*, которое стали переписывать в свои труды последующие языковеды... Например, протоиерей Г.М. Дьяченко, составляя «Полный церковнославянский словарь», должен был объяснить, что *хлябь* значит *окно*, но вместо этого он, *ничтоже сумняшеся*, списал определения из второго издания академического словаря: «*Хлябь* (κατάρπη) преграда, оплот; *хляби* – бездны».

Похоже, что... не решаюсь выговорить: протоиерей Дьяченко не читал Синодальный перевод?

Окна небесные! Они же отверстия

«Полный церковнославянский словарь» был напечатан в 1900 году. К тому времени утвердился Синодальный перевод, изданный двадцатью четырьмя годами ранее. В коем вместо церковнославянского *хляби небесныя* на простом русском языке написано *небесные окна*: «В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились».

Я, наверно, зря ходил кругами и подводил исподволь? Нужно было с самого начала зачитать означенный стих и не мусолить про *глубину, пучины и просторы*, не ковыряться в *жидкой грязи*, которую натащили в русский язык упомянутые выше языковеды с подачи разного рода сочинителей. По приведённой цитате разумный человек видит, что и толкование *бездна* применительно к *хлябям* неуместно: *бездна* присутствует в первой половине зачитанного библейского речения. И у неё своё значение: *великая бездна* – это без-

донная водная пучина, это скопление всех земных вод. Вода хлынула разом из земных источников, и наводнение усилилось за счёт воды, которая потекла сверху через проёмы, через окна, открывшиеся в небесной тверди.

Почему всё-таки окна, а не шлюзы?

Как я сказал, в некоторых английских переводах Ветхого завета *хлябям* соответствуют *floodgates*, то есть *шлюзы*: «The floodgates of the sky were opened». Есть *шлюзы* (Schleusen) и в немецких переводах, например, в таком варианте: «Die Schleusen des Himmels haben sich aufgetan».

Окно и шлюз – не одно и то же. Но сходство есть. Их можно открыть и закрыть, они впускают или выпускают: через окно проникает воздух и солнечный свет, через шлюз протекает вода. Почему в большинстве современных переводов отдаётся предпочтение *окнам*? Потому что *шлюз* навязывает картину с течением и падением воды, а в первоисточнике, в древнееврейской Библии, стояло слово, которое значило просто *отверстие*. Потом, шлюз – сложное гидротехническое сооружение; нет ни малейшего намёка на то, что при сотворении мира Иегова смонтировал на *тверди небесной* некие приспособления.

Мы обратили внимание, что в 77 псалме эти проёмы в небесной тверди названы дверями: «Двери небесе отверзе». По Книге Еноха, в небесном своде открываются *ворота* (gates), через них **выходят и уходят солнце и луна**: «The gates whence the sun goes forth, and the gates where the sun sets; in which gates also the moon rises and sets» (Enoch 71:3–4). Через подобные врата появляются звёзды, ветры, град, роса, холод и дождь. Эти отверзающиеся проёмы нельзя именовать шлюзами.

Как ни странно, *преграда* и *оплот* в «Словаре Академии Российской» не являются показателем полного невежества: толкователи исходили из того, что в небе имелось нечто, преграждавшее путь воде. Если бы вместо *преграда* они написали *заслонка*, *затвор*, *здвижка*, было бы понятнее, вы не находите? Открылись заслонки (для выпуска воды).

Теперь откроем «Словарь церковнославянского и русского языка», вышедший в 1847 году. Он был составлен фактически той же Академией Российской, только в 1841 году её присоединили к Императорской Академии наук – в качестве Второго отделения. На этот раз все слова расположили по алфавиту, объяснения стали короче и чётче... В работе над новым словарём участвовали филологи – например, академик А.Х. Востоков, *знаток церковнославянского и русского языка*. Правда и то, что А.С. Шишков, возглавивший Академию в 1813 году и занимавший президентское кресло до самой смерти в 1841 году, имел более чем удивительные *лингвистические* взгляды: например, он считал слова *буйство*, *букашка*, *азбука* родственными – ибо в каждом присутствует буква *у*, которая выражает *чувствование страха или ужаса*. Адмирал Шишков объявил русский язык прародителем всех мировых наречий: «Древо жизни на земле и отец наречий иных»; не делая различия между церковнославянским и собственно русским языком, он провёл в академики некоторых священнослужителей, разделявших его воззрения, – он *набил академию попами*, как съязвил Пушкин. Присутствие *попов*, как ни странно, сегодня помогает исследователю устаревших и малопонятных слов: те, кто работал под началом Шишкова, с

особым рвением относились к сохранению и толкованию таких речений, как *хляби небесные*.

В «Словаре церковнославянского и русского языка» мы быстро находим предмет наших сегодняшних долгих разысканий – с коротким объяснением: *хлябъ* значит *отверстие*. Ему сопутствует, естественно, пример из церковнославянской Библии: *Хляби небесныя отверзошася*. И всё? Как же так... А мы чуть было не приняли окончательно бездну, мы почти смирились с *жидкой грязью*.

Ответы не на все вопросы

Почему богослов Дьяченко переписал в свой словарь определения *преграда*, *оплот* и *бездна*, как будто не ведая об *окнах* из русского перевода 1876 года? Не знаю. Почему лингвисты советских времён остановили свой выбор на *пучине*, *глубине* и что там ещё мы читали, добавив к ним *стремнину* и *жидкую грязь*? Отчасти, как я сказал, потому что *нарушилась связь времён*, новые поколения лингвистов зубрили *марксистское языкознание* усерднее, чем старославянский язык, почти не касаясь *антинаучных* библейских текстов. Судя по приведённым словарным толкованиям, они, скорее всего, вместо библейского слова *хлябъ* объясняют какое-то местное или простонародное словечко, возможно, *хлябу*, упомянутую академиком Шанским, ту *хлябу*, которая, по его мнению, *сконденсировалась* из глагола *хлябать*.

Самый трудный вопрос: где корни той *хляби*, которая в церковнославянской Библии? В своих работах по славистике Франц Миклошич (писавший на немецком) утверждал, что сначала была форма *chlembi* (хлемби), потом *-et-* дало носовой звук *е*, который в слове *хлябъ* передавали не буквой *я*, как сейчас, а *малым юсом*. Миклошич объяснял *хлябъ* с помощью древнегреческого *θύρα* и латинского *fores*. И то, и другое значит *дверь*. Или *ворота*. Есть у него, правда, и толкование *плотина*. Что перекликается с объяснением *преграда*.

Ненужные советы постороннего библеистам

Я намеренно говорил *дыры*, дабы резко опровергнуть вычитанные в словарях толкования, голову нам забывшие. *Отверстия* не так грубо звучат. Но в Библии, согласен, красивее писать об *окнах*. Подразумевая, что это отверстия, проёмы... Любопытно, что используется на месте *хлябей небесных* в переводах Библии на другие славянские языки? Болгары пишут: «Небесные отвори се разкриха»; *отвор* значит *отверстие*, *дыра*. В чешской Библии схожее *otvor* (отверстие). По-сербски: «Отворише се уставе небеске»; существительное *устава* (в единственном числе) – шлюз, затвор. В словацком *nebeské priepusty* существительное *priepusty* значит *затворы*, *выпускные каналы*.

Это современные Библии, в них не обнаруживается ничего, даже отдалённо похожего на *хлябъ*. Кстати, Миклошич, известный своими работами по сравнительной славистике, описывал *хлябъ* только в русском, малороссийском и белорусском употреблении. Возьмём какое-нибудь старинное издание, например, Кралицкую Библию, напечатанную в конце XVI века; в описании Всемирного потопа читаем: «a pŕůduchové

nebeští otevříní jsou». Что-то *небесное отверзлось*. Что именно? Старо-чешскому *průduchové* можно найти соответствие в современном русском языке: строительный термин *прóдух*, это небольшое отверстие в цоколе для вентиляции. В украинском словаре Б. Д. Гринченко приводится *продухвина* с переводом *продушина*.

Мне кажется, что именно это слово можно использовать вместо *хлябей*, когда Библию будут ещё раз переводить на современный русский язык: *продушины небесные*. Вам не кажется, что это лучше *окон* в Синодальном переводе?

Что вы говорите? А, новый перевод уже имеется... Пока я *ковырялся* с отдельными словами, долго разбираясь с трудностями вроде *хлябей небесных*, более работоспособные люди сделали перевод всей Библии – новый, полный, современный! Очень интересно, как они решили вопрос с *хлябями*, – учитывая, конечно, и предыдущие русские переводы, и многочисленные английские... Что же там у них на тверди небесной открывается?

Читаем слова Бога в первой главе: «Да будет нечто, разделяющее воду посередине! И сотворил Бог воздух и разделил воду посередине. Часть вод была над воздухом, а часть – под воздухом. Бог назвал воздух небом». *Твердь* стала *воздухом*? А *нечто*, это... а, это тоже вместо *тверди*. По каким словарям они переводили с древнееврейского или древнегреческого? Или они не переводили, а научно, так сказать, опровергли Библию? Виноват, я отстал от времени: на моей памяти при советском строе учёные мужи яростно опровергали, теперь же они или их коллеги, сидящие в тех же академических учреждениях, находят научные объяснения для библейских чудес, они, так сказать, *примиряют* науку и религию с оглядкой на современные политические, религиозные или какие иные требования... А мы – в политику не вмешиваемся, богословие не трогаем, не оскорбляем ничьих религиозных чувств, у нас чистая грамматика, мы вчитываемся в древний письменный памятник, вникая в смысл отдельных слов и выражений.

Интересно, а история с потопом как в новом изложении выглядит? Зачитываю: «На семнадцатый день второго месяца вскрылись все подземные ручьи. В тот же самый день небеса разверзлись, и на землю обрушились сильнейшие ливни». Вот как? Какие-то стилистические нарушения: если уж *современным* языком взялись излагать, вместо *небеса разверзлись* нужно писать *небо раскрылось*. Но стиль – дело не первое. Для такой работы, как мне представляется, привлекают филологов со знанием древнееврейского и древнегреческого, и, поскольку Библия исследована от А до Я, от альфы до омеги, от Бытия до Апокалипсиса, описана вплоть до букв и даже звуков, предполагается, что новые переводчики прояснят тёмные места и, может быть, сумеют объяснить то, что до сих пор не поддавалось объяснению. Но, как мы видим, наши новые библеисты просто выбросили и *великую бездну*, и *хляби*. Им, может, лучше пособие по природоведению сочинить, с их *ручьями* и *ливнями*? Только его не напечатают. Будет задан вопрос: каким образом у вас *воздух* удерживает над собой *часть вод*, время от времени через себя её выпускающая в виде дождя?

А для чего? В смысле, для чего затеялся и осуществился упрощённый перевод, если это можно назвать переводом, а не отредактированным пересказом? Может, действительно для того, чтобы *примирить религию и науку*? Или они поставили цель увеличить количество ве-

рующих в нашей стране? – приблизить их к Богу с помощью облегчённого перевода, доступного для граждан даже со слабыми мозгами. Но верующие верят не в Библию, а в Бога – в том виде, в котором он понимается в их стране, в их краях, а то и всего лишь в их деревне из нескольких домов.

Тяжкий труд, ставший немудрёным занятием

Жозеф Жюст Скалигер, историк и языковед, как-то выразился пусть с преувеличением, но весьма образно: если кому вынесли суровый приговор в суде, не надо изнурять его каторжными работами, пусть составляет лексиконы: «Lexica contexat» – сей тяжкий труд сродни сразу всем видам наказания.

Технические, а сегодня и электронные приспособления позволяют лепить... извините, творить курсовые и дипломные работы, диссертации, словари, переводы – *оперативно* и без особых умственных усилий. Берём что-то из одного источника, приклеиваем к нему что-нибудь из другого... В книжном магазине я взял с полки из целой батареи *лексиконов* школьный словарь иностранных слов, в коем было написано, что слово *волейбол* пришло из английского, где *volleyball* сложилось из *volley* (полёт) и *ball*, что значит мяч. Когда-то я учился на английской филологии, много всего читал, но с комбинацией *мяча* и *полёта* столкнулся впервые. Значения *полёт* у существительного *volley* нет. В правильности моих долгих рассуждений по поводу *хлябей* читатели могут усомниться, но насчёт волейбола, мне не доверяя, каждый легко проверит, обратившись хоть к карманному, хоть к самому большому английскому словарю.

Откуда составители взяли это значение? Видимо, с потолка. Или притянули за уши, высосали из пальца, домыслили: мяч летает через сетку, значит, в полёте он... Думаю, они не прилагали усилий даже на перечисленные нетрудные действия: брать, тянуть, высасывать, домысливать; они просто списали слово в слово из «Краткого этимологического словаря русского языка»: это пособие для учителей печаталось многократно на протяжении десятилетий издательством «Просвещение», в списке авторов на первом месте известный лингвист Н.М. Шанский. Уже не одно поколение учителей и школьников просвещается, читая: «Заимств. в 20-е годы XX в. из англ. яз., где *volleyball* – сложение: *volley* (полет) и *ball* (мяч)».

У некоторых *просветителей*, лучше сказать *просвещенцев*, не хватает знаний, чтобы объяснить простенькое слово *волейбол*, другие путают *глубину* с *простором*, третьи сваливают в кучу *пучины* со *стремнинами*, мешая *жидкую грязь* с *непогодой*, четвёртые не делают различия между *твердью* и *воздухом*... Стоит ли ждать от них толковых объяснений по поводу *хлябей небесных*?

Вехи памяти

Андрей РУМЯНЦЕВ

Родился в рыбацьем селе Шерашово на Байкале. Окончил Иркутский университет.

Автор многих поэтических и прозаических книг, в том числе биографических повествований о Валентине Распутине и Александре Вампилове, вышедших в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия». Народный поэт Бурятии. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Лауреат нескольких литературных премий.

Живет в Москве.

ИДЁТ СПОР РАЗНЫХ ЛИТЕРАТУР...

К 80-летию со дня рождения Валентина Распутина

Осенью 2000-го года в Иркутске на празднике русской духовности и культуры «Сияние России» побывал ректор Московского Литературного института им. Горького прозаик Сергей Есин. Он встретился с пишущей молодежью и загорелся идеей создать в Иркутске нечто вроде филиала своего вуза – творческие семинары студентов-заочников по прозе и поэзии. Проект для института престижный: «школа» Распутина в его родном городе!

К тому времени у Валентина Григорьевича ухудшилось зрение, да и общее состояние здоровья не радовало. Но он согласился заниматься с молодыми одарёнными земляками. От институтской зарплаты наотрез отказался...

Что касалось набора студентов, то мы не сомневались, что в Иркутске и области найдётся немало способных ребят и девочек. Каждые два с половиной года писательская организация проводила конференцию начинающих авторов. Только в последних трех участвовало несколько десятков молодых прозаиков, поэтов, драматургов.

Оставалась одна проблема: будущие студенты-заочники едва ли смогли бы дважды в год приезжать в Москву на экзаменационные сессии. Чтобы добираться с берегов Ангары до столицы и жить здесь каждый раз в течение месяца – едва ли бы кто-нибудь из ребят нашёл для этого деньги. Без помощи властей проект был обречён.

Во время приёма губернатором Борисом Говориным московских гостей праздника мы, Распутин, Есин и я, председатель писательской организации, обратились к нему за помощью. Борис Александрович, мгновенно ухватив суть, ответил:

– У нас есть программа подготовки кадров для учреждений искусства области. За счёт бюджета мы учим ребят в театральных, художественных, музыкальных вузах. А почему нельзя прибавить к этому списку Литературный институт?

После возвращения в Москву Сергей Николаевич прислал мне письмо, в котором предлагал: «Учитывая сложное состояние здоровья Валентина Григорьевича, я отчетливо понял еще в Иркутске, что этот литинститутский семинар Вам надо вести с ним вместе».

Творческий конкурс в Литинститут всегда был высоким: десятки человек на одно место. Пришлось прочитать множество рукописей, чтобы выбрать достойных абитуриентов. Подготовительная работа, которая шла не только в Иркутске, но и в близлежащих районах и городах. К сентябрю следующего, 2001, года мы набрали группу одаренных ребят – прозаиков. С ними начал заниматься Валентин Григорьевич. А через год появился и семинар молодых поэтов, который выпало вести мне. Я вел все организационные дела и обязательно присутствовал на творческих обсуждениях в семинаре прозы.

Учительский дар Распутина никогда не освещался в печати. А вместе с его художественным даром он приобретает особую привлекательность и ценность. Именно поэтому хочу привести несколько размышлений и советов Валентина Григорьевича своим подопечным (записи сделаны на занятиях).

Обсуждение рассказов «Черепашка» и «Время шло, считала кукушка» Владимира Мешкова и «Белые палаты» Александра Турханова. Все рассказы напечатаны в журнале «Москва» в 2001 году.

Владимир Мешков пояснил, что не очень доволен журнальной публикацией. Дело в том, что первый из них написан давно и теперь кажется ему несколько наивным. Второй – «посвежее», но и этот, написанный на сходную, любовную тему и потому, видимо, напечатанный редакцией «в связке» с первым, уже не удовлетворяет его. Сокурсники Владимира, высказываясь о рассказах, разделили мнение автора.

Валентин Григорьевич начал разговор с того, что такие рассказы о любви пишут обычно авторы юные, неопытные. «Я так и понял, что вы предложили журналу свои ранние, может быть, даже первые рассказы, – сказал Распутин. – Зрелый автор не имеет права писать такие художественно несостоятельные вещи. Особенно о любви».

Он подробно говорил о глубине постижения писателем обыкновенной, будничной жизни. О том, что в любви человеческий характер проявляется, как никогда, обнаженно и полно. Тема эта дает возможность писателю обозначить свою нравственную позицию, высказать много сокровенного.

Студенты во время обсуждения вспоминали рассказы самого Распутина «Рудольфо», «Встреча», «Василий и Василиса», написанные им в молодости, соотносили с ними новеллы Владимира Мешкова. Невольно сравнивали, потому что незадолго перед этим у нас была беседа о распутинских рассказах, и мы, по общему согласию, включили разговор о них в план учебного года.

В следующий раз предметом жаркой дискуссии семинаристов стала повесть Майи Новик «Жена Омеги». Рассказ в ней велся от лица героини, молодой продавщицы в уличном ларьке. Ребята, как и раньше, высказывались откровенно.

Владимир Мешков:

«Повесть любопытна. В ней правдивый взгляд на то, что происходит за металлическими стенками бесчисленных ларьков, загроздивших улицы городов

и сел. Для многих из нас это совершенно неизвестная жизнь. Мы не обращаем внимание, почему около таких магазинчиков снуют бритоголовые парни, почему «комки», как в народе называют ларьки, то разбиваются, то поджигаются. Молодая героиня попадает в продавцы потому, что ей некуда деться, надо зарабатывать на хлеб. А потом работа и среда засасывают её. Случайно избранный путь уже не позволяет прийти к достойной жизни».

Михаил Прокопьев:

«У Майи плотная проза. Она напомнила мне рассказ Астафьева «Людочка». По жесткости письма. Автор логически выверенно ведет повествование, каждый эпизод «смотрится» в общей картине. Конечно, есть огрехи, особенно в языке. Это наша общая неряшливость».

Александр Турханов:

«Когда я читал повесть, я постоянно отмечал стертые, «замыленные» фразы, из которых состоит обыденная речь, то сленговые, засорившие нынешний язык. Какая же это художественная речь? Можно ли таким языком нарисовать человека, картину? Прием – вести повествование от лица героя – очень распространен в литературе. Классики часто пользовались им. Но это не значит, что рассказ должен вестись дремучим языком, быть стилизованным под некий язык «простого» человека».

Как обычно, возможность высказаться получил каждый студент. Распутин выслушал всех внимательно, никого не перебивал. И завершил обсуждение так:

«Разговор требуется серьезный. Майя не первая окунулась в «чернуху». Существует целая литература, десятки авторов представляют её. И читателя уже не надо брать за ухо и вести к такой литературе. Он сам бежит к ней. «Тьма низких истин» оказалась интересней и ближе такому читателю.

Майя ничего не преувеличивает. Есть такая жизнь, которую она в подробностях описывает. Но может ли быть такая литература? Вот вопрос. Спор идет давно. И, кажется, побеждают апологеты «чернухи».

У такой литературы не может быть художественного языка. Здесь кто-то сказал, что это стилизация под язык героини. Нет, это язык автора: «Я не могла узнать о мужчинах в положительном смысле...», «В какой-то момент времени...», «Я, как говорится, не прониклась...», «Отличалась большой стабильностью...», «Ломакин в корне пресек...», «На идею прогулки подтолкнула...». Где же вкус автора?

Я не сомневаюсь, что вы будете писать книги, издаваться. Но какая польза от таких книг? Может быть, писателю нужен «нас возвышающий обман»?

Перо у вас бойкое. Суть ухватывается точно: «со знанием дела» описывается, как парни на пикнике увели в сторону девушку и распяли её. Но надо ли о жизни писать так жестоко и так грязно, как пишут мастера «чернухи»? У вас героиня, намаявшись в жизни, идет к колдунье. Не в церковь, а к колдунье. Она выбирает сатанинский путь. И позже, когда устраивается в газету журналистом, решается написать именно о сатанистах. Нравственных правил, христианской морали нет ни у героини, ни у автора. Сейчас молодежь правильно делает, что выбрасывает книги Сорокина в мусорные контейнеры. Такие авторы, как Сорокин, бросают вызов даже той «сниженной» морали, с которой мы живем теперь. Поймите, литература такого рода страшнее, чем наркотик.

Мы окунулись в грязную яму – и что же, выйдем из неё чистыми? В повести есть строки о том, что героиня ненавидит всех – и богатых, и бедных, и себя в том числе. И в самом деле, беспросветная жизнь под слепым пером в литературе подводит к ненависти. А ненависть не просто дело жестокое, это дело окончательное.

Задумайтесь о серьезности писательского пути. Ничего не изменит учеба, если художественное мышление такое, как у авторов модных чернушных книг. Идет спор разных литератур. К какой литературе вы склоняетесь? Вопрос принципиальный. И ответ должен быть честным».

Ещё одно обсуждение – на этот раз рассказов Вадима Рудакова. Чтобы объяснить особенность их тематики, следует сказать, что автор – выпускник театрального училища, актер. Студентка Светлана Шегебаева, по-моему, наиболее точно оценила его пробы пера:

«Из трех рассказов мне кажутся состоявшимися два: “Солнце в конверте” и “Никодимыч”. Сюжет первого вроде бы простой. Молодой фотохудожник знакомится с опытным мастером. Но их разговоры о свете и тени, их поступки рождают художественную метафору: вся жизнь человека, жизнь его души – это борьба или сосуществование света и тени. Другой рассказ продолжает эту тему. У меня не возникло вопроса, почему старый актер Никодимыч начал “светиться” на сцене. Пусть это художественный вымысел, но он кажется достоверным. Актер впервые получил роль героя, который душевно близок ему, и сила творчества, вдохновение творят чудеса».

Валентин Григорьевич поддержал эту мысль:

«Помните, мы обсуждали повесть о жестокости нынешней жизни. Автор говорил о них жестким тоном. А Вадим поступает по-другому. Они шутят, чем можно спастись. Верит в чудо мальчик из рассказа “Поплавок”, сохраняет веру в силу искусства старый мастер из рассказа “Солнце в конверте”. Найти опоры для пошатнувшейся нравственности – мне такая позиция ближе. И пусть что-то придумано, в художественном произведении это допустимо. Важна чистота. Чистые люди, слава богу, ещё не перевелись, их замечает, о них пишет Вадим».

Всегда особый разговор вел Распутин о языке студенческих работ. Одного молодого автора он убеждал:

– Посмотрите, какие «информационные», холодные, часто случайные слова вы подбираете. А ведь речь идет о человеке мучающемся. Найдите слова теплые, сердечные. Герой – это родной вам человек, вы знаете о нём всё, так и расскажите о своём герое с душевным волнением, с любовью.

В другой раз разговор зашёл о повести студентки. Девушка рассказывала о юной героине, которая узнаёт о своей смертельной болезни и мучительно ищет выход. Денег на лечение у её родителей нет. События в повести происходят на фоне нищеты, в которую погрузилась страна в девяностые годы. Безысходность людей, их бесправность автор описывала по-газетному прямолинейно и сухо. Валентин Григорьевич терпеливо объяснял:

– Вы же не статью пишете, а повесть. Посмотрите на жизнь глазами не провинциального журналиста, привыкшего к языковым штампам, а оглушенной страшным диагнозом, обречённой на гибель сверстницы. Она найдёт слова особенные, пусть наспех обдуманные, горячечные, но зато собственные, незаёмные. Их продиктует сама беда.

Не однажды на занятиях семинара звучало наставление мастера: «Пишите мягким пером. Герой должен говорить естественно, так, как он привык, а автор – живописно, с изюминкой».

Возможно, далее к месту будет привести строки из нашей переписки с С. Есиным. В одном из писем, рассказав о наших занятиях, я добавил:

«Зимой, во время экзаменационной сессии, Валентин Григорьевич, возможно, встретится со своими подопечными в Москве, если обстоятельства позволят сделать это. А во второй половине марта он вернется в Иркутск и продолжит свои занятия с ребятами здесь».

Сергей Николаевич ответил:

«Меня очень порадовало, что Валентин Григорьевич так деятельно помогает нашему общему проекту. Я думаю, это пойдет на пользу и ему, и уж точно пойдет на пользу студентам и литературе.

Если в феврале Валентин Григорьевич сможет встретиться со своими ребятами в Москве – это хорошо. В этом случае мы позовем на встречу и мой семинар, да и весь институт. В моем семинаре он уже был и на всех произвел огромное впечатление».

Однажды Валентин Григорьевич обмолвился:

«...творческий акт есть исхождение из себя, чудесное перевоплощение, песнь души». Это точное замечание многое поясняет и в беседах Распутина с молодыми авторами, и в творческом наследии самого писателя. Почему Анна и Дарья, Мария и Настёна, Пашута и Тамара Ивановна, Иван Петрович и Стас Николаевич нарисованы именно так, как в его повестях и рассказах, почему – такие разные – они согласно и привычно сохраняют в душе особенный свет? Не есть ли их внутренний мир отражение душевного мира создателя повестей и рассказов, населённых этими героями? Конечно, да. Потому-то любимые герои распутинских книг стали притягательными и родными для читателей, что они исторгнуты из жизни благодаря памятливому сердцу автора, призывному звучанию их голосов и согревающему теплу их жизни. Прозаик вправе сказать, что, рисуя их, он безотрывно глядел в свою душу. Без этого «исхождения из себя» характеры его героев были бы очерчены неточно, поступки, переживания, судьбоносные решения переданы искажённо. «Чудесное перевоплощение» в героя может состояться только тогда, когда он окажется близок и любим, когда он воплотит в себе то лучшее, что есть в тебе, и, возможно, то худшее, что ты стремишься изжить...

В последующие два года после начала занятий двух групп мы пополнили их. В итоге в двух семинарах через пять лет учебы дипломы об окончании института получили восемнадцать человек – семь прозаиков и одиннадцать поэтов. Уже через три-четыре года некоторые из них стали членами творческого союза.

* * *

Думается, тут к месту будут ответы прозаика на вопросы, касающиеся самого главного: смысла творческой жизни, исполнения юношеской мечты, радостей или огорчений от созданного. Множество их, таких вопросов, слышал за свою жизнь Валентин Григорьевич – на встречах, литературных семинарах, в редакциях газет, журналов, телевизионных и радиоканалов. Всех бесед на эту тему, конечно, не приведёшь. Но одну запись мы попытаемся воспроизвести. Это ответы писателя на анкету молодежного журнала «Русская сила» (2001 г., № 3), недолго издававшегося в Иркутске и потому не известного широкому читателю:

– Кем вы мечтали стать в молодости? Ваша юность ожидала того, чего Вы добились в жизни?

– Я рос в глухой деревне, где самым уважаемым человеком был учитель. Не председатель колхоза, не председатель сельсовета, а воспитатель ребят-шек. Им и хотелось стать. И, поступив в университет, я выбрал факультет, где готовились по большей части учителя. Проходил практику в школе, летом работал в пионерском лагере. Получалось. На групповой фотографии, кажет-

ся, после третьего курса одна из сокурсниц написала мне: «Ты будешь самым лучшим учителем».

Но с годами сложились другие перспективы. Попробовал стать журналистом – получилось; попробовал стать писателем – тоже, вроде, получилось. Так и ушел от первоначальной мечты.

Юность, конечно, не ожидала того, что из меня получилось. Но это не значит, что получилось лучше, больше и полезней. Ярче – пожалуй, да. Но это не самая приятная жизнь, когда человек на виду. На виду он вынужден делать много лишнего, ненужного.

– Изменилось ли с молодых лет ваше понимание смысла жизни? В чем он, по-вашему?

– Пожалуй, не изменилось, поскольку в юности его и не было, просто жил и всё, как живется, руководимый нравственными правилами, которые приобретены были с детства. Но позднее оно, это понимание, чётче оформилось, стало заглавным правилом.

Я представляю смысл жизни так: при наиболее полном и счастливым раскрытии себя найти то место, тот окоп на передовой, где сопротивление злу будет успешнее всего.

– Если б снова начать, пошли бы вы по жизни тем же путём? От чего вы бы обязательно отказались?

– Если б снова начать... но повторять жизнь всё равно было бы неинтересно. Я бы искал чего-нибудь новенького. Например, должность лесничего. Но чудится мне, что не я делал свою жизнь, с этакой напористой отвагой беря рубеж за рубежом, для этого у меня мало тщеславия и нет железной воли, а был я ведом, да так осторожно, что могло показаться, будто это я выбираю дороги.

Можно, конечно, назвать, от чего бы я отказался («если б снова начать»), исходя из теперешней своей профессии, а если исходить из новой в предлагаемой вами новой жизни, то там сначала надо шишки набить.

Юрий ИЗУМРУДОВ

Родился в 1957 году в деревне Свириповке Горьковской области. Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, филологический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. До поступления в аспирантуру работал в Ярославском речном порту, инструктором райкома КПСС, журналистом. Доцент кафедры русской литературы XX века филологического факультета Нижегородского государственного университета.

Автор-составитель книги «Нижегородский поэт Иван Ермолаев: портрет на фоне эпохи» (Н. Новгород: ООО «БегемотНН», 2017). Живёт в Нижнем Новгороде.

СУДЬБА ИВАНА ЕРМОЛАЕВА,

нижегородского поэта, земляка и знакомца Сергея Есенина, кронштадтского мятежника и соловецкого узника, адресата поздравительной телеграммы Президента России

Нам выпало счастье принадлежать к многочисленному племени почитателей Сергея Есенина, которые с неослабевающим интересом встречают любой, даже самый незначительный, новый факт из творческой биографии его. Не раз приходилось в аудиториях есениноведов рассказывать о нижегородских контактах поэта. Назывались имена, естественно, М. Горького и А. Мариенгофа, а также Г. Шмерельсона, Г. Устинова, И. Рукавишникова, Б. Садовского, Н. Власова-Окского, Б. Гусмана... И нет-нет, да и про себя задавались вопросом: а можно ли пополнить этот список? так ли уж исчерпана тема?

И вот удалось установить еще одного нижегородца, вовлеченного в орбиту творческой судьбы Есенина. Это Иван Алексеевич Ермолаев. Именно общение его с Есениным стало стимулом к учреждению Нижегородского отделения Всероссийского союза поэтов... Символичен для нашего повествования уже и сам факт того, что в Нижнем Новгороде И.А. Ермолаев стал посланцем есенинской Рязанщины. Это ведь и его малая родина тоже. Знаменитое Константиново и деревня Перхурово, где в 1899 году появился на свет Иван Ермолаев, соединила величавая Ока; и как та донесла свои воды до Волги, до Нижнего, так и герой наш сюда же проторил свою земную дорожку.

Есенинское «у меня отец крестьянин, ну а я крестьянский сын» Иван Ермолаев сполна относил и к себе, своей судьбе. Шестым ребенком был он в семье перхуровского кузнеца. Жилось трудно. Скучная земля давала мало хлеба. На двоих-троих одна обувка-одежка.

Пришлось малолетке Ивану идти в услужение к касимовскому купцу Щукину. А затем, в течение двух лет, – работа в кузнице молотобойцем, вместе с отцом; к вечеру молот становился неприподъемным, усталость валила с ног. В студеную погоду, после жаркой кузницы, кожа на руках трескалась, и сострадательная, заботливая мама вечерами заливала трещины сальной свечкой.

В 1910 году Иван заканчивает церковно-приходскую школу, а в начале 1913-го едет попытать счастья в Нижний Новгород, где поступает учеником в парикмахерскую при станции Московско-Казанской железной дороги; по получении необходимых навыков работает здесь же, парикмахером-подмастерьем. Обретает хороших товарищей, в основном из детей железнодорожников. Они учатся в гимназии, и с их помощью в 1916-м Иван экстерном заканчивает нижегородское Владимирское реальное училище.

Как и многие из сверстников, Иван оказался вовлечён в революционное движение, ходил на митинги, а однажды даже участвовал в массовом шествии к резиденции губернатора – арестовывать его, освобождал из тюрьмы активистов польской партии... Заметим однако: революция затронула его окольно, лишь в плане общего пафоса. Гораздо ближе, понятнее Ивану – и это символично в контексте его последующей судьбы – было профсоюзное движение – конкретные, насущные, без лозунгов, дела и заботы. В революцию он был профсоюзным лидером! Председателем Союза парикмахеров, прачек, часовщиков.

Профсоюзная работа, с головой захватившая молодого человека, отвлекает его от занятия поэзией (а писать – и, кстати, печататься – Ермолаев начал, еще будучи «реалистом»), да к тому же в условиях нового бурного послереволюционного времени стихи стали казаться чем-то устаревшим.

Все резко меняется в жизни Ермолаева осенью 1918-го, с поступлением его в только что открывшийся Нижегородский университет (на энциклопедический факультет). Съехавшиеся со всей округи энтузиасты знаний, выходцы из самых разных социальных слоев, сформировали среду единомышленников, пробудившую молодые творческие силы. И Ермолаев со страстью отдается поэзии: перерабатывает свои прежние стихи, сочиняет новые, выступает на литературных вечерах, отстаивает свои эстетические ценности; именно тогда по-настоящему определились его поэтические приоритеты – и среди них, конечно же, творчество прославленного земляка, Сергея Есенина. Показательно, что спустя полвека в своих воспоминаниях о литературном движении в послереволюционном Нижнем одна из его участниц применительно к Ермолаеву первым делом отметит есенинский фактор: влияние на студенческого поэта произведений знаменитого новокрестьянского лирика.

* * *

Прервем, однако, повествование о творческой судьбе И.А. Ермолаева. Уместно дать вначале целостную характеристику литературного Нижнего первых послереволюционных лет, чтобы понять, в каких условиях происходило становление Ермолаева-поэта, что повлияло на него, чему сохранил он верность в течение всей своей долгой жизни и от чего поспешил избавиться – как от иллюзии, заблуждения, греха, – что навсегда оставил в *той* *времени*, когда рушились традиции,

осквернялись святыни, низвергались основы... И здесь нам, по сути, приходится быть первопроходцами, опираться на собственные представления, архивные изыскания, ибо литературная ситуация в Нижнем Новгороде в период конца 1910-х – начала 1920-х гг. в науке нашей изучена весьма и весьма слабо. Рассматривалось лишь, как правило, творчество революционных, рабочих, пролеткультовских писателей. И, само собой, М. Горького, «родоначальника соцреализма», «буревестника»... Не будет преувеличением сказать, что все литературное краеведение едва ли ни свелось к горьковедению. Многие литературные явления, не укладывающиеся в идеологические каноны, противоречащие соцреализму, замалчивались или искажались, – а это ведь, по сути, весь Серебряный век, с его модернистскими, авангардными течениями – символизмом, акмеизмом, футуризмом, имажинизмом, ЛЕФом... К примеру, фактически выброшен был из литературного процесса Борис Садовской. И только теперь приходит понимание, какой это замечательный, необыкновенно талантливый писатель. По значимости из нижегородцев конца XIX – начала XX вв. второй после самого М. Горького – всемирно прославленного М. Горького!

«Вредная поэзия» – этими словами нижегородского исследователя А.И. Елисеева (в статье 1937 г.) вполне передавалось отношение советского литературоведения ко всему Серебряному веку, к поэзии, которая не подчинялась официальным догмам, стремилась быть свободной, искренней... Вредная поэзия – это и о Ермолаеве тоже...

На рубеже 60-х – 70-х годов литературной ситуации первых послереволюционных лет в Нижнем Новгороде была дана уже художественная оценка – в романе Н.И. Кочина «Нижегородский откос». И она выгодным образом отличалась от всех ученых концепций. Роман получился очень интересным, содержательным, он точно передавал особенности и тенденции отображаемой эпохи и не случайно в составе трилогии наряду с романами «Юность», «Гремячая поляна», был удостоен Государственной премии РСФСР им. М. Горького.

Ермолаев был лично знаком с Кочиним. Тот, помимо университета, учился одновременно и в педагогическом институте, участвовал в разного рода литературных баталиях, как вузовских, так и общегородских. В романе его зримо, колоритно, исторически достоверно (хотя и в шаржевой манере порой) представлены нижегородские пролеткультовцы, символисты, футуристы, лефовцы, имажинисты, ничевоки, традиционалисты... Кто-то из них явлен буквально, со своим историческим именем (как, например, Григорий Шмерельсон, соавтор А.И. Ермолаева по студенческому поэтическому сборнику), кто-то угадывается – характерным поступком, строчкой стихов, названием изданной книги, преимущественным направлением своих интересов... Главный герой, Семен Пахарев, – во многом сам Кочин. Ему автор романа передал свою сокровенную любовь к Есенину. Есенинская тема проходит рефреном через весь роман. Отношение к Есенину часто оказывается определяющим в плане характеристики героев книги.

Контекст есенинской темы, многогранный, глубокий, невольно побуждает нас помыслить и о судьбе Ермолаева, также восторженного поклонника Есенина (современники справедливо усмотрят в ранних ермолаевских стихах есенинское влияние), кочинского собрата по студенчеству и активного участника нижегородской литературной жизни, – хотя в романе и нет персонажа, с которым он мог бы ассоциироваться. Читаем, понимаем: да, повествование по преимуществу

захватывает годы, в которые Ермолаева уже не было в Нижнем, но среди действующих лиц – его друзья, знакомые, коллеги, и многое, многое еще в жизни как при нем; и кажется, вот-вот в каком-нибудь литературном диспуте прозвучит и ермолаевский голос – в защиту Есенина, поэта, что *стоит самого Пушкина*, который как сама жизнь («...точно про мою Гремячую поляну написал... и соловьи, и тополя, и птицы, и перелески наши...»), – восторгается Семен Пахарев), без которого бы, собственно, и «Нижегородского откоса» не было бы, и самого Кочина как писателя...

Оба, и Ермолаев, и Кочин, в своей дальнейшей, послестуденческой жизни были безвинно репрессированы: первый – еще при Ленине (одиночка Петроградской тюрьмы и ссылка на Соловках), второй – в последнее сталинское десятилетие (лагеря Сибири и Казахстана).

По возвращении Кочина из ГУЛАГа Ермолаев обратился к нему со стихотворным посланием «Пришла весна». В нем – обобщение трагических судеб и адресата, и автора (а равно и многих-многих других людей, их сограждан по СССР...). Неискоренимая вера – несмотря на все горести и беды, ошибки и падения, разбитые иллюзии – в конечное неизбежное торжество истины, справедливости и добра. И грусть, и печаль от осознания, что не случись «лихолетья», в жизни было б больше свершений и побед... И многого-многого не вернуть... Но все-таки – *пришла весна*. И это главное!

Иван Ермолаев с тех студенческих лет по ряду объективных причин уже не печатался (и вот главное *несвершенное* в его судьбе). Кочину же удалось сохранить связь с читателем, и к трем его романам 20–30-х годов – «Девкам», «Парням», «Юности» – добавились еще четыре, 60–80-х, – «Гремячая поляна», «Семен Пахарев», «Князь Святослав» и уже упоминавшийся нами «Нижегородский откос» – безусловно лучшее произведение писателя.

Последний роман Ермолаев особенно ценил у Н.И. Кочина. И в полшутливом экспромте так выразил свои впечатления от книги:

Кичатся «Девки» небывалым спросом,
Гордятся «Парни» зрелостью своей.
Но молодость «Нижегородского откоса»
Нам, «юным» старцам, ближе и родней *.

Ближе и родней. Потому как там, в молодости этой, было начало всему – и главное, делу всей жизни – творчеству. И о молодости этой Кочин написал ярко, талантливо, убедительно. Впервые в печати было сказано – с должной честностью, полнотой, многогранностью, страстью, любовью, самоотреченностью – о литературной ситуации конца 1910-х – начала 1920-х годов в Нижнем Новгороде.

* * *

В литературной жизни первых послереволюционных лет в Нижнем Новгороде обозначились два организационных центра; представим их как официальный и неофициальный. Первый – в рамках Литературно-художественного кружка студентов учрежденного в 1918 году государственного университета, который потом в определенной мере

* Ермолаев И.А. Избранное: Стихотворения, баллады, пародии, шутки и эпиграммы. 1925–1975 гг. Горький (Н. Новгород), 1985. С. 198. (Машинописный сборник. Архив Ю.Б. Беспалова).

трансформировался в городское отделение Всероссийского союза поэтов. Второй – творческая студия Бориса Садовского в его доме на Тихоновской улице, участники которой, в основном также студенты того же университета, а также педагогического и археологического институтов (о данной организационной дифференциации литературных сил нашими учеными и краеведами практически ничего не написано, да и о самих центрах, особенно о втором, информация скуднейшая). Два этих центра были своего рода сообщающимися сосудами, взаимодействовали друг с другом, хотя в политическом плане были антиподы. Так, университетский кружок, равно как и отделение Союза поэтов, при всем стремлении к свободе самоизъявления, соразмеряли себя с господствующей идеологической линией, в то время как студия Садовского принципиально чуждалась таковой, была, по сути, оппозиционной. Руководитель ее, еще с дореволюционных времен имевший репутацию последовательного монархиста, и при Советах своих убеждений не менял и не скрывал: творческие встречи проводил в комнате, со стен которой смотрели портреты его кумиров – императоров Павла I и Николая I.

Кружок студентов оформился в мае 1919 года. Хотя он и имел общеуниверситетский статус, но организационно был в основном связан с историко-филологическим факультетом, что, в общем-то, закономерно ввиду гуманитарной направленности последнего. Учредили кружок П.И. Даданов (псевдоним – Узник), Г.Б. Шмерельсон, И.А. Ермолаев. Помимо названных, в кружке состояли В.В. Чешихина (псевдоним – В. Иродионова), Т.П. Петрова, Е.К. Моравский, Д.И. Кузнецов, В.И. Никишатова, Т.В. Домашнева и др. Кружковцы знакомили друг друга со своими произведениями, давали критические отклики на них, выступали с докладами на различные литературные и общекультурные темы. Участвовали в работе кружка и авторитетные преподаватели (в основном из приехавших в Нижний из Москвы и Петрограда): талантливый ученый, будущий знаменитый философ, знаток античности А.Ф. Лосев; психолог П.С. Попов, первый биограф М.А. Булгакова; искусствовед, художник, архитектор, декан истфила (до его закрытия в 1921 году) В.А. Волошинов; специалист в области немецкого языка и немецкой литературы В.Г. Иогансон, также некоторое время исполнявший обязанности декана; историк С.Д. Смирнов; выпускники и кандидаты в профессора Петроградского университета, одаренные литературоведы Ю.А. Никольский и В.Л. Комарович (он, по сути, и инициировал создание кружка и всячески его поддерживал). Посещали занятия кружка также служащий университетской канцелярии (он же – и студент университета) известный в городе поэт А.Н. Митрофанов и сотрудник педагогического и художественного техникумов, заведующий Нижегородским народным художественным музеем Л.В. Розенталь...

Читались лекции, устраивались семинары и диспуты. Об отечественной и зарубежной классике и, что особенно интересовало молодежь, – о новейшем искусстве, выдающихся писателях современности. В частности, В.Л. Комарович рассказывал об Анне Ахматовой, и так увлекательно, что В.В. Чешихина именно тогда и на всю жизнь открыла для себя любимую поэтессу; рекомендованный им сборник «Белая стая» она прилежно переписала в свою тетрадь и едва ли не заучила наизусть; ахматовское влияние скажется в ряде ее стихов. Ю.А. Никольский, лично знакомый с Николаем Гумилевым, читал и интер-

претировав его последние стихи. Л.В. Розенталь разбирал творчество Александра Блока, Михаила Кузмина, Владимира Маяковского. Весьма полезным и нужным для студентов было также общение с С.И. Машкинским, автором вышедших в Москве и Нижнем сборников стихов «Мускулы» и «Мятежи» (впоследствии известным советским писателем-романистом), и редактором губернской газеты «Нижегородская коммуна», охотно публиковавшей местных авторов, Б.Е. Гусманом; последний в 1923 году выпустит книгу «Сто поэтов», в которую войдут и очерки о кружковцах Г.Б. Шмерельсоне, А.Н. Митрофанове, А.И. Ильиной (Сеферянц)...

Масштабы деятельности кружка побуждали студентов к расширению сферы своей активности. Им нужны были уже и общегородские аудитории.

И вот главный наш герой Иван Ермолаев, будучи в Москве на Съезде профсоюзов рабочих-парикмахеров, посещает знаменитое кафе «Домино» на Тверской – «штаб-квартиру» Всероссийского союза поэтов, встречается со своим земляком Сергеем Есениным, а также с Н.Н. Захаровым-Мэнским и договаривается с ними об открытии в Нижнем отделения данного Союза*. По возвращении со съезда Ермолаев сообщил об этой инициативе на заседании кружка; она получила одобрение. Была проведена организационная работа, – и 26 июня 1919 года губернская газета объявила, что Нижегородское отделение Всероссийского союза поэтов (НО ВСП) стало реальностью (правда, пока еще только на уровне официального решения). В своих позднейших воспоминаниях Ермолаев отмечал, что НО ВСП фактически выросло из студенческого кружка, а сам он, случалось, даже исполнял обязанности его секретаря.

Интересно, несмотря на лишения, трудности, бытовую неустроенность, складывалась жизнь Ермолаева. Менялся – и весьма существенно – его общественный статус. По зачислении в студенты историко-филологического факультета (после упразднения энциклопедического) Ермолаев был призван на военную службу, в Волжскую флотилию, которая базировалась тогда в Нижнем Новгороде. Кстати, сослуживцем его оказался Ф.С. Богородский, один из нижегородских поклонников Маяковского, инициатор выпуска ставшего известным в столицах футуристического сборника «Без муз»; в 1922 году Ф.С. Богородский выпустит персональную книжку стихов «Даешь!», с послесловиями В. Каменского и В. Хлебникова; последующая его творческая жизнь будет связана с живописью, за успехи в которой он удостоится звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

...Ф.С. Богородский как член политотдела флотилии участвовал в боях в белогвардейцами на Волге, был контужен. Ратные будни предстояли и Ермолаеву, однако руководство флотилии считало нужным использовать студента-словесника в качестве военного журналиста. Его определили секретарем газеты «Известия Волжской военной флотилии» (позже – «Красный Волжский флот»), издаваемой обполитводом (областным политическим отделом водного транспорта). По делам службы, в частности, приходилось общаться с командующим флотилией Ф.Ф. Раскольниковым и женой его, комиссаром Генерального штаба Военно-морского флота Л.М. Рейснер. Представилась возможность посещать занятия в университете, и, что очень важно было для

* Ермолаев И.А. Из воспоминаний. Рукопись. Архив Ю.А. Изумрудова. С. 4.

молодого литератора, сохранились и укрепились связи с НО ВСП. Важно будет отметить, что некоторые из членов Союза поэтов перешли на работу в обполитвод; так, сотоварищ Ермолаева еще по студенческому кружку Шмерельсон стал секретарем литературно-издательского отдела данного учреждения. И, как будет вспоминать потом Ермолаев, на какое-то время деятельность НО ВСП сконцентрируется вокруг обполитвода. На традиционные четверги с чаем (с сахарином) в редакции газеты собирались многие представители городской интеллигенции. А однажды Ф.С. Богородский привел московского поэта В. Каменского, который познакомил нижегородцев со своей поэмой «Сердце народное – Стенька Разин». Посещали газетчиков и такие столичные литераторы, как С. Городецкий и М. Криницкий (Самыгин).

* * *

Деятельность университетского кружка и НО ВСП шла, как уже указывалось нами, по линии официального организационного литературного центра. А что же неофициальный центр (студия Бориса Садовского)? С полной ответственностью скажем (не умаляя заслуг кружковцев и Союза поэтов): последний был гораздо авторитетней, притягательней, профессиональней, хотя и располагал в качестве материальной базы (какая горькая ирония в этих словах!) лишь тесной холодной комнатухой – обиталищем прикованного к инвалидному креслу Садовского. Не было ни редакций, ни газет – ничего не было... И даже просто элементарных физических сил у хозяина комнатухи, чтоб писать ручкой в тетради, не было; полупарализованные пальцы с трудом могли удерживать лишь карандаш, – и выводились едва прочитываемые каракули... И однако ж литературная жизнь ключом была в комнатухе, сочинялись все новые и новые произведения. И послушать их, пообщаться с автором считали за честь и университетские кружковцы, и члены НО ВСП. Здесь они находили главное – то, что не могли им дать ни местные литераторы, ни даже сверхученые профессора: уроки подлинного художественного мастерства – от мастера же, самого знаменитого тогда в Нижнем писателя (которого земляк его А.М. Горький еще с подростковых лет считал выдающимся талантом), в недавнем прошлом полноправного участника общероссийского литературного процесса, колоритнейшей фигуры Серебряного века, автора многих ярких книг – стихов, прозы, публицистики, сотрудника легендарных «Весов», «Аполлона», «Золотого руна», адресата стихотворных посланий Блока, Андрея Белого, Михаила Кузмина, Анны Ахматовой... Из первых рук молодые нижегородцы узнавали о символизме, футуризме, акмеизме, о наиболее интересовавших их поэтах и, конечно же, едва ли не главной их страсти – Александре Блоке.

Из посещавших студию Бориса Садовского некоторых (имеем в виду университетских товарищей Ермолаева) в определенном плане можно считать литературными воспитанниками Садовского. Это, прежде всего, поэт и прозаик Д.И. Кузнецов, автор вышедших в Москве в 1920-е годы сборника стихов «Медальон» и повести «Елизавета», написанной по мотивам брюсовского «Огненного ангела». Садовской считал Кузнецова очень талантливым и искренне переживал за его горестную судьбу: по полученным им сведениям, Кузнецов погиб в 1930-м на Соловках. Осознавал себя в творческом плане связанным с Садовским и Е.К. Моравский, также, несомненно, одаренный литератор. Даже Г.Б. Шме-

рельсон, избравший своими кумирами футуристов и имажинистов, неизменно ощущал рядом с собой как *опору* Бориса Садовского, по мере своих сил пропагандировал его творчество. Во многом разделяли жизненные и художнические принципы Садовского А.Н. Митрофанов и И.Л. Хуртин (последний, правда, не принадлежал ни к студенческому кружку, ни к НО ВСП).

...Посетителями студии Садовского и, во многом, его приверженцами были и университетские профессора, просветители молодых нижегородских поэтов, – В.Л. Комарович и Ю.А. Никольский. Оба с трудной судьбой, подвергались арестам; первый умер от голода в блокадном Ленинграде, а у второго жизнь пресеклась еще в 1922-м, в советской тюрьме... Сохранившиеся в архиве Садовского многочисленные письма к нему Ю.А. Никольского прочитываются сегодня как обладающие большой общественной значимостью документы эпохи. И в них, между прочим, есть интересные строки о соавторе Ермолаева по студенческому сборнику стихов В. Чешихиной, даже стихи, посвященные ей.

О том, были ли какие-либо контакты других, упомянутых нами выше новоприезжих профессоров университета А.Ф. Лосева и П.С. Попова с Садовским, документальных свидетельств нет, однако, через общих знакомых (того же В.Л. Комаровича), они, бесспорно, знали о нем.

* * *

В круг воспитанников Бориса Садовского, испытавших его непосредственное художническое воздействие, главный герой нашего повествования – Иван Ермолаев – не входил; у него был свой маяк – Сергей Есенин (а также и Александр Блок; им Ермолаев серьезно увлекся как раз со студенческих лет), – и тем не менее общение с ним не могло не быть для Ермолаева важным – в общеписательском плане. В своих немногословных воспоминаниях Ермолаев посчитал необходимым написать о посещении молодыми нижегородскими литераторами (и им самим, конечно же) квартиры Садовского, где читались и обсуждались стихи, велись беседы на животрепещущие темы. Садовской являл красноречивый пример писателя, до конца преданного своему делу, призванию, чего бы это ни стоило, верного русским, державным, гражданским заветам. Другого такого авторитета из мира литературы в Нижнем тогда не было, потому и тянулись к нему молодые энтузиасты-сочинители и так важен был для них уже и сам факт, что живут они в одном с ним городе. Среди выявленных нами архивных материалов есть рукопись краткой биографии Садовского, принадлежащая перу неизвестного автора (вполне возможно, кого-то из прошедших школу Садовского). «Ни основной профессией, – читаем мы в ней, – ни побочным занятием литература для Б.А. Садовского быть не могла ввиду глубоко серьезного отношения к ней как к подвигу всей жизни. Вдохновение Б.А. Садовской считал главным и единственным условием художественного творчества».

А ведь это же стало девизом и самого Ивана Ермолаева. После того, как отшумела молодость, он связал свою судьбу с профессией инженера-строителя, но неизменно, с прежней страстью, с подвижничеством писал стихи. Десятилетия и десятилетия... Стихи были главным двигателем его жизни, светом жизни. И уже только поэтому и не стремился Ермолаев печататься, не подстраивался под чьи-то конъюнктурные догмы. Святое хранил в душе. И потому вполне мог считать свою

творческую судьбу счастливой, хотя читатели о нем в течение долгих десятилетий ничего не знали.

Составляя на склоне лет свой итоговый машинописный сборник, Ермолаев включил в него лишь одно (!) стихотворение из написанного и напечатанного в студенческую пору. Это было проявлением строгого суда над собой, беспощадной самокритики... Но, чтобы понять, а как-ково же было *начало поэта*, мы заглянули и за рамки машинописного сборника. И *начало* это, особенно в плане контакта с читателем, было весьма благоприятным: за год с небольшим авторская (совместно с Г.Б. Шмерельсоном и В.В. Чешихиной-Иродионовой) книжка стихов, а также публикации в альманахах университетского кружка «Зарницы» и НО ВСП «Волжская вольница». Дебют молодого поэта заметила критика. Да, обращалось внимание на очевидные, порой весьма серьезные недостатки в его стихах (языковые огрехи, чрезмерная зависимость от Есенина), но – и это, конечно же, главное – и на несомненные задатки, потенциал, «смелость и искания», предрекавшие в дальнейшем творческий рост автора, возможность стать настоящим поэтом. И, забегаая вперед, скажем: это, в целом, подтвердилось. В лучших своих творениях Иван Ермолаев предстал тонким, интересным лириком и приобрел права пусть, может быть, и на скромное, неброское, но свое место в поэзии. И в связи с этим коснемся судеб соавторов Ермолаева по студенческому сборнику «Стихи» – Г.Б. Шмерельсона и В.В. Чешихиной-Иродионовой, тем более что и критика оценивала их вместе. И тут нам придется подводить грустный итог: ни Шмерельсон, ни Чешихина-Иродионова не состоялись как поэты – по разным причинам. Шмерельсону оказалась ближе издательско-просветительская деятельность, а Чешихина-Иродионова ушла в переводчики...

* * *

Казалось бы, после первых печатных успехов 1919–1920-х годов Иван Ермолаев вступал на путь, где его ждали новые и более плодотворные встречи с читателями, новые интересные замыслы и свершения в плане налаживания организационных форм нижегородской литературной жизни... Увы, путь его оказался иным – в ГУЛАГ.

...В конце января 1921 года матрос И.А. Ермолаев, в составе радиоминной школы, сформированной на базе Волжской флотилии, был направлен для продолжения воинской службы в Кронштадт. И, надо ж так случиться, – вновь под начало Ф.Ф. Раскольникову, который с июня 1920 года, исполнял обязанности командующего Балтийским флотом. Однако, как покажут последующие события, связанные со знаменитым Кронштадтским восстанием в марте 1921 года (в которое будет вовлечен и герой нашего повествования), они станут уже противниками, окажутся во враждующих лагерях. И лишь стечение обстоятельств убережет Раскольникову от того, чтобы отдать приказ расстреливать кронштадтцев: незадолго до восстания он будет отстранен от командования флотом. У восстания, отметим, были причины глубокие, общероссийские, но, как небезосновательно считают историки, первоначальным импульсом стал именно раскольниковский фактор: недовольство моряков безответственной политикой в руководстве флотом Раскольниковым, его барскими замашками в отношении сослуживцев. Забегая вперед, заметим, что не принесет пользы Отечеству Раскольников и в руководстве уже в сфере... искусства, в частности, на посту

главного редактора журнала «Красная новь» (после изгнания оттуда действительно талантливого человека, сделавшего журнал одним из лучших периодических изданий 1920-х годов, – А.К. Воронского). Нелучайно М. Горький даст ему хлесткую характеристику: «невежественный и бездарный»*, «болван»**.

По воле судьбы, там, в Кронштадте, Ермолаев окажется по разные стороны баррикады и с еще одним будущим руководителем в делах искусства, но на сей раз человеком с несомненным художественным даром, отчего особая горечь, – Александром Фадеевым. Тот в числе делегатов Десятого съезда партии большевиков штурмовал восставшую крепость, получил тяжелые ранения. Пройдут годы – Фадеев станет талантливым писателем – и, увы, одним из главных идеологов РАПП, нанесшей немалый урон подлинному, свободному искусству. Когда в середине 1920-х, по отбытии наказания за Кронштадт, Ермолаев вернется в родной Нижний, тамошние рапповцы пренебрежительно зачислят его в ряды «попутчиков» и, по сути, не дадут хода в литературе.

В Кронштадте Ермолаев как председатель военно-революционного комитета своего подразделения принимал непосредственное участие в выработке общегарнизонных оргрешений. Когда центральная власть отвергла предложенные ей условия переговоров и бросила на мятежную крепость войска, кронштадтцы стали защищаться (и у них были для этого все возможности). Вскоре, однако, осозналась ими бесперспективность дальнейшего сопротивления: восставшие не хотели напрасных жертв, как у себя, так и у противника, понимали, что сошедшиеся в братоубийственной схватке вчерашние крестьяне и рабочие стали пешками в инспирированной Кремлем грязной политической борьбе. Связались с правительством Финляндии, попросили принять гарнизон. Финны ответили согласием, и большей части восставших удалось уйти на их территорию. Ермолаев был среди тех, кто прикрывал их отход. Из 150 человек его отряда посчастливилось уцелеть и перейти финскую границу лишь ему да еще 11 морякам.

В мае пришло известие об амнистии мятежных кронштадтцев, однако таковая на активистов восстания – в том числе и Ермолаева – не распространялась. Тем не менее герой наш все-таки принял решение вернуться на Родину, ибо не мыслил жизни без нее.

...Увы, ступил Ермолаев на родную землю – и был схвачен чекистами и заключен в Петроградскую тюрьму на Шпалерной. И как тут в связи с этим не поразмышлять о трагической прихоти судьбы – в ту самую как раз печально знаменитую тюрьму на Шпалерной, где менее года тому назад дожидался смерти поэт Николай Гумилев, о котором, казалось бы, совсем недавно, летом 1919-го, Ермолаеву и его товарищам по университетскому литературному кружку рассказывал Ю.А. Никольский; по некоторым косвенным данным мы можем судить, что рассказывал он о новой на тот момент книге Гумилева «Костер», при этом выделяя ряд опорных ключевых стихотворений, в том числе балладу «Рабочий». И теперь вот, с особым символическим смыслом, могли откликнуться в памяти строки из «Рабочего»: «Пуля, им отлитая, отыщет / Грудь мою, она пришла за мной».

* М. Горький и советская печать. Архив А.М. Горького. Т. 10, кн. 2. М.: Наука, 1965. С. 16.

** М. Горький и М.А. Осоргин. Переписка // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 444.

На стене своей камеры, перед рассветом, перед тем, как спокойно, на удивление палачам, принять предуказанную пулю, поэт начертал свой последний автограф: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилев». Надпись эта не стиралась в течение нескольких месяцев.

...Можно только гадать, в какой камере содержался Ермолаев, но достоверно известно: в той, где также был предсмертный автограф: «Здесь сидел в ожидании расстрела член ревкома мятежного Кронштадта матрос с “Севастополя” Перепелкин. 27 / III – 21». Перепелкин был одним из парламентариев, отправленных кронштадтцами для переговоров с руководством противной стороны; их всех арестовали и расстреляли. Лишь чудом избежал подобной участи Ермолаев: он ведь тоже был ревкомовцем, вожак у мятежных моряков.

Включение гумилевского аспекта в контекст наших размышлений о судьбе кронштадтца Ермолаева обусловлено и пониманием того еще, что ведь некоторым образом и Гумилев тоже *кронштадтец*. Есть свидетельства, что он пытался соразмерять план своих возможных действий с событиями на мятежном острове и что, если восстание перекинулось бы на Петроград, принял бы в нем участие... Толки об этом ходили в народе, и вполне возможно (и даже наверняка) Ермолаев о них знал.

Молва связывала с Гумилевым такие вот строки (будто бы написанные им в тюремные дни):

Я не трушу, я спокоен,
Я – поэт, моряк и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным –
Знаю, сгустком крови чёрным
За свободу я плачу.

Сознавая, что Ермолаев никоим образом не может соответствовать масштабу такой исторической фигуры, как Николай Гумилев, полагаем тем не менее: данные строки вполне приложимы и к его характеристике, также *моряка, поэта и воина*, прошедшего скорбной дорогой свободы.

В дни заключения Гумилева в тюрьме на Шпалерной вышел его последний прижизненный сборник «Огненный столп», ставший его итоговой книгой, книгой бесспорных шедевров. Мы не знаем, был ли знаком Ермолаев с этой книгой (думаем, что все-таки у него были возможности прочитать ее – как в Финляндии, так и потом уже, по отбытии наказания за Кронштадт, в Нижнем Новгороде), но у нас есть основания заключить, что его стихи циклов «Соловецкие томления», «Следы на камне», написанных как непосредственные отклики на кронштадтское восстание и связанные с ним последующие события, прочитываются как следование ее главному завету – каким должен быть поэт, что должен говорить читателям, чему должен учить их.

Вышеупомянутые циклы «Соловецкие томления» и «Следы на камне» (при всем несовершенстве некоторых стихов) – весьма выразительны, экспрессивны, ярки. Это – лучшие из ермолаевских произведений (хотя и примыкают они еще, по сути, к первому периоду творчества), лучшие, поскольку их автор прикоснулся к подлинной, большой Трагедии, побудившей его осознать свою нерасторжимую связь со всем народом, чувство ответственности за Россию саму, за Родину, за свет-

лые идеалы добра и справедливости. И именно тогда по-настоящему и открыл в себе Иван Ермолаев поэта. Пришло и истинное понимание художественных ценностей, созданных поэтами, изначально близкими ему, – Сергеем Есениным и Александром Блоком. И вышеназванные циклы, помимо прочего, интересны и примечательны как раз попыткой творческого преломления мотивов их лирики: есенинской – «Радунцы», «Любви хулигана», «Персидских мотивов»; блоковской – «Стихов о Прекрасной Даме», «Стихов о России»...

(Верность Есенину и Блоку Ермолаев пронесет через всю жизнь. Будет сопоставлять их, размышлять о своеобразии каждого. И в одном из интервью, уже 1990-го года, подчеркнет: «Самый мой любимый поэт – Блок: он глубже Есенина, мудрее», – но при этом сделает и многозначительную оговорку: «А Есенин – поэт сердца, он ближе»*. И как тут не заметить, что ведь и сам Есенин именно к Блоку и только к Блоку пришел за признанием! И стал самым близким для русского сердца поэтом!)

* * *

В тюрьме на Шпалерной Ермолаев вместе с другими активистами Кронштадтского восстания провел больше года в ожидании дальнейшей участи. Наконец, ему было предъявлено обвинение, последовал приговор – три года заключения в Соловецком лагере.

На Соловках Ермолаев был за старосту у сотоварищей-кронштадтцев (востребованными оказались его качества профсоюзного лидера). Дважды, с успехом, организовывал голодовки в борьбе за права политзаключенных. За проявленные стойкость, мужество, солидарность и взаимовыручку кронштадтцев зауважал даже начальник лагеря Ф.И. Эйхманс.

Решительность и последовательность кронштадтцев в отстаивании своих прав, чувство собственного достоинства принесли свои плоды: срок пребывания на Соловках сократили им с трех лет до одного года. И с Соловков (в октябре 1924 года) Ермолаев сразу же поехал на родину, на Рязанщину.

На пути был Ленинград. И не задержаться, хотя бы на самое краткое время, в этом столь памятном ему городе Ермолаев не мог. Остановился у Шмерельсона (он еще в 1921-м переехал в город на Неве). О многом переговорили, повспоминали. У Шмерельсона Иван Алексеевич познакомился с гостившими тогда в Ленинграде Шершеневичем и Мариенгофом. Каких-либо подробностей общения со знаменитыми имажинистами Ермолаев в своих воспоминаниях не приводит. За исключением одного, но чрезвычайно важного для нас факта: ожидался приезд Сергея Есенина!

Ермолаеву, конечно же, было очень интересно повидаться с земляком-рязанцем, прославленным поэтом. Но, увы, больше трёх суток находиться в Ленинграде бывший лагерник-кронштадтец не мог: по освобождении с Соловков он получил так называемый «минус шесть», то есть запрет на право проживания в шести крупнейших го-

* Программа Ю. Беспалова и Е. Кузнецовой «Нижегородский адрес-календарь» («Иван Алексеевич Ермолаев. Н. Новгород. Кронштадт. Соловки. Н. Новгород»). Творческое объединение «Телефильм» и Государственный архив Горьковской области. 1990 г. .

родах СССР – помимо Ленинграда, ещё в Москве, Свердловске, Харькове, Киеве и Одессе.

Справедливости ради заметим: встреча в Ленинграде Ермолаева с Есениным тогда не могла состояться ни при каких условиях, даже если б и задержался он на месяц-другой. Есенин в ту пору находился на Кавказе, вернулся оттуда лишь 1 марта следующего года. Но, по всей видимости, какие-то противоречивые слухи о возможном скором его приезде циркулировали в кругу его близких и знакомых. Писал же вот, к примеру, сам Есенин Г.А. Бениславской, которой поручил вести свои литературные дела (письмо от 17 октября 1924 г.): «Приеду сам не знаю когда, вероятно, к морозам и снегу».

Как бы то ни было, жаль, что невозможной оказалась тогда их встреча. Она могла стать немаловажным творческим импульсом для обоих (берём на себя смелость так заявить). Есенин... В 1920-е годы он увлечён разработкой образа бунтаря, протестанта, противника существующей власти – в поэмах «Пугачёв» (опубликована в декабре 1921 г.), «Гуляй-поле» (отрывок под названием «Ленин» опубликован в 1924 г.), «Страна негодяев» (отрывки опубликованы в 1924–1925 гг.; полностью в 1926 г.). И образ этот явно близок самому автору – соотносённостью с природной, крестьянской стихией, его колыбелью как человека и поэта.

Жизненная история бывшего кронштадтца, соловецкого узника, земляка-рязанца, не исключено, оказалась бы созвучной с вышеотмеченным есенинским образом и чем-то дополнила бы его... Находят же вот в «Пугачеве» отклик на масштабное крестьянское восстание на Тамбовщине под предводительством А.С. Антонова в 1920–1922 гг., вызванное, кстати, теми же глобальными причинами, что и Кронштадтское...

Ну а что касается Ермолаева – так, по сути, после всех мытарств, он *возвращался на Родину* – позволим себе такое сравнение – как лирический герой есенинских книг «Русь советская», «Страна советская»:

...В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму –
Куда несёт нас рок событий

– да, впрочем, и как сам Есенин: «Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому, в нас скрывался какой-нибудь ноябрь».

* * *

После недолгого гостевания в Перхурове, после Соловков, Ермолаев вернулся в Нижний, город своей университетской юности. Главные интересы его, интересы поэта, позвали за собой, побудили найти себя в новой литературной реальности, наладить контакт с читателями, обрести единомышленников. Литературная жизнь Нижнего во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг., как и в первые советские годы, дифференцировалась на официальную и неофициальную, вот только тенденции тут были уже иные, в силу все более ожесточавшегося идеологического диктата. На официальном поле на лидирующие позиции вышла НАПП, местная ячейка РАПП. НАПП с упорством, достойным лучшего применения, стремилась реализовать на практике бредовые установки головного центра по перелицовке всей современной литературы на пролетарский лад (кто не соответствовал этой «одежке», по

сути подлежал ликвидации)... Соратником напповцев не мог и не захотел стать «попутчик» Иван Ермолаев. Что такое политическая целесообразность, он хорошо понял еще в Кронштадте. Равняться на их эстетические «образцы» – и представить не мог. Откроем, к примеру, четвертый за 1931 год номер журнала «Натиск», печатного органа напповцев, вышедший под шапкой «К годовщине исторического решения: Постановление третьего пленума НАПП об итогах призыва ударников в литературу» (постановление это ориентировало на «повышение идейности и художественности произведений»), – и, стало быть, «натисковцы» стремились показать на деле, какой должна быть настоящая литературная продукция «ударников». Все стихотворные подборки здесь – антипоэзия, мертвая агитка, идеологизированная тарабарщина.

Вышеприведенная характеристика «стихотворчества» рапповцев в «Натиске» сполна приложима и к их специальным коллективным сборникам «Ударные темы» (1930), «В боях за Сормово» (1931). На сто с лишним страниц здесь ни одного (!) достойного стихотворения – хотя во вступительных статьях к сборникам громогласно заявлялось, что произведения их обладают качествами, присущими по-настоящему «свободной литературе», в них «огромная напряженность поэтической мысли».

Свое отношение к рапповцам Ермолаев выразил в горько-ироничных строках, взятых им в качестве эпиграфа к циклу послесоловецких стихов:

Я говорю «спасибо» НАППу
За то, что без учтивых слов
Он наложил стальную лапу
На кружево моих стихов*.

«Спасибо» – за то, что встреча с рапповцами дала понимание, что жизнь много сложнее, глубже, трагичнее, мудрее, чем представлялось им. «Спасибо» – за то, что отстоял право писать по-своему, не как они...

А теперь о том, как – на неофициальном уровне – проявлялась нижегородская литературная жизнь в послесоловецкие годы Ивана Ермолаева. Своеобразным организационным центром здесь, о чем мы можем судить на основании рассекреченных недавно архивных материалов, было творческое сообщество, оформившееся со временем в так называемый «Орден Рыцарей Духа» – филиал нелегального московского анархо-мистического «Ордена тамплиеров». В «Орден Рыцарей Духа» вошли по преимуществу студенты (настоящие и бывшие) Нижегородского университета (участвовали в нем также некоторые их знакомые и друзья).

Итак, снова неофициальная студенческая организация. Это побуждает нас вспомнить студию Бориса Садовского. Мы можем даже говорить, что некоторым образом «Орден Рыцарей Духа» и принял эстафету от нее. Да, и время другое, и цели другие, и руководители другие, но авторитет Садовского для нового поколения нижегородских студентов по-прежнему весом. Творческое наследие Садовского, притягательность и обаяние его личности учитывались при планировании работы «Ордена Рыцарей Духа».

* Ермолаев И.А. Избранное: Стихотворения, баллады, пародии, шутки и эпиграммы. 1925 – 1975 гг. Горький (Н. Новгород), 1985. С. 198. (Машинописный сборник. Архив Ю.Б. Беспалова).

Косвенным образом с орденом были связаны и некоторые из университетских знакомцев Ермолаева докронштадтской поры, – В.Л. Комарович, Е.К. Моравский, Т.В. Домашнева, Д.И. Кузнецов.

В 1930 году органами ОГПУ–НКВД «Орден Рыцарей Духа» был разгромлен. Все двенадцать активистов – костяк группы – отправились в концлагеря и ссылки, многие погибли там...

Для нас бесспорно – «Орден Рыцарей Духа» как составом участников, так и направленностью идей мог быть близок и интересен главному герою нашего повествования, однако, по стечению обстоятельств, пути их не пересеклись. И хорошо, что так вышло. Бог миловал, – невольно приходят сейчас на ум эти слова. Ведь, в противном случае, участь кронштадтского мятежника была бы незавидной.

Итак, *не с рапповцами* – такой оказалась выстрадавшая, глубоко личная бескомпромиссная позиция Ермолаева. А от общения с «Орденом Рыцарей Духа» его уберегла судьба...

Какое-то время Ермолаев посещает занятия литературного кружка при Клубе советслужаших. Но перспектив в деле повышения творческого мастерства это не давало (кружок был весьма заурядный). Попробовал было реанимировать НО ВСП, списался по этому поводу с известными московскими поэтами Марком Тарловским и Олегом Леонидовым, заручился их поддержкой, но, как сам потом будет вспоминать, «затея оказалась нежизненной»*, – ведь при главенстве РАПП с ее курсом на классовую дифференциацию литературы Союз поэтов, многогранный, многоаспектный, полифоничный, ставящий во главу угла самое Искусство, был обречен...

Чтоб быть нужным людям как поэт, примкнул к движению самодеятельного искусства «Синяя блуза», чье отделение функционировало при Клубе завода им. В. Ульянова; выступал со скетчами и фельетонами. Но и это было лишь эпизодом. А потом... потом ушел в себя. Писал в стол, принципиально; писал, что было интересно ему, что подсказывало сердце.

...Внесла свои коррективы и жизнь – большая, реальная, конкретная. Захотелось стать похожим на персонажей своих стихов о том, как созидалась новая могучая держава СССР. В 1930-м Ермолаев окончил техникум, избрав профессию строителя. Прошел путь от прораба до крупного руководителя.

По профилю своей работы Ермолаев встречался со многими известными и интересными людьми. В частности, с секретарем Нижегородского губернского комитета РКП(б) А.А. Ждановым (будущим печально знаменитым докладчиком по Постановлению оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»), наркомом пищевой промышленности СССР А.И. Микояном; сохранил о них добрую память как об умных, высококвалифицированных и совестливых руководителях.

Как все в жизни, прочно и надежно, создавал свой быт. Собственными руками в свободное от основных профессиональных обязанностей время построил кооперативную квартиру. Главной опорой его, утешительницей, ангелом-хранителем была верная и преданная жена. С ней Ермолаев в счастливом супружестве прожил 62 года. К великой горести его, не оставил наследников: единственный сын, совсем молодой, неженатый, погиб в Великую Отечественную...

* Ермолаев И.А. Из воспоминаний. Рукопись. Архив Ю.А. Изумрудова. С. 2.

С 1962-го Ермолаев на пенсии. Пишет, как и прежде, стихи. Много читает, увлеченно пополняет свою замечательную библиотеку. Сторонится шумной жизни, какой-либо публичности. Переваливает за девятый десяток...

И вдруг – имя его звучит на всю страну.

К читателям необъятного Советского Союза приходит миллионный тираж столичного журнала «Дружба народов» с мемуарами и стихами Ивана Ермолаева...

Президент России Б.Н. Ельцин подписывает указ о политической реабилитации кронштадтцев; а так как выясняется, что из всех участников мятежа на этот момент жив только И.А. Ермолаев, то он один и представляет за всех... 17 января 1994 года Б.Н. Ельцин лично поздравляет И.А. Ермолаева с 95-летним юбилеем, адресует ему слова уважения и признательности: «Восхищен Вашей стойкостью и способностью преодолевать самые страшные испытания, сохраняя оптимизм и творческую энергию»*.

В газетах появляются интервью Ермолаева, на телевидении – фильмы о нем. Издательство «Курьер» включает в своей перспективный план выпуск сборника его стихов...

Увы, по ряду объективных причин, издание сборника не состоялось.

Прошедшие с тех пор 20 лет (до неузнаваемости изменившие саму Россию, ее приоритеты и систему ценностей), показали, что, как бы то ни было, Иван Ермолаев не забыт, интересен и нужен нижегородцам.

* Ельцин Б.Н. Поздравительная телеграмма И.А. Ермолаеву. 1994. Архив Ю.Б. Беспалова. С. 1.

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

Родился в 1937 году в городе Николаеве УССР. После эвакуации с 1941 года живет в Нижнем Новгороде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского.

Работал редактором общественно-политических и информационных программ Горьковской студии телевидения, собкором Гостелерадио СССР, ГТРК «Останкино», телекомпании ОРТ в Нижегородской области, представителем издательства «Воскресение», ведущим и старшим редактором Нижегородской государственной телерадиокомпании НТР.

Прозаик, поэт, публицист. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Член Союза писателей России.

ИВАН ЕРМОЛАЕВ: ЭТО БЫЛ НЕ МЯТЕЖ, А ПРОТЕСТ ОБИЖЕННОГО НАРОДА

10 января 1994 года президент России Борис Ельцин подписал Указ, по которому все участники кронштадтских событий в марте 1921 года подлежали реабилитации, а репрессии против них признавались незаконными. Прошло 73 года, и оказалось, что Указ этот непосредственно касается только одного человека. Реабилитации подлежал нижегородец Иван Алексеевич Ермолаев. Больше никого, кто числился в «мятежниках», в живых уже не было. Правда, говорили, что Указ с удивлением воспринял один из старейших жителей Латвии, бывший латышский стрелок, который участвовал в вооруженной атаке на Кронштадт и всю жизнь гордился этим.

Через неделю после Указа – 17 января – Ивану Алексеевичу исполнилось 95 лет. В который раз уже подтвердилась истина, высказанная когда-то Корнеем Ивановичем Чуковским – «В России надо жить долго!»

В этот день Ермолаеву принесли поздравительную телеграмму от президента России...

С Иваном Алексеевичем меня познакомил мой друг, поэт и журналист Аркадий Барахович, он уже давно знал его, писал о нем в газетах. И позвонил за неделю до дня рождения Ермолаева: «Покажи его по телевидению “Останкино”!» Я созвонился с главным редактором Олегом Константиновичем Точилиным и предложил рассказать об этом уникальном старике в ближайшей программе «Воскресенье», которую вел Сергей Алексеев. И получил согласие на подготовку этого сюжета.

Жил Иван Алексеевич один на втором этаже в старом деревянном доме на переплетении Ямских улиц. Стариковская квартира вся была в книжных шкафах и полках. Для своих 95 лет он был весьма подвижен,

хотя ходил по дому, опираясь на палку. Но при этом без особых усилий и кряхтения поднимался на стремянке под потолок за какой-то давней папкой. Память была ясной, а речь четкой и убедительной.

Указ президента о реабилитации участников событий в Кронштадте он воспринимал как свою победу над неправдой, потому что много лет вел переписку с архивами, с редакциями газет, с Комитетом по реабилитации политических заключенных, который возглавлял академик Александр Николаевич Яковлев. По словам Ермолаева из того нашего с ним интервью, «Яковлев достойно разобрался в том, что действительно произошло в Кронштадте, и по сути подготовил Указ президента, благодаря которому с нас снято пятно мятежников».

Справедливо говорится, что от добрых вестей люди молодеют. Я смотрел на этого радостного старика, разом сбросившего с себя тяжелую ношу неправды, которую нес на себе всю долгую жизнь, и думал, что больше семи десятилетий в нашу государственную историю был вписан миф о мятеже, которого не было. Тем не менее, расстреливали Кронштадт по-настоящему, так же, как потом расстреливали врагов народа, которые, как оказалось, врагами не были. Кстати, многие из этих людей, объявленных врагами, в марте 1921 года шли по кронштадтскому льду на штурм крепости, уверенные в том, что за ее стенами окопались враги Советской власти...

— Это был не мятеж, а это был протест обиженного народа! — говорил на камеру Иван Алексеевич. — Мы пытались защитить отцов своих, которые были истерзаны продразверсткой в деревнях России. Все началось 1 марта 1921 года во время митинга, когда моряки — в большинстве своем крестьянские дети, вернувшиеся после отпусков из сел и деревень на флот, — потребовали от приехавшего к нам Калинина немедленно отменить продразверстку, расформировать продотряды, ввести продналог и разрешить крестьянам свободно торговать. А он вместо того, чтобы сказать нам, что такие решения вот-вот будут приняты на X съезде партии, испугался и счел нас мятежниками против Советской власти и такими обрисовал нас в Москве, которая двинула против нас войска...

В 1918 году Иван Ермолаев был студентом энциклопедического факультета только что созданного по декрету В.И. Ленина Нижегородского государственного университета, учился на историко-филологическом отделении, когда его призвали на службу в Волжскую военную флотилию.

Ермолаеву довелось общаться и вблизи наблюдать командующего Волжской военной флотилией Федора Раскольниковца и его жену, комиссара Ларису Рейснер. Оба были простыми и доступными людьми, никакая заносчивости и фанаберии. По флотскому званию Федор Федорович был всего лишь мичманом, но был назначен командующим Балтийским флотом. Это было в 1921 году. К тому времени Волжская военная флотилия была расформирована, а на ее базе была образована радиоминная школа. В январе 1921 года школа со всем своим личным составом перебазировалась в Кронштадт и влилась в учебно-минный отряд Балтфлота. Именно поэтому Ермолаев получил назначение в Кронштадт. Перед переездом с Волги на Балтику матросам флотилии предоставили отпуска. Иван Алексеевич поехал в родню деревню.

— Вы не представляете, что я увидел, — голод, разруха. Продотряды просто бесчинствовали, обирали до нитки и, не скупясь, раздава-

ли квитанции на отобранную у крестьян продукцию. Все отцовское хозяйство было разрушено. В семье шесть человек, а есть им нечего, все, что вырастят на своих четырех десятинах, все у них отбирают. Я возмутился. Разве я за это воевал? Разве это Советская власть обещала народу? Пошел в комбед, а там пьянь и рвань: шесть бородачей сидят у ведра с самогоном. О чем я мог с ними говорить? Вот в таком настроении я приехал в Кронштадт. Оказалось, не один я был потрясен увиденным в деревне. А все вернувшиеся после отпусков. Открыто говорили, что из-за продразверстки гибнет деревня, гибнет крестьянство, а какая рабоче-крестьянская власть без крестьян? А что за Россия без крестьян? Между прочим, я еще в 1918 году в ответ на вопрос анкеты, поддерживаю ли я аграрную политику партии и Советской власти, ответил – не поддерживаю. Потому что считал, что землю надо было не национализировать, а сразу отдать в собственность тому, кто на ней работал, кто ее обрабатывал, тому, кто, как мой отец, 49 лет за нее платил и, по сути, давно выкупил. А Ленин только хорошие слова говорил про союз с середняком, а сам опирался на деревенских люмпенов. Они очень подходили для его революционной теории, им действительно нечего было терять, но и защищать было нечего. Поверьте, я не был ни эсером, ни анархистом, был за большевиков. Даже в 1918 году сам создал коммунистическую ячейку из 15 добровольцев. А когда настало время юридически оформить членство в партии, то 14 человек из 15 приняли, а одного нет. И этим одним оказался я. Мне припомнили мой ответ на анкету.

27 февраля встретились экипажи двух кораблей – «Петропавловска» и «Севастополя». Мы разработали обращение к правительству – резолюцию из 13 пунктов. Никаких угроз в тексте не было. Мы просили у власти дать народу то, что она сама обещала, когда вела народ в революцию. Поставили на голосование. И большинство коммунистов Кронштадта эту резолюцию поддержали.

В последний день февраля 1921 года в Кронштадт приехал председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин. На 1 марта назначили митинг.

В 10 часов утра митинг в манеже открыл комиссар флота Кузьмин и предоставил слово Михаилу Ивановичу. Его встретили овацией. Все ждали, что он скажет, какое послабление крестьянам собирается сделать власть. Калинин решил нам, матросам, польстить. Мол, в революцию матросы шли первыми и на ее защиту первыми вставали. А из толпы голоса: «Хватит нас хвалить! Лучше скажите, когда наших отцов от продразверстки освободите! Когда снимете продотряды!» Калинин сказал, что он удивляется, что об этом спрашивают верные стражи революции – балтийские моряки. Эти вопросы сейчас неуместны. Подобные требования могут выставлять только враги революции. Оценив обстановку, Калинин, Кузьмин и председатель горсовета Васильев предложили провести два митинга – один среди моряков, другой – среди красноармейцев, мотивируя это тем, что в манеже тесно и не хватает мест для всех желающих. Мы поняли, что нас хотят перехитрить, разобщить и всем манежем высказались против двух митингов. Возникло предложение перенести митинг на Якорную площадь, где всем места хватит. Все потянулись к выходу. На Якорной площади народу было очень много – тысяч пятнадцать, не меньше.

Когда Калинин появился на трибуне, его здесь тоже встретили бурными аплодисментами. А когда он снова взялся за свое и снова стал

хвалить моряков за участие в революции и за понимание, с какими трудностями столкнулась сейчас Советская власть, снова раздались возгласы: «Кончай нас хвалить! Скажи, когда отменят продразверстку и перестанут душить мужика в деревне!» Калинин же снова попытался оправдать политику Советской власти в деревне. И тогда на трибуну поднялся немолодой высокий и широкий в плечах матрос и крикнул: «Хватит хвалебной болтовни! Мы требуем: долой продразверстку, долой продотряды, даешь свободную торговлю!» И тут из его уст прозвучало и политическое требование: «Даешь свободные выборы в Советы!»

Калинин стал упрекать участников митинга и прежде всего моряков в том, что они затевают опасную интригу против Советской власти и ведут себя как азартные игроки, ставя на карту достижения Октябрьской революции.

Нами была предложена резолюция митинга из 13 пунктов. Когда ее поставили на голосование, то за нее подняла руки вся площадь. Только три человека проголосовали против: Калинин, Кузьмин и Васильев. Председатель ВЦИКа из Кронштадта уехал, а Кузьмин и Васильев остались и заявили в газете о своем отрицательном отношении к поведению гарнизона.

Не знаю, что там, в Москве, наговорил про нас испуганный Михаил Иванович, хотя догадываюсь, кем он там нас представил. Ведь прежде всего ему нужно было себя оборонить. Его же послали разобраться, как говорится, снять напряжение, а он с этим делом не справился. Какие же мы на самом деле отпетые сволочи, если сам Калинин не смог нас ни в чем убедить! Выходит, с матросами из Кронштадта не о чем разговаривать, их надо просто уничтожить как изменивших революции!

Иван Алексеевич говорил горячо, убежденно. Лицо покраснело. Он всю жизнь отстаивал правое дело тех, кого называли мятежниками. И сейчас, когда с ним никто не спорил, он продолжал дискуссии, искал и находил новые доводы, которые раньше не успел привести:

– 3 марта «Известия» сообщили, что в Кронштадте начался белогвардейский мятеж под руководством царского генерала Козловского и эсера Петриченко, что организаторы мятежа через финнов вышли на связь с англичанами. И те готовы высадить в Кронштадте десант. «Известия» приводили такие данные – мятежников 10 тысяч, у них на вооружении 135 орудий и 68 пулеметов.

4 марта стало известно, что на линкорах «Севастополь» и «Петропавловск» создан революционный комитет, который возглавил матрос с «Петропавловска» Петриченко, который, кстати, никогда эсером не был. Он предложил создать ревкомы во всех частях гарнизона и взять власть в свои руки. Меня тоже избрали в ревком.

5 марта на линкоре «Петропавловск» собрались представители всех частей гарнизона. «Братва, – обратился к нам Петриченко, – все вы прочитали, наверное, в “Известиях” за 3 марта, что наши требования расценены как контрреволюционный белогвардейский мятеж, значит, информация Михаила Ивановича Калинина в Москве была неверной. Стоило нам предъявить Советской власти свои требования, как нас тут же сочли врагами революции и назвали белогвардейцами, а меня причислили к эсерам, хотя я с ними никогда не был. Мы хотим только одного – снять ярмо продразверстки с наших отцов и братьев в деревне, мы за Советскую власть были, есть и будем, но хотим, чтобы при ней народу жилось лучше, чем сейчас! Но поскольку нас читают мятежни-

ками, надо решить, что делать дальше».

После короткого обмена мнениями было решено разрешить конфликт мирным путем и направить на материк для переговоров делегацию от гарнизона. Возглавить ее поручили матросу с линкора «Севастополь» Вершинину.

6 марта утром делегация из четырех человек отправилась на встречу, которая должна была состояться на льду Финского залива между Кронштадтом и Ораниенбаумом (сейчас это город Ломоносов). Но вместо переговоров наших делегатов арестовали, до Москвы добраться им не дали. И, не вникая в суть требований, которые они несли с собой, расстреляли.

— Никакого царского генерала Козловского у нас не было! Ни одного белогвардейца не было! — убеждал меня Ермолаев. — Ни один из офицеров не участвовал в так называемом мятеже. На кораблях и в воинских частях решением военно-революционных комитетов командиры отстранялись от руководства, и командование переходило к избранным революционным тройкам.

Когда отстраняли от командования комиссара отряда Смирнова, он сказал, обращаясь ко мне: «Товарищ Ермолаев, поймите — ваши требования вполне законны, и мы не боимся вас, но мы боимся врагов революции, которые могут выплыть из-за ваших спин». А комиссар по строевой подготовке Кудряшов мне прямо заявил: «Товарищ Ермолаев, я никуда не пойду. Я вместе с братвой воевал на Волге и останусь с нею до конца».

6 марта над Кронштадтом стал летать самолет и разбрасывать листовки за подписью Троцкого. Он призывал нас капитулировать, иначе перестреляет всех, как куропаток. Мы это прочитали, и это нас всех оскорбило. Мы ведь не воевали с Советской властью и против нее никаких требований не выдвигали. После этих угроз люди со зла и обиды стали выходить из партии. Очень многие вышли. Потом мы узнали, что по указанию Троцкого в Кронштадт перестали доставлять продовольствие. Нас решили сломить голодом.

Мы снова провели общегородской митинг. И решили отправить для переговоров с властью еще одну группу наших делегатов. Но в Питере их снова сразу же арестовали и, не выслушав, расстреляли. Расстреляли летчиков из авиадивизиона, которые нам сочувствовали. И лишь тогда мы окончательно поняли, что с нами хотят по-настоящему воевать. И мы были вынуждены взяться за оружие. Первую попытку штурма против нас предприняли 7 марта. По льду пошли цепи курсантов. Мальчишки... Зачем их безжалостно втянули в эту провокацию?.. Ведь как это было — за курсантами стояли пулеметы, чтобы не вздумали отступать... Атаку курсантов мы отбили.

Тогда начался непрерывный обстрел. По крепости били с Лисьего Носа, с Красной Горки, со стороны Ижор, с Ораниенбаума. Кронштадт отвечал только редкими выстрелами с линкора «Севастополь». И делали это для острастки, хотя огонь корабельных орудий достал бы до самого Питера и уничтожил бы те форты, с которых по нам стреляли.

8 марта была предпринята еще одна попытка штурма, но была нами легко отбита. На усилившийся обстрел мы реагировали без ожесточения, не хотели обострений, а ждали, что скажет Ленин на X съезде партии, который должен был начать работу в эти дни.

8 марта Ленин в политическом докладе X съезду партии сказал: «Я не имею последних новостей из Кронштадта, но не сомневаюсь,

что это восстание, быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы... Но нам необходимо взвесить обстоятельно политические и экономические уроки этого события». И дальше, когда речь зашла о лозунге свободной торговли, вождь отметил: «Потому он и будет получать распространение, что он отвечает экономическим условиям существования мелкого производителя. Исходя из этого рода соображений, ЦК и принял решение и открыл дискуссию по вопросу о замене разверстки налогом, а сегодня прямо поставил этот вопрос на съезде, что вы и одобрили сегодняшним вашим решением».

Слова Ленина стали известны в Кронштадте через два дня – 10 марта. Решения X съезда партии об отмене продразверстки и замене ее продналогом, о допущении свободной торговли, об отмене продотрядов быстро облетели все части гарнизона и заметно изменили настроение.

Иван Алексеевич Ермолаев вспоминал, что 10 марта ревком созвал совещание революционных троек всех частей гарнизона для обсуждения создавшегося положения, когда основные наши требования были удовлетворены. Поэтому было решено послать вторую делегацию для переговоров о мирном разрешении конфликта во главе с членом ревкома матросом с линкора «Севастополь» Перепелкиным. Но ее постигла та же участь: не выслушав, Перепелкина и его парламентариев расстреляли.

К Кронштадту перебросили войска 7-й армии Михаила Тухачевского. А в это время и на Западе не дремали. Мы, правда, об этом узнали уже много позже, да и с матросами по этому поводу западные эмиссары не советовались. С их помощью активизировались все противники Советской власти – от Керенского до Врангеля. Из Финляндии стало поступать в Кронштадт продовольствие. Это выдавалось за гуманитарную помощь. А Троцкий увидел в этом повод для развития мировой революции, мол, ответная реакция на западное вмешательство должна заключаться в выдвижении армии Тухачевского через Финляндию в Западную Европу. К счастью, до этого не дошло!

Но все это убеждало нас в одном – с нами решили расправиться жестоко, применяя вооруженные силы. Мы не могли пойти на такое братоубийство. И решили не оказывать серьезного сопротивления, а уйти на финскую территорию. Ревком договорился об этом с правительством Финляндии.

17 марта ранним утром с ураганного огня начался штурм Кронштадта. Специально для этого прибыли из Москвы и делегаты X съезда РКП(б), который как раз и приняли те самые решения, о которых говорилось в резолюции кронштадтцев. Но власти нужно было утвердить себя, подавив инакомыслящих. Уничтожить их, чтобы другим повадно не было.

По кронштадтскому льду шли в атаку на крепость полководцы Гражданской войны Ворошилов, Тухачевский, Фабрициус, Федько, видный партийный и советский деятель Бубнов, начинающий писатель Фадеев...

– Это было самое трагическое время! – говорил Иван Алексеевич, и голос его зазвучал надтреснуто, а глаза повлажнели, и он вытер их носовым платком. – Атакующих встречали только отряды прикрытия. Основная масса кронштадтских матросов, которых сама власть превратила в повстанцев, накануне по льду ушла в Финляндию. В нашем отряде прикрытия утром было 150 человек, к вечеру нас осталось в жи-

вых 12. И мы тоже ушли в Финляндию во главе с начальником бывшего учебно-минного отряда добровольно вышедшим из партии Иваном Александровичем Шадриним. Те, кто не успел уйти, сдались...

Мы уже много позже узнали, что выступая с докладом «О замене разверстки натуральным налогом», 15 марта Ленин сказал: «Сколько-нибудь сознательный крестьянин не может не понять, что мы как правительство представляем рабочий класс и тех трудящихся, с которыми могут согласиться трудящиеся крестьяне (а их девять десятых), что всякий поворот назад означает возвращение к старому царскому правительству. Это показывает кронштадтский опыт. Там не хотят белогвардейцев, не хотят нашей власти, – а другой власти нет, – и находятся в таком положении, которое является лучшей агитацией за нас и против всякого нового правительства».

Ленин еще раз вернулся к теме мятежного Кронштадта в конце марта – начале апреля 1921 года в брошюре «О продовольственном налоге». Правда, очень коротко, но точно: «Экономика весны 1921 года превратилась в политику: “Кронштадт”».

В октябре 1922 года ВЦИК принял решение об амнистии в отношении всех рядовых участников кронштадтских событий. Всем бежавшим за границу было разрешено возвратиться на родину. В Финляндии нас было 30 тысяч, и мы были там интернированы в лагере на острове Туркинсаари. Об амнистии мы узнали от советского посла Чернышева. И в июне–июле 1923 года 80 процентов кронштадцев вернулись на Родину.

Ермолаев вернулся в числе первых.

– И что вы думаете, встретили нас чекисты и сразу отправили к себе на Гороховую, а оттуда в тюрьму на Шпалерную. Нам сообщили, что на членов революционных троек кораблей, фортов и отдельных частей гарнизона амнистия не распространялась. В числе 19 моряков был и я. И ни следствия, ни суда! И так больше года! Мы объявили голодовку, требовали одного – какого-либо решения! В ответ нас рассадили по одиночным камерам в подвале тюрьмы. Осматривая свое новое жилье, я обнаружил на стене нацарапанную чем-то твердым надпись: «Здесь сидел в ожидании расстрела член ревкома мятежного Кронштадта матрос с “Севастополя” Перепелкин. 27.III – 21.II.» Через пять дней мы прекратили голодовку. Нам – всем девятнадцати – был объявлен приговор: три года ссылки в лагерь на Соловецкие острова. Там были десятки тысяч узников. Бывшие белогвардейцы, священники, крестьяне. Виноватые и безвинные. Так начинался ГУЛАГ.

19 октября 1924 года Ермолаеву и его 18 товарищам были вручены документы об освобождении без права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе и Свердловске.

Иван Алексеевич рассказывал:

– Я сразу же поехал в свою родную деревню на Рязанщине. Прибыл в ноябре 1924 года и не узнал ее. Я помнил ее захудалой, заброшенной, с ветхими избушками. А предо мной предстали новые добротные дома, у крестьян было по несколько коров и другой живности. А ведь со времени отмены продразверстки прошло всего два с половиной года. Значит, не зря мы протестовали против нее, не зря требовали свободную торговлю. И Ленин понял, что не случайно в защиту крестьян выступил передовой отряд революции – матросы.

В конце декабря 1924 года Ермолаев вернулся в Нижний Новгород, а через год – 25 декабря 1925 года, его вызвали в Нижегородское ГПУ

и уполномоченный товарищ Третьяков сообщил Ивану Алексеевичу, что он восстановлен во всех правах и может жить, где угодно. Но он остался в Нижнем Новгороде, получил профессию инженера-строителя. И сорок с лишним лет отдал этому делу.

Потом удивлялся, что уцелел в 30-е годы, когда вторая волна репрессий сметала всех, кто остался жив после преследований 20-х годов. Иван Алексеевич работал строителем и организатором предприятий пищевой промышленности в Нижнем Новгороде и области. Он был первым директором завода шампанских вин. И всю жизнь продолжал писать стихи. Главная мечта его жизни сбылась: репрессированный Кронштадт был реабилитирован. До исполнения другой мечты – издания собственной книги стихов – дожить не довелось. А стихи стоят того, чтобы читатель обрел их даже после внезапной смерти автора летом того же 1994 года.

Нас время мало изменило.
И жаль, что пагубная хмурь
Так неожиданно закрыла
Пред нами ясную лазурь.

Когда после съемки мы прощались с Иваном Алексеевичем, он подарил мне с дарственной надписью самиздатовский том его стихов, им самим напечатанных на машинке и переплетенных.

Иван ЕРМОЛАЕВ
(1899–1994)

ПРОШЛИ ГОДА, УТИХЛИ БУРИ...

* * *

Люблю я бродить по сосновому бору,
Дышать ароматом смолистой сосны.
Люблю наблюдать, как в исходную пору
Зима проявляет приметы весны.

Темнеть начинают лесные тропинки,
Слабее становится наст поутру.
И водят все реже и реже снежинки
Свои хороводы на вольном ветру.

И рано ложится от сосен столетних
На тихие просеки длинная тень.
И небо лазурней в морозном рассвете,
И ярче под солнцем румянится день.

Заботливый дятел поблизости где-то
Сзывает пернатых на встречу с весной.
И, дивное диво, по этим приметам
Мой дед составлял календарь посевной.

Сумерки на заливе

Туман устался над заливом,
Закат становится свежей,
Замолк над омутным обрывом
Базар заботливых стрижей.

Улегся сумрак серой прядью
И дремлет в заводи камыш,
Всплыла луна над водной гладью.
Какой покой! Какая тишь!

* * *

В борьбе за вольность дум мой дух не побежден.
Всегда чужда была мне жизнь «единым хлебом».
Так в золоте листвы бодрится старый клен,
С надеждой смотрит ввысь, где голубеет небо.

* * *

Горят серебряным отливом
К плечам прижатые штыки.
У входа лев с чугунной гривой
Ослабил яростно клыки.

В дверях службист сверлящим взглядом
Вас раздевает донага.
И часто здесь с Фемидой рядом
Видна Иудина нога.

В кольце безмолвного конвоя
В лохмотьях царственной земли,
Как вора, взятого с разбоя,
Меня в судилище ввели.

Скамья, барьер, конвойный сзади,
Напротив жирный прокурор.
В его холодном, жестком взгляде
Читаю я свой приговор.

Страна моя, твой культ закона
Для вольных дум преградой стал.
Старик судья с лицом Нерона
Меня изменником назвал.

О, как моя душа боролась,
Какой я скорбью был объят,
Когда мой слух прорезал голос:
«Распни его, он виноват»!

И сонм судей, боясь открыто
Взглянуть в лицо сиянью дня,
Трусливо, сухо, деловито
Из жизни вычеркнул меня.

Расплата

Так вот когда пришла расплата
За чародейный долгий хмель.
Меня, вчерашнего собрата,
Ты рядишь в серую шинель.

Еще вчера в хвалебный свиток
Вносила все мои дела.
Теперь стою пред дверью пыток
С твоим клеймом – «носитель зла».

Кругом меня живую цепью
Твои рабы и мудрецы.
И утверждают верность плетью
Новокрещенные жрецы.

Я знаю там, за черной дверью,
Замкнется дыбой путь борьбы.
На исступленный крик мой «Звери!»
Ответят смехом мне рабы.

Я знаю, там тебя я встречу
С холодным, замкнутым лицом,
В плаще, накинутом на плечи,
В руках с карающим бичом.

Когда скрестятся наши взгляды,
Поймешь ли ты, как я люблю.
Люблю и не прошу пощады.
Стегай больней, я все стерплю.

* * *

Когда громады темноты
Закрыли солнышко в лазури, –
«Я ухожу, – сказала ты, –
Ищи меня в грозе и буре».

Ищу тебя, но нет следа,
Зову тебя, но нет ответа.
Мне больно в тьму бросать года,
Мне тяжело не видеть света.

Кругом все вымерло давно,
И боль бессилья сердце гложет;
Кричи, проси, но все равно
Никто ничем помочь не может.

Я напрягаю слабый слух,
Бросаю вдаль остатки зренья,
Но бури нет, костер потух...
Не покидай меня, терпенье.

Не знаю, где тебя искать, –
В ночной ли тьме, в дневной ли хмури,
Но не хочу, чтоб ты опять
Вернулась в мир – в огне и буре.

* * *

И я любил – скрывать не смею –
Угар пленительных утех:
Тепло любви библейской феи
Я не считал за смертный грех.

Уединенная поляна...
Уют любви в глухом лесу...
Из белопенного стакана
Я пил медовую росу.

Прохладу лунный сумрак веял,
И сладок был искристый мед...
А теплота библейской феи
И до сих пор во мне живет.

1991

Пришла весна

Н.И. Кочину

Года безмолвного страданья,
Года жестокости и лжи.
Вы остаетесь как преданья,
Как сорный куст с чужой межи.

Пришла весна в раскатах грома,
В потоках бурных талых вод.
Как хорошо быть снова дома,
Встречать весну в плену хлопот.

Пришла весна, теплее стало,
Заулыбалось все кругом –
И ночь под звездным покрывалом,
И день под солнечным дождем.

И стали сказочно красивы
Леса, луга, простор полей.
В зеркальность вод, склонившись, ивам
Смотреться стало веселей.

Неугомонный птичий гомон
Заполнил парки и сады.
И вешний дождь пред каждым громом
Смывает грязные следы.

И только с грустью шалый ветер
Разносит сказ во все концы
О том, как гибли в лихолетье
В безвестии честные бойцы.

* * *

Да, да, я стал совсем другой,
И ты ведь тоже не такая, —
В глазах под черною дугой
Погасла вспышка огневая.

В каких грехах повинны мы,
Кто отделил нас друг от друга?
Еще нет признаков зимы,
А нас в пути настигла вьюга.

На сердце трепетная дрожь,
Не хочет сердце ранней стужи.
Я знаю, скоро ты уйдешь
И жизнь затанет узел туже.

Обидно раннюю зарю
Менять на тусклый свет вечерний.
Теперь я часто говорю,
Что в жизни нет путей без терний.

* * *

Я никого не обвиняю,
Что я остался одинок.
Всю жизнь меня к воротам рая
Манил зеленый огонек.
Родная Русь, с коварным сбродом
Боролся я, как только мог...
И вот мой жизненный итог:
Я у черты. Пред райским входом
Погас зеленый огонек...

1990-е гг.

* * *

Прошли года, утихли бури,
Смирился в сердце дерзкий пыл.
И я, как облако в лазури,
В молчанье трепетном застыл.

Вячеслав ФЁДОРОВ

Родился в 1947 году в г. Шумерля Чувашской Республики. Журналист, краевед. Более двадцати лет работал в горьковской молодежной газете «Ленинская смена», вел военно-патриотическую тему. Побывал во многих военных и во всех пограничных округах, в горячих точках: афганское приграничье, Нагорный Карабах, Чечня.

Автор трех книг и составитель десяти сборников на военную тему, за которые получил премии Министерства обороны СССР, главкома ВВС, начальника погранвойск СССР. Редактор отдела газеты «Земля нижегородская». Живет в Нижнем Новгороде.

ВОЛЖСКИЙ НАБАТ

13 января 1896 года «Нижегородские губернские ведомости» сообщили: «В Н. Новгород прибыл известный художник, профессор живописи, Константин Егорович Маковский, изготавливающий для выставки грандиозную картину “Минин”».

Еще одно известие из газеты «Нижегородская почта»: «Павильон художника К.Е. Маковского перенесен на новое место, между павильоном Севера и художественным отделом». Этот факт зафиксировала лишь одна газета. Где павильон стоял первоначально, неизвестно. Также неясно, по какой причине он был перенесен. Пусть этот факт останется как рабочий момент формирования выставки.

И наконец все нижегородские газеты сообщили, что «2 июня открыта выставка картины профессора К.Е. Маковского “Минин”». Перед зрителями предстало огромное живописное полотно, которое первоначально планировалось установить в художественном отделе выставки, но туда оно не вместились, и для него был построен отдельный павильон.

Ему заказывали портреты августейшие особы. Газеты называли его «салонным художником». Он тщательно выписывал жемчуга на одеяниях бесконечных боярынь. Погружал свои модели в мир парчи, атласа, старинных ваз. Он волшебным образом играл светом. Современник вспоминал о нем так: «Константин Маковский держал себя большим барином, ходил чуть ли не в боярском костюме, выдерживал тон большого, знатного артиста. Зарабатывал большие деньги и умел их проигрывать. Писал в угоду большой буржуазной публике сладкие ложнорусские сцены и бесконечные головки барышень и в конце концов стал типичным поставщиком художественного рынка».

Но все это чуть позже. До этого были ссоры в академии, протест против рутины. Он примкнул к свободной творческой артели, которая

явилась основой Товарищества передвижников. Но писать сцены народной скорби ему быстро надоело.

Он говорил о себе: «Нехвастливо смею надеяться, что останусь в истории России самым красивым художником».

Так все и вышло. Никто не возражал. В его «Автобиографии» есть грустные строки: «Лучшие красавицы наперебой позировали мне. Я зарабатывал громадные деньги и жил с царственной роскошью. Успел написать несметное количество картин. Я не зарыл своего богом данного таланта в землю, но не использовал его в той мере, в какой мог бы. Я слишком любил жизнь, и это мешало всецело отдаться искусству».

Кто знает, сколько в его жизни было потрясений, но одно было – об этом известно точно. Его породила зависть, он увидел то, что сам сделать не мог.

Илья Репин впервые на публике показал своих «Запорожцев», писавших письмо турецкому султану. Какие характеры, как вольно написаны лица... Картина притягивала. Он тоже думал о подобном, но как найти сюжет картины? Он обратился к историку И. Яворницкому, помогавшему Репину собирать материал для «Запорожцев». Репин, узнав об этом, саркастически замечает: «Вы дайте ему красочную тему. Красочность в живописи для него выше всего. И нужно сказать, что тайну сочетания красок он постиг, как никто из нас. Но дальше этого вы не ищите у него ничего: ни стонов страдальца, ни жгучих болей души, ни воплей отчаяния, ни отважной борьбы за волю с насильниками».

Хотя... Репин почему-то забыл поездку Маковского на Балканы в самый разгар войны за освобождение славянских народов от агрессии турок. Все Товарищество передвижников было убеждено, что помощь Балканам есть «дело чести и добра». Художник Василий Polenov даже участвует в кавалерийских атаках, за что награждается сербским золотым орденом «Таковский крест» и черногорской медалью «За храбрость».

Маковский выставляет полотно «Болгарские мученицы», которое имеет шумный успех на выставках. Война на Балканах нашла отражение у всего Товарищества передвижников. Так что укорять Маковского в отсутствии «жгучих болей» и «воплей отчаяния» было не совсем справедливо.

«Мининская» тема давно витала в мастерских художников. Уже шли с ополчением Минин и Пожарский, написанные художником Михаилом Скотти, взывал Минин к нижегородцам на полотнах Михаила Пескова и Алексея Кившенко, в популярном журнале «Нива» художник Михаил Нестеров признался, что ему было видение Минина и родилась картина. Иван Мартос увековечил народных героев в бронзе и украсил ими и без того Красную площадь. Нижнему был пожалован гранитный «карандаш» – обелиск, этот «копеечный памятник», как считали многие именитые гости города. Но все это было мелко, как показалось Константину Маковскому.

Он тоже думал о Кузьме Минине. Даже писал прошение в Академию художеств о предоставлении зала для работы над картиной. Ему отказали. Он не горевал, собственно, для картины еще ничего не было. Так, наброски, больше напоминающие античные сюжеты, под стать памятнику Мартоса.

Великий Михайло Ломоносов, составивший Екатерине II список тем для картин «из Российской истории знатных приключений» три сюжета посвятил Нижегородскому ополчению, он же подсказал и сюжет картины о Кузьме Минине:

«На нижегородской пристани представить купца-старика на возвышенном месте, указывающего на великую близ себя кучу мешков с деньгами, а другой рукой народ помагающего. Многие, кругом стоя, ему внимают прилежно, иные деньги в чаны высыпают, иные мешки приносят, сыплют серебряные копейки... приносят в одно место разные товары; кладут перед него письменные обязательства. Все разными движениями изъявляют охоту к освобождению Отечества от разорения».

В 1891 году Константин Егорович Маковский появляется в Нижнем Новгороде. Останавливается он в номерах Блиновского пассажа. В окна комнаты видны волжские причалы. Чуть дальше, у церкви Иоанна Предтечи, шумит нижний базар. Берег Волги – самая оживленная часть города. Здесь всегда суетливо и шумно.

Первый вопрос, который волнует художника: в каком месте Минин обратился со своим призывом к нижегородцам? Однозначного ответа у знатоков истории города он не нашел. Одни ему указывали на место в кремле, где высился Спасо-Преображенский собор. Мол, именно с паперти стоявшей здесь ранее церкви зачитывали грамоту патриарха Гермогена, которую доставили из Троицко-Сергиевского монастыря. Другие – отсылали его в Мининский сад, где стоял обелиск предводителям ополчения, утверждая, что именно это и есть искомое место. Убедительно было и утверждение тех, кто считал, что все происходило у центральной Дмитровской башни, а если точнее, у церкви Дмитрия Солунского. Но это все верхняя часть города.

В пользу нижнего посада называлось место близ церкви Николы «на торгу». Церковь когда-то располагалась на самом берегу. Она хорошо просматривается на гравюре голштинского посла Адама Олеария, видевшего город в те далекие времена.

Константин Егорович Маковский сразу понял, что при таких спорных вариантах в выборе места он свободен. Церкви Николы «на торгу» тогда уже не существовало, зато стоял храм Иоанна Предтечи и шумел вокруг него торговый люд.

Художник мысленно «очистил» съезд, который шел от ворот массивной Никольской башни, от торговых лабазов и первым же наброском на картоне он затвердил место действия. Сохранился этюд «На площади у Ивановского съезда».

Определился и формат картины, которая непременно должна была быть вертикальной, а для этого Ивановский съезд надо было сделать в будущей картине немножко круче.

И надо сказать, что художник почти не ошибся в выборе натуры. Нижегородский историк Игорь Александрович Кирьянов долго искал то место, с которого Кузьма Минин мог обратиться к нижегородцам. По свидетельству Симона Азарьина, летописца Троице-Сергиевской лавры, действие происходило в земской избе. По Писцовым книгам историк определил, что изба эта располагалась в 12 сажнях от Никольской церкви по правому берегу речки Почайны, которая ныне заложена в трубу. Место, которое изобразил художник, могло быть густо застроенным, а вот чуть повыше, напротив Скобы, у самого подъема в гору, было посвободнее, там изба и стояла.

Место действия есть. Сюжет? А чем плох сюжет, подсказанный Ломоносовым. Он логичен, что можно придумать лучше? Другое дело, как все это изобразить. Будущая картина «собирала» огромную массу народа. Таких картин он еще не писал.

Искусствоведы насчитали на полотне более сотни хорошо различных действующих лиц. Надо было, не откладывая, искать натурщиков и делать хотя бы предварительные наброски и этюды. Нижний базар — это же кладезь типажей. Почти полмесяца своего пребывания в Нижнем Новгороде Константин Егорович Маковский посвятил поиску будущих персонажей картины. Наверное, интересным было бы повествование о поиске каждого лица грандиозной массовки, но, к сожалению, рядом с художником не было своего летописца. Сохранились лишь отрывочные воспоминания об этом интересном поиске. Так, фигуру площадного подъячего с чернильницей и футляром для гусиных перьев у пояса Маковский писал с пропившегося нижегородского купца Брызгалова. Он увидел его все на том же нижнем базаре и пригласил к себе в гостиничный номер, где быстренько срисовал.

Уехав работать во Францию, Маковский очень нуждался в натурщиках и зазывал к себе всех знакомых художников, появлявшихся в Париже. Вот как об этом вспоминал московский художник Н. Шестопалов: «Художник Малов повел меня однажды к скульптору Бернштаму, лепившему бюст К. Маковского. Я познакомился с Маковским, и после обмена любезностями он пригласил меня к себе, прося позировать ему для картины «Минин». Я согласился и с любопытством поехал в его мастерскую в сен-жерменском лесу близ Парижа.

...Маковский писал необычайно быстро и мастеровито. Я ему позировал несколько раз на солнце в позе молодого парня, поднимающего ларец для жертвования на войско Минина. Кроме того, с меня был написан еще стоящий человек в толпе...»

Очень помог в работе над картиной нижегородский фотограф и собиратель старины Андрей Осипович Карелин. С уверенностью можно сказать, что все ларцы, кувшины, шкатулки списаны с его коллекции. Об этом же говорят этюды и наброски, привезенные художником из Нижнего Новгорода. Больше того, Константин Егорович заручился обещанием Карелина помочь ему фотографиями нижегородских типов. Карелин с большим желанием вызвался посодействовать академическому учителю своего сына Андрея.

Картину Маковский писал в Мезон-Лаффите близ Парижа. Ранее мастерская, которую приобрел Маковский, принадлежала русскому художнику Василию Верещагину. Как сообщали газеты тех лет, это была самая большая студия на земном шаре. Еще одна летняя мастерская находилась в сен-жерменском лесу. Она была необычной. Воспоминания о ней оставил критик Владимир Стасов, бывавший у Верещагина. В «Письмах из чужих краев», опубликованных в газете «Новое время», он писал, что студия состоит «из помоста, сажен 9-10 в диаметре, представляющем в плане полный круг. Тут по окружности проложен рельс, и по нему ходит довольно объемистая будка, защищающая от лучей солнца и ветра; там помещаются модели, разные предметы, с которых пишется картина, и, на небольшом расстоянии, сам художник со своим холстом. Смотря по положению солнца и по надобностям освещения, навес этот может переезжать по своим рельсам, куда надо, а художник — работать от самого утра и до поздней ночи».

Предположительно в Нижнем Новгороде у Маковского произошла еще одна важная встреча. Прямых свидетельств этому факту нет, но, по всей видимости, на квартире Андрея Осиповича Карелина Маковский познакомился с художником Францем Рубо. В какой год произошла эта встреча, неизвестно. Но, вероятно, в один из приездов в Нижний, когда Маковский уже прорабатывал окончательную композицию картины на картоне. Встреча с Рубо была как нельзя кстати. Это был мастер панорамных картин, и его совет был просто необходим Маковскому. Он не знал, что делать с воздухом. Его много, он прозрачен и заставляет выписывать в деталях стены кремля, золотую листву осенних деревьев. Все это будет отвлекать...

Художник Франц Рубо подсказывает выход – подпустить пыльцы. Она скроет детали. И ведь скрыла...

На «Минина» ушло пять лет. Заканчивал Маковский картину в Санкт-Петербурге. Она как раз поспевала к открытию в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленно-художественной выставки.

Ввиду громоздких размеров картина в общую выставочную экспозицию не вошла. Для нее был выстроен специальный павильон. На ярмарку спешат репортеры, в их ряду и Алексей Пешков. Он пишет для «Нижегородского листка»: «“Минин” Маковского... Видишь, что это именно нижегородский народ: весь Нижний встал на ноги и рычит и мечется с силой ужасной, готовит все ломить с плеча».

Репортер «Нивы» сообщает: «На всех выставках масса посетителей прежде всего направляется в художественный отдел, как наиболее достойный ее понимания, наиболее разнообразный и волнующий чувства.

К художественному отделу нижегородской выставки должно еще причислить картину К.Е. Маковского: “Минин, говорящий свою патристическую речь”. Она помещена в особом павильоне, удивительно изящной архитектуры; остряки говорят, что белый медведь, изображенный в позе отчаяния, оттого столь безнадежно ревет, что перед ним поставили такой уродливый павильон.

Картина тоже мне не понравилась: мутный колорит, отсутствие движения. И потом все те же женские и детские головки, что мы уже столько раз видели на других картинах маститого художника».

Но Горький парирует: «...Хороша картина! Быть может, она несколько тускла – в ней мало солнца, мало блеска... Не горит все это золото, серебро, ткани, главы церкви. Небо покрыто белыми легкими хлопьями облаков, между ними всюду синева... Зато жизни много».

Жизнь в картине не волновала художника Михаила Нестерова: «При огромных размерах все мелко, ничтожно, даже бархаты и ткани на этот раз плохи».

После выставки судьба полотна до января 1908 года оставалась неопределенной, сам художник в одном из интервью, когда его спросили о будущем картины, сказал, что свернет ее в трубочку и пусть стоит.

По высочайшему разрешению Министерство императорского двора приобрело полотно, «ввиду предположения пожертвовать картину от Высочайшего имени городу Нижнему Новгороду».

И вот «Нижегородская земская газета» сообщила: «4 февраля (1908 года. – *Авт.*) депутация от Нижнего Новгорода... представлялась Государю Императору для выражения верноподданических

чувств по случаю пожалования Его Величеством городу Нижнему картины Маковского “Минин”». В состав депутации входили губернатор М.Н. Шрамченко, городской голова А.М. Меморский и гласные думы А.В. Баулин, А.А. Савельев, Н.А. Бугров и Я.Е. Башкиров.

В адресе, который они преподнесли государю, говорилось: «...Пожалование городу картины “Минин” художника К. Маковского всегда будет согревать в нижегородцах те чувства, которыми руководился наш бессмертный соотечественник в своих подвигах на спасение русской национальной независимости от иноземного господства... и Державы Русской от разделения и разложения».

Дальше события развивались своим чередом. Как только потеплело, картину отправили адресату – Нижнему Новгороду. «Нижегородский листок» об этом тут же проинформировал горожан: «12 мая по железной дороге из Петербурга через контору Российского транспортного Общества доставлена в Нижний Новгород картина К.Е. Маковского “Воззвание Минина” – Высочайший подарок нижегородцам.

13 числа на вокзал для принятия картины были командированы от городской управы М. Урлашов и от губернатора чиновник особых поручений А. Мельников».

На последней фигуре надо остановиться особо. Андрей Павлович Мельников был сыном писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского. От отца он унаследовал должность и краеведческий интерес. Андрей Павлович учился в Петербургской академии художеств, был не только знаком, но и дружен со многими художниками. К сожалению, живописание у него не пошло, и он переключился на краеведение. Губернатор Баранов просил его: «Кисть у вас нейдет, Андрей Павлович, так вы послужите мне пером».

Но пером он послужил не только губернатору, но и нам. Перелистывая старые газеты, невольно отыскиваешь странный буквенный псевдоним «.....Ъ». Так он подписывал свои корреспонденции. Ему не надо было пробиваться через толпу зевак или выпытывать тайны «нижегородского двора». Его к ним свободно пропускали в соответствии с должностью. Вот и на этот раз он встречал доставленную картину на вокзале как в роли чиновника, так и репортера.

«Картина доставлена свернутой и намотанной на вал, упакованной в ящик длиной в 15 аршин; в другом таком же ящике доставлена рама в разобранном виде. Ящик с картиной, по длине не помещавшийся ни в один вагон, следовал от С.-Петербурга до Нижнего на отдельной платформе, закрытой брезентами.

На вокзале в присутствии члена управы, чиновника особых поручений, железнодорожного начальства во главе с начальником станции г. Казанским и полиции, ящик был вскрыт, упаковка картины оказалась в порядке. Ящик был снова заколочен и в сопровождении чинов полиции на руках 16 рабочими был перенесен на паровозную пристань, где и погружен на паровую баржу “Окарь”.

Ввиду громадной ценности погруженной клади, в видах полной ее сохранности, на баржу в этот рейс, по соглашению с администрацией Общества легкого пароходства, никто, кроме сопровождающих картину, не был допущен. По прибытии баржи на городскую сторону, картина была бережно поднята и опять на руках, в сопровождении чинов полиции, доставлена в здание городской управы».

Здесь ее и развернули. Андрей Павлович Мельников получил возможность рассмотреть картину в подробностях и поделиться своими

впечатлениями с читателями «Нижегородского листка». Он сразу назвал картину «фейерверочной». Мельников хорошо знал отношение искусствоведов (которые тогда назывались историками русского искусства) к историчности в творчестве Константина Маковского и приводит слова господина Новицкого, что действующие лица картин порой одеты в древние костюмы, которые «подходят к данной минуте, а предметы древнерусской обстановки сплошь и рядом стоящие не на своих местах».

А дальше читатели «Нижегородского листка» познакомились с конкретными замечаниями, о которых и сегодня любопытно узнать:

1. «Минин на картине изображен стоящим на опрокинутой бочке, тогда как забираться на бочку было ему незачем — в двух шагах находилось возвышенное место — паперть Никольской церкви, с которой, как полагают, он и обратился к народу».

2. «Минин на картине изображен говорящим к народу и энергичным движением руки указывающим на кремлевские стены, но рядом с ним у бочки стоит какой-то священник и тоже читает народу грамоту. Выходит как-то странно: оба и Минин, и священник, говорят в один голос и немудрено, что их никто не слушает».

3. «Минин изображен слишком серым мужиком, тогда как это был почетный обыватель города и по тогдашним временам крупный капиталист, может быть, что-нибудь вроде теперешнего Бугрова».

4. «Одет Минин почему-то в овчинный полушубок, при обстановке совершенно летнего солнечного ясного и даже как будто знойного дня (в день воззвания Минина приблизительно 26-27 августа)».

И все-таки, несмотря на замечания, Андрей Павлович Мельников подвел следующий итог: «... Картина «Воззвание Минина» должна быть отнесена к числу самых лучших произведений Маковского, а по размерам едва ли не самая большая картина его кисти».

Так Нижний Новгород получил еще один памятник русской истории, которая зарождалась набатным звоном на берегах Волги.

P.S. В самый разгар Великой Отечественной войны, в апреле 1943 года, газета «Правда» сообщала, что в Горьком закончилась реставрация знаменитой картины К.Е. Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам»

«...Со дня своего написания она не реставрировалась. За долгие годы картина сильно запылилась, местами на ней появились осыпи красок, порывы холста.

Горьковский обком ВКП(б) и областной отдел искусств, несмотря на трудности военного времени, решили произвести срочную реставрацию картины. Был вызван опытный московский реставратор С.С. Чураков, который и произвел эту сложную и искусную работу».

Надо уточнить, что Сергей Сергеевич Чураков работал не один, ему помогала сестра Екатерина Сергеевна, тоже опытный реставратор.

Когда полотно готовили к перевозке на Всероссийскую выставку из С.-Петербурга в Нижний Новгород, перед тем, как свернуть в рулон, пересыпали специальным порошком, но, видимо, служитель, которому было это поручено, отнесся к делу халатно. Красочный слой не очень плотно лег на холст, что и привело к осыпям. Эти участки картины реставраторы тщательно восстановили. Сразу же после реставрации картина была открыта для всеобщего обозрения. Прежде чем отправляться на фронт, солдаты сформированных в Горьком воинских частей подолгу стояли у картины, слушая пояснения экскурсоводов.

P.S.S. В августе 1957 года газета «Горьковский рабочий» выдала сенсацию: «Недавно в Горьковском государственном фотоархиве найдена фототипия “Константин Маковский за работой над картиной “Воззвание Минина”».

К.Е. Маковский изображен у своей почти законченной картины. Фотография сделана так, что художник как бы сливается с персонажами картины, с предметами, изображенными на ней. Можно предположить, что фотография сделана в Н. Новгороде во время приезда сюда К.Е. Маковского в июне 1891 года известным нижегородским фотографом-художником Карелиным, которого Маковский хорошо знал, так как много раз бывал в его историко-бытовом музее».



На основе этой газетной публикации можно было бы затвердить дату находки якобы неизвестной доселе фотографии Карелина, если бы она не была... опубликована двадцатью годами раньше в газете «Горьковская коммуна» как иллюстрация к заметке «Воззвание Минина». А в ней сообщалось: «Приехав летом 1896 года в Нижний Новгород, он (художник Константин Маковский. – *Авт.*) с увлечением рассказывал в семье Карелина о задуманной работе».

Вот вам и занимательное краеведение. Так когда же был сделан снимок Маковского за работой над картиной и кем, если сейчас считается, что фотография сделана Максимом Петровичем Дмитриевым?

Понятно, что в 1957 году архивисты обнаружили давно известную фотографию, которую они сами же заложили в дальние углы своих запасников. Стеклоаного негатива в архивных собраниях ни Карелина, ни Дмитриева не найдено.

Фотография не могла быть сделана в 1891 году. Мы уже знаем, что Константин Егорович Маковский в тот год только приступал к воплощению давнего замысла и приехал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с местами, связанными с Мининым. А в 1896 году он мог прийти к своему давнему приятелю Карелину с тем, чтобы пригласить его посмотреть уже готовое полотно и помочь разместить его в павильоне. Так что фотография сделана определенно в 1896 году. Тогда где и кем?

Ну, где – понятно: на Всероссийской художественно-промышленной выставке, в павильоне, который специально построили Константину Маковскому под его картину. Мог ли фотографию сделать Карелин? Мог, он в это время снимал под заказ павильоны выставки. Но скорее всего, художника запечатлел Максим Петрович Дмитриев, быть может, и по просьбе своего учителя Андрея Осиповича Карелина. Откуда такая уверенность, если нет конкретных доказательств?

Конкретных нет, но есть одно, косвенное – существует портрет художника Константина Егоровича Маковского, выполненный Максимом Дмитриевым в студии. И фотография с картиной, и портрет, сделаны в один день – это очевидно.

Вот, кажется, и разрулили мы возникшую ситуацию в «занимательном краеведении».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Ольга Маркичева

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Кирилл Анкудинов (Майкоп)

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Нина Зверева

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Москва)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:

jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области
Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 30.03.2017.
Выпущено в свет 25.04.2017.
Формат 70×108 1/16. Усл.-печ. л. 22,4 .
Тираж 1000 экз.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии «Растр»
603024, Нижний Новгород,
ул. Белинского, 61